

АРТИКЛЫ

Израильский литературный
журнал

АРТИКЛЪ



№ 17

Тель-Авив

2021

מעלות
המרכז למורשת יהדות ברית המועצות

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Анна Файн. Горький запах свободы.....	4
Михаил Гельфанд. Эстер.....	10
Карина Муляр (Масюта). Гитлер капут.....	42
Урмас Соос. Котик.....	47
Рита Грузман. Жорина судьба.....	67
Алексей Сурин. Время в тиши	75
Дмитрий Раскин. Лехтманы и новый муж.....	82
Елена Ожиганова. Баня.....	98
Александр Вин. Факт абсолютного слуха.....	106
Михаил Юдсон. Остатки.....	111
Афанасий Мамедов. Проксимус.....	116
Яков Шехтер. Прямая трансляция из преисподней.....	155

ИЗРАИЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТЕ СЕГОДНЯ

Ехудит Хендль. В пылу любви.....	174
---	-----

ПОЭЗИЯ

Стихотворения победителей Международного конкурса поэзии «Любви все возрасты покорны»	183
Ирина Маулер. Израиль.....	193
Рут Фейгель. Лошади.....	197
Наталья Никишина. Девочки курили во дворе	200
Сергей Николаев. Янтарное сердце огня.....	203
Андрей Сутоцкий. Проявления.....	206
Виталий Мамай. Агада.....	209
Александр Францев. Слепая нежность.....	214
Владимир Ханан. Взгляд в прошлое.....	218
Виктор Есипов. Времени пыльца.....	226

НОН-ФИКШН

Давид Маркиш. Долгая дорога домой.....	234
Михаил Черейский. Гусар летучий.....	239
Александр Крюков. Руставели на иврите.....	252
Анна Степанская. Японская железная дорога.....	258
Давид Шехтер. Друз – значит друг.....	270

ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ В ИЗРАИЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Роман Кацман. Перекрестье русско-израильской литературы.....	277
Андрей Доброволин. Мастерство становится доступнее...288	
Андрей Зоилов. Ассортимент растет, спрос падает.....	296

На титульной странице: профессор кафедры еврейской литературы Бар-Иланского университета Роман Кацман

(см. страницу 277)

ПРОЗА

Анна Файн

Горький запах свободы

- Случилось: некий раб полюбил рабыню. Они жили в разных номах, спали в разных бараках и вообще не знали друг друга. Как же получилось, что раб полюбил рабыню? А? Я вас спрашиваю!

А было так. Один надсмотрщик сжалился над рабами и вывел их со стройки. Они сели в грязи прямо на дороге. Они сидели на корточках, так что их тощие зады почти касались мокрой глины, а их тощие колени почти упирались в острые подбородки. Надсмотрщик велел им вытянуть руки вперед и сложить ладони ковшиком. Они так и сделали, и он насыпал каждому немного пшеницы в ладони. Они ели, перетирая беззубыми окровавленными деснами пшеницу, жмурили глаза от боли и блаженства. Они разевали рты, как голодные птенцы, и надсмотрщик лил им воду из кувшина прямо в раскрытые рты.

А рабынь гнали по дороге со стройки на стройку. И вот, одна из них прошелестела подолом платья по голове сидящего раба, словно это мать погладила его сухой легкой ладонью. От ее подола шел запах горькой полыни, пустыни. То был запах свободы. Он знал это – когда ветер гнал полынный запах в их ном, мать говорила ему: так когда-то пахло у нас на родине.

Он поглядел на уходящую рабыню. По ее спине, прикрытой льном, вились спутанные побеги волос – так вьется плющ по стене. Ее худые коричневые ноги мелькали быстро-быстро, показывалась то одна иссеченная трещинами, измазанная глиной ступня, то другая. Под коленкой, на голени у нее было крупное родимое пятно. И

этот раб полюбил ее. Вот я вас спрашиваю: любил ли этот раб ту рабыню?

Парни молчали, протянув ладони к костру. Старый Эзер подбросил в огонь пучок сухой травы. Сноп искр взвился в небо, но искры тут же растаяли, точно звезды поглотили их.

- Этот раб полюбил не рабыню, а запах полыни от ее подола. Да и не запах полыни, а свободы. Да не запах, а саму свободу. А рабыню он не знал. Он полюбил Бога, дающего нам свободу, но не знал об этом. Он думал, что любит рабыню. Вот вы – любите ли вы Бога?

- Любим, любим, - нестройно заголосили парни. Их голоса напоминали овечье бляенье.

- Врете, - резко сказал старик Эзер, - вы только потому так говорите, что я вам велел любить Бога всем сердцем. То есть, не я. Это Моше-учитель велел. Этот приказ он получил от самого Бога. А потом он и брат его собрали нас, старейшин, и передали через нас вам всем. Вы знаете, что нужно любить Его. В противном случае вы говорили бы, что Бог – это сладкое белое, падающее с неба. Вы любили бы сладкое белое вместо Бога.

- А мы его не любим, - отозвался Авия, младший из парней, - терпеть не можем. Гадость страшная. Нам бы мяса!

Эзер подумал, что лица других парней при этих словах покраснели. Но нет – то был просто отблеск красного огня.

- Говорят, в Египте вы сидели у котлов с мясом, - неуверенно пробормотал Элия, внук Эзера.

- Сидели! Как бы не так! То есть, котлы там были. Там много чего было. Египет – великая страна. Но чтоб сидеть! Не было такого.

Котлы с мясом подвозили к барaku на храмовые праздники. Египтяне хотели, чтобы мы полюбили их страшных богов – людей с песьими головами, коршунов и других. Поэтому они подкармливали нас мясом от имени богов. Подвезут котел к барaku и поставят во дворе – один на всех. А мы бежим с мисками и ложками. Когда подберешься к котлу, рассиживаться нельзя – знай хватай, что в черпак влезло. Те, что за спиной, уже толкают тебя,

подталкивают, чуть не в котел окунают. А удержишься – еще и миской по голове ударят. А у некоторых миски выдолблены из камня – насмерть зашибить могут.

Вот схватишь – хорошо, если мясо попало. А то одна репа и фасоль. Хоть на мясе сварены, уже повезло.

Знаете, что в Египте хорошего было? Я тогда был молодой. Вот это славно. В остальном – ужас. Полжизни я таскал камни, полжизни стоял в очередях. Но вы наслушались разных сказок про тамошнюю жизнь. И от кого? От сопляков чуть старше вас, которых матери вынесли на спине из Египта. Они не помнят ничего. Но рассуждают, будто помнят. Вы слушайте меня. Я хорошо знаю Египет.

- А как звали того раба? – спросил Авия.

- Как его звали? Ну, должно быть, Овед. Работник то есть. Половину рабов так звали. Они теперь все меняют имена, прибавляют к своему имени Божье. Получается красиво: Овадия – раб Божий. Меня вот Эзером называли, помощником, чтобы помогал. Тоже предлагают – смени имя на Элиезер. Получится – Бог в помощь. Но я решил не менять. Человек должен помнить, откуда он родом, и что с ним было раньше. А раньше мы были рабами в Египте.

Или вот соседи наши. У них родился мальчик, так они пошли к гадалке вычислять его судьбу. И она сказала – быть ему важным человеком. И они назвали его Мернептахом в честь фараона. Весь барак чуть со смеху не умер. Недавно я встретил его. И что вы думаете? Стал Петахья, вот как! То есть, "Бог открыл". Что ему Бог открыл? А? Я вас спрашиваю?!

- Деда, а правда говорят, что из бараков всех потом расселили по отдельным хижинам?

- Да, расселяли они. Только они строили города для себя, а уж потом хижины для рабов. Поэтому отдельное жилье тоже в очередь выдавали. У некоторых вся жизнь прошла в бараке – три семьи в одном помещении, кухня одна на всех, отхожее место тоже. Так всю жизнь и прожили в очереди. Или вот масла благовонные. Были они в Египте, не стану отрицать. Говорю же вам – великая

страна. Но только ими умащивались свободные женщины, а у рабынь кожа была вся потрескавшаяся. Колени, локти – страшно смотреть. К тридцати годам все они уже были тощие и сморщенные, как старухи.

- А тот раб, Овед, он встретил снова эту свою любовь? – спросил один из детей племени. Эзер так и не запомнил, как его зовут.

- Да. Он встретил ее, когда мы переходили через Море Растений. Море расступилось. Мы все шли по мокрому песку. Но это только так говорится – по песку. Ведь Море Растений не зря так называется. Там чего только не растет. Кораллы, например. Это такие полукамни, полуцветы. Представьте, все камни растут очень медленно. А эти – не так медленно, как другие камни, но и не так быстро, как растения. И вырастают наподобие кустов. Посмотришь сверху – они сине-зеленые и кучерявые видом, как ботва на огороде. Или как лес. Но только из этого леса не звери вылезают, а рыбы. Разноцветные, я даже не знаю, как эти цвета вам и описать. Некоторые пурпурные с рыжими узорами. Глаз не отвести. Но только ступать надо осторожно, когда идешь среди кораллов. Они ведь жесткие, не такие, как другие растения.

Или морские ежи. Какие у них иглы! Длинные, острые, точно кинжалы. Меня один раз надсмотрщик огрел плетью. Я думал – ничего больнее в мире нет. Но когда я проходил мимо морского ежа, один раб нечаянно толкнул меня, и я напоролся на иглу. Вот это была мука! Куда там египетской плети! Тогда я понял – жить рабом больно, но выходить на свободу еще больнее.

И этот раб, Овед, шел осторожно по песку, стараясь не наступать на кораллы и обходить морских ежей. Там и сям валялись рыбы. Они трепыхались на оголенном морском дне и хватали воздух раскрытыми ртами, словно ждали, когда придет надсмотрщик и нальет им из кувшина прямо в рот. Но вместо этого их хватали рабы и пихали себе, кто куда. Женщины – в подол платья или в узел, связанный из платка, а мужчины кидали за пазуху. Это, чтобы зажарить на костре, когда перейдем на ту сторону. Потому что раб

никогда не бросит дармовую еду. Раб просто не может не взять, когда даром. Нас подгоняли старейшины, они боялись, что конница фараона настигнет беглецов, или что море сомкнется над нашими головами. Но рабы все равно хватали рыб, теряли равновесие, напарывались на ежей, орали от боли, но не могли отказаться от дармовщины.

- А вы ее зажарили, когда перешли на эту сторону? – спросил Элия.

- Да. Жажарили. Какой праздник устроили! А женщины плясали и пели, и били в бубны! Я до сих пор помню вкус той рыбы. Так вот. Овед шел по песку и вдруг увидел, что какая-то женщина хватает рыб, но не пихает их в мешок, а бросает в воду – прямо в водяной вал. Она их спасала. Он подошел поближе и увидел, что у нее под коленом большое родимое пятно, а по спине будто выются побеги плюща. Это была та самая женщина. Он взял ее на руки и понес, чтобы скорее выбраться на берег вместе с ней, чтобы египетская конница не настигла их. Она билась в его руках, как рыба. Только тут он увидел ее лицо. Оно было прекрасно. Огромные зеленые глаза, тонкий нос, немного пухлые губы, гладкие щеки без оспин или следов проказы. Ее лицо оказалось лучше, чем тело. Тело у всех рабынь слишком тощее. А локти, колени – лучше не смотреть.

- Как тебя зовут? – спросил Овед.

- Марор, - отвечала девушка.

Ее звали Марор – горькая трава. Недаром от нее пахло полынью.

- Дед Эзер, а откуда вы знаете эту историю? – спросил средний внук.

- Да я знал их обоих. Они недавно умерли. Почти все, кто помнят Египет, умерли. И я умру скоро. Но вы помните, что я вам рассказывал, не забывайте, и расскажите вашим детям. Не верьте тем, кто поет всякие песни о красе Египта. Наша страна, куда мы идем, гораздо лучше. Ладно, я спать пошел. А вы гасите костер и тоже ложитесь. Завтра длинный переход.

Когда старик Эзер скрылся в шатре, Элия обратился к парням.

- Даже и не знаю, верить ему или нет. Вот говорят, в Египте чудесная жизнь. Пастухи рассказывали, те, что гонят овец в ту сторону. Говорят, Тинпу Первый – достойный фараон. У всех вдоволь мяса. И можно взять участок земли, и засеять. Даже ссуду дадут из фараоновой казны под это дело. По крайней мере, про Египет все известно, а там, куда мы идем - незнамо что.

- Может, и правда, Тинпу – хороший правитель, - отвечал средний внук Калев, - только как ты пойдешь туда? Один в пустыне пропадешь. И Море Растений уже не расступится, а лодки у тебя нет. Правда, кончай эти разговоры. Давайте, расходитесь.

Он плеснул из кувшина в костер, развалил вмиг почерневшие ветки палкой, забросал их немного песком для верности и отправился в сторону шатра.

Эстер

Пролог

Страны наши, единое царство потомков Иакова - Израэля, царство большое и сильное, во дни Давида и Шломо, а после Шомрон и Иегуда, на которые оно разделилось, было царство великой дороги. Место, где по суше можно было каравану дойти из страны Двух Рек в Мицраим (*Египет**), страну Нила.

*(*Здесь и далее курсивом в скобках указаны современные названия и принятое в русском языке произношение личных имен.)*

У нас и более нигде.

Верхнее (*Средиземное*) море на востоке, и страшная пустыня на западе. Пустыня, в которой раскаленный воздух дрожит над камнями и манит путников призраком воды. Но нет воды.

Воды нет, а есть только смерть от жары и жажды.

Пустыня, за которой прячется от любого врага богатейшее царство Сабейское, страна благовоний.

Можно еще плыть морем, как это делают купцы из торговых городов, близкого нашему языку, стоящих на Финикийском берегу (*Ливан*). Но течение, всегда идущее из Мицраима на север через Финикию, в Анатолию и далее, через Элладу только, поворачивающее к берегам Африки, заставит плыть медленно, а на каждой якорной стоянке, подходящей для ночлега*, будут поджидать шайки пиратов.

*(*В описываемое время торговые корабли плавали только в виду берега и только днем. Пираты же нападали на суше, на стоянках и только изредка решались выходить в море на лодках, когда мертвый штиль вынуждал «купца» медленно дрейфовать по течению вдоль берега.)*

Лучше идти посуху от города к городу, от одного укрепленного места к другому. И если даже приходится

платить за безопасный ночлег, это лучше, чем, лишившись всех своих товаров, быть проданным в рабство.

Великой была наша дорога, великим благом для наших стран, которые богатели на торговле, но и величайшим несчастьем. Ибо шли по этой дороге, другой ведь нет, войска с севера на юг, и с юга на север.

Шли и грабили, и убивали нас.

Страшен был тот год.

Одна из звезд преисполнилась безумием, удивительно ярко сверкала она, и была видна даже днем, и медленно перемещалась по летнему небу. И в страхе смотрели люди на эту звезду, а книжочеи, пророки и жрецы спорили между собой, к чему знамение ужасное это.

Великое было знамение, и отняла звезда разум у Осси, царя израильского. И понадеялся он на помощь царей Мицраима, страны древней, преисполненной вероломства. И отказался платить дань великим императорам Ашшура (*Ассирия*).

И явился император Ашшура, Шалманшар (*Салмансар V*), и осадил Самарию, столицу десяти племен, город, сверкавший, словно драгоценность, на высоком холме над плодородной равниной.

И хоть сам он был убит на третий год осады, но наследник его, Шаррукин, завоевал город. Завоевал и увел как военную добычу двадцать семь тысяч двести девяносто жителей.

А город отстроил заново и заселил его людьми из далеких стран, покоренных империей. И многие тысячи горожан, купцов, и ремесленников, и книжочеев переселены были в пределы Ашшура.

Рассеялись потомки Иакова, прозванного Израэлем за то, что боролся с Богом, рассеялись по Вселенной. Всюду можно было их теперь найти, от Нила до Инда, и от верхнего моря до Нижнего (*Персидский залив*).

Но пахотная земля в странах, где они поселились, принадлежала народам, живущим там от века, и не было

хлебопашцев среди изгнанников, жили они в городах, и хлеб свой зарабатывали ремеслом и торговлей.

А были они искусны в том и другом, ибо из поколения в поколение, живя в центре великой дороги, поневоле научились они торговать. Научились они и повторять, а потом и улучшать изделия со всех концов земли.

Годы прошли, многие годы.

И пал Ашшур, и исчезла столица его Ниневия. Город крови, столь ненавидимый в мире.

И взошла недолговечная звезда вавилонского царства.

И двинул царь Вавилона, Навуходонецар (*Навуходносор*), войско свое на город. На святыню нашу. На Иерусалаим.

Многие успели убежать в Заречье и тем спаслись.

Но город не может убежать.

Пали стены его, и погибли люди, другие же были изгнаны и уведены в рабство.

И прошло немного времени, и закатилась звезда вавилонских царей, и новая империя родилась в мире.

Империя храбрых всадников, лучников на быстроногих конях. Ариев-персов, поклонявшихся Ахурамазде, которого считают они создателем мира.

История Эстер, еврейки, спасительницы народа

"Было во дни Ахашвероша (*Артаксеркс I*): Ахашвероша, царствовавшего от Индии и до Куша над ста двадцатью и семью странами."

Так начал эту историю Мордехай, отец детей моих, когда решил записать ее в поучение нашему народу. Я же, воспитательница царицы и домоправительница ее, начну эту историю много раньше. Много раньше, когда принес Мордехай крошечную девочку из дома дяди своего и жены его, женщины, которую любил он больше всего на свете, не смея ни словом, ни даже взглядом выразить свою любовь.

Принес он, со слезами на глазах, единственную дочь дяди своего из опустелого дома ее родителей, да будет благословенна память их обоих.

Жили мы все тогда в Вавилоне, в сердце империи, городе, величайшем в мире и богатейшем. Который не случайно называют жители его Вратами богов. Городе, слава которого простирается от Нижнего моря до Верхнего, и от запада до востока.

Но жизнь в нем тяжела.

Летом страдает он от невыносимой жары, а зимние дожди превращают окрестности в огромное глинистое болото. Маленькие осы поселяются в бесконечных плантациях фиников, и укусы их, как прикосновение раскаленного металла. Но что осы, их можно перетерпеть.

Миазмы лихорадки поднимаются из болот и без счета губят людей. Злая лихорадка и сгубила за два только месяца Мордехаева дядю вместе с женой его.

Только маленькая дочка, названная в честь богини любви, осталась в живых.

Со страхом оглядывалась она по сторонам, вцепившись крохотными ручками в шею двоюродного брата своего, но на руки ко мне пошла сразу и без слез.

И я тогда прижала к себе это маленькое тельце и с первого взгляда полюбила ее.

И по сей день люблю я ее так, как мать любит свою единственную дочь.

Пятерых детей родила я Мордехаю, но выжили только двое. Два сына, могучих красавца, которыми всякая мать могла бы гордиться.

Сыновья выжили, а дочери умерли во младенчестве. И стала мне Эстер возлюбленной дочерью. Месяц за месяцем растила и воспитывала я ее, и ухаживала за ней, холила и лелеяла, и ни на минуту не отпускала от себя. И когда пришла ей пора учиться в школе для девочек, при храме Богини любви, Иштар, а в школу эту принимали только дочерей из самых знатных и богатых семей великого города, каждый день в сопровождении двух крепких слуг провожала ее в школу и ждала там.

Девочка моя все, чему ее учили, схватывала на лету.

И когда стала постарше, и Царь царей перенес уже в Шушан (*Сузы*) столицу свою, и мы переехали вслед, сажал Мордехай ее рядом с собой.

Сажал и тогда, когда вел он счетные книги и когда выслушивал отчеты караванщиков и тамкаров, и капитанов кораблей, поднимавшихся с нижнего моря. А был Мордехай главой богатейшей семьи, бесспорным главой столичных евреев.

Ручьями текло серебро его вдаль. Во все страны, которыми владел Царь царей, и даже туда, где не подчинялись царю! В страну благовоний по караванным путям через безводные пустыни, и в эллинские города на островах и заливах, и даже дальше, по Верхнему морю, в далекую гористую страну, с трех сторон окруженную морем (*Италийский полуостров*), где воюют между собой эллины и тиррены (*этруски*).

И на Кавказ добиралось оно, и еще дальше в Туран (*Хорезм, Согд*). И в нижнее море шло с кораблями, на остров, посвященный великому богу персов Ахурамазде, (*Дильмун, ныне Бахрейн*) на котором круглый год идет торг, все и всем торгуют со всеми.

И даже до самой Индии доходило серебро Мордехая по морю, но и по суше через Гандхару (*Афганистан*), где подземные галереи несут в себе воду и порождают невиданное плодородие оазисов среди каменистой пустыни.

Текло серебро и обращалось в товары, и в другие товары, и в третьи, и в конце концов широкой рекой возвращалось в сундуки, чтобы, немного полежав, снова отправиться в путь. Текло серебро, и отчитывались подручные Мордехая в кабинете, застланном коврами, где широкое окно выходило в сад, окруженный стеной, запретный сад, гулять в котором могли только мы с Эстер, в котором даже садовники и другие слуги работали под моим надзором.

Звучали отчеты, и записывал старший из слуг, доверенный счетовод, то, что Мордехай приказывал ему записать.

И не раз случалось так, что кроха Эстер подавала дяде на диво разумные деловые советы.

— Горе нам с этой девочкой, — повторял Мордехай не раз, и не два. — Захочет разве кто-либо взять в жены женщину много умнее себя? И захочет ли в доме своем подчиняться женщине?

А Эстер вошла уже в возраст невесты.

И завидной же невестой была она! Прекрасно было лицо ее и тонок стан, добрым и легким нравом была она одарена и острым умом, которому мог позавидовать любой мужчина. А уж сколько серебра должна была она принести в приданое, об этом нечего и говорить.

Многое знала она и умела, и только одно оставалось в тайне от девочки моей, да и от меня самой.

Когда стемнеет уже, через запутанный лабиринт узких переулков, окруженных глухими дувалами, через незаметную калитку в саду приводили к Мордехаю людей, летом и зимой закутанных в длинные покрывала.

Многих из них выслушивал старший из слуг. Выслушивал и оценивал в серебре то, что они могли рассказать.

Иногда только, когда слова бывали важны, или же серебра требовалось много, людей этих приводили в маленькую комнату с глухими стенами, и сам Мордехай выслушивал их. Выслушивал молча, иногда только поднося к самому лицу шпиона масляную лампу, чтобы посмотреть в глаза его и увериться в правдивости сказанного.

Эстер ничего не знала об этом.

Да и я мало что знала.

Только младший наш сын участвовал в этих делах отца своего.

Все чаще задумывался Мордехай, где же взять жениха для любимой дочери. Достойного жениха, богатого и знатного. И такого, который любил бы жену и слушал ее советы. Все чаще...

— До чего бывают слепы мужчины, — сказала я ему однажды, когда вечером после дня забот сидели мы наедине в кабинете, устланном коврами. Сладкое, чудно пахнущее вино с острова Самос, совершившее долгий путь через Верхнее море, через горы и далее по величайшей из рек, было налито в серебряные чаши и три раза разбавлено чистой холодной водой. (эллинский обычай, весьма разумный, на мой взгляд). Амфора, в которой вино путешествовало, стояла в бочонке, наполненном льдом. Лед же приплыл к нам в жаркую страну, на круглом корабле с армянских гор.

Эти круглые корабли в армянских горах не строят из досок, а сшивают из бычьих шкур и натягивают на деревянный каркас, и, нагрузив всякими товарами, отправляют вниз по течению бурной реки. В великом городе Вавилоне товары продают, и продают также каркас корабля на дрова, необходимые для приготовления пищи, а обшивку отправляют обратно, нагрузив на ослов.

Амфора в бочонке со льдом и рядом легкая еда, на расписном глиняном подносе отборные финики, и смоквы, и лучшие персики, и орехи, и тоненькие, похрустывавшие во рту свежие лепешки.

Вытянув ноги, под которые служанка, прежде чем уйти, подложила высокие подушки, набитые мягкой шерстью горных овец, мы отдыхали, попивая глоток за глотком ледяное вино.

Сумерничали, не зажигая огня, а из сада тянуло нежными запахами цветущих деревьев.

— До чего бывают слепы мужчины, — повторила я, — трудно разве заметить взгляды, которые бросает на нее Яир (а был Яир, названный так в честь покойного отца Мордехая, старшим из наших сыновей, могучим мужчиной в расцвете молодости и здоровья). И то, какими взглядами отвечает девушка.

И Мордехай улыбнулся в полумраке.

— Славный будет брак, и серебро останется в семье!

— И красивые здоровые внуки, с помощью богини!

Но Б-г наш, Б-г евреев, великий и единственный Б-г, грозный Б-г, Б-г Авраама, Ицхака и Иакова, замыслил иначе!

В то время как раз так случилось, что начал Мордехай, мысли которого ранее занимало только серебро и дворцовые интриги, задумываться о Б-ге.

Об истинном Б-ге, Б-ге невидимом и беспощадном, повелителе неба и земли, который вывел нас из Мицраима. Б-ге, которого не следует изображать, пред которым все прочие боги, те, которых создают искусные скульпторы из камня, меди и даже золота, не многим более чем смертные цари, которые тоже ведь принимают от подданных своих божеские почести. Называют себя богами, а потом, в свой черед, обращаются в прах...

Стал он задумываться о Б-ге.

И даже велел называть любимую воспитанницу нашу еврейским именем Адасса-мирт. Служанки, может быть, так и делали, но я не обращала на эту прихоть внимания.

И дошло до того, что как-то раз, когда были мы наедине с ним, стал Мордехай выговаривать мне.

— Адасса-мирт, Адасса-мирт, — рассердилась я. — Эстер-Иштар зовут мою девочку, и с каких это пор человек, названный в честь верховного из вавилонских богов, которого изображают люди в виде крылатого быка, находит плохим имя богини любви?!

Мордехай швырнул мне под ноги свиток, который держал в руке.

— Никогда ты не промолчишь!

И ушел.

Молчать? Вот еще!

Разве ночи со мной не были сладкими? Разве не помогала я тебе во всем, не утешала в тоске и не наливала отборное вино в чашу твою в минуты радости?

Разве не я родила тебе двух сыновей, могучих красавцев?!

Разве не вырастила и не воспитала как должно приемную дочь твою? Любимую дочь!

Кто же ты такой, чтобы я молчала перед тобой?

Мечтала я увидеть свою девочку счастливой, в одеждах невесты, сидящей рядом с возлюбленным ее, рядом с моим сыном.

Мечтала...

Да...

Но Б-г наш, великий и единственный Б-г, знающий прошлое от начала времен и повелевающий будущим, решил иначе!

В то время главной женой Царя царей была Вашти (*Астинь*), родом из знатной семьи, из великого города, говорили даже, что была она внучка Навуходоноцара, последнего вавилонского царя. Вашти, женщина умная и образованная. Не раз дававшая Царю царей разумные советы. И говорили также, что она красива, как апсара, небесная танцовщица, в которых верят обитатели Индии.

Склонял царь ухо свое к ее речам, и не начинал даже важного дела, не посоветовавшись с ней. И возгордилась эта женщина, и слишком высоко подняла голову свою, и примнилось ей, что Царь царей управляет империей, она же царем.

И разгневался Царь царей, и удалил Вашти от глаз своих!

Помню тот день, и помню хорошо.

Утром, когда зашла я к Мордехаю, он был уже на ногах и ходил из угла в угол, словно мучимый зубной болью.

— Знай же, — тихо, но в величайшем возбуждении, проговорил он. — Знай, что удалил царь эту женщину, которая была нашим врагом, как все знатные вавилоняне, от глаз своих. Удалил, и, милостью Б-га, есть у нас кому заменить ее!

Поняла я, что имеет в виду Мордехай, и заглодело сердце мое и покрылось льдом. Без сил упала я в кресло, ничего не видя вокруг...

— Понимаешь ли ты, — сказала я, когда смогла уже говорить, — понимаешь ли, какой опасности собираешься подвергнуть нашу девочку? Понимаешь ли, что царю может

она не понравится, и тогда закончит жизнь свою взаперти, среди отвергнутых царем наложниц!

— Этого не случится! Нет! Не думаешь ли ты, что Царь царей испытывает недостаток в красотках? В округлых попках и красивых мордашках...

Жена нужна царю, красивая жена, как то царю подобает, но главное – советчица, умная и образованная, которая разбирается в запутанных финансах империи, которой можно доверять и на которую можно положиться!

И где во всем царстве он найдет лучшую, чем Эстер?!

Будет она царицей.

— Не может быть царицей персов женщина иного народа, не персиянка!

— И больше скажу, — ответил мне Мордехай, — больше скажу, может быть царицей только женщина из главнейших родов персидских, которых ровно семь...

Но кто слышал что-либо об этой женщине, кроме того, что она существует.

Чем она может помочь царю, что посоветовать?!

Может быть, она родит царю наследника.

Но может быть и так, что царем станет сын другой женщины...

Как бывало уже.

Я заплакала.

— А Яир, а любовь наших детей?

Думала я, что вот-вот настанет месяц свадеб и...

— Но что же делать. Что делать? — покачал головой Мордехай.

— Можем ли мы упустить такой случай? Второго не будет никогда...

Никогда!

Слезы лились у меня из глаз.

— Я сам с ней поговорю. — сказал Мордехай.

— Сам.

Повторил он.

Вечером пошла я в комнату Эстер, надеясь не утешить ее, нет, чем можно утешить девушку, которую разлучают

навсегда с любимым. Надеюсь хотя бы поплакать вместе с ней.

Но глаза ее были сухи!

— Я, — сказала Эстер, — принцесса царского рода, ибо царем был далекий предок наш Шауль... И такова вот судьба девушки из царского рода, не за любимого человека выдают ее замуж, а за иноземного царя, чтобы упрочить положение народа.

Тут я не выдержала и заплакала, и тогда уж заплакала девочка моя, и долго еще сидели мы, обнявшись, и рыдали.

И отдал Мордехай нашу девочку во дворец, и я, единственная из близких людей, могла ее сопровождать. И каждый день встречалась я с Мордехаем, и передавал он мне мешочки с серебром. Серебром, и еще серебром, чтобы купить благосклонность всех, от кого зависели мы с Эстер, во дворце.

И настал день в десятом месяце, месяце тевете, когда предстала моя девочка перед царем.

А евнухи и слуги, все, кто получил серебро еще прежде, будто невзначай переглядывались, и шептались, и закатывали глаза...

И было.

Ложة госпожи моей, ложе из дерева драгоценного и благовонного, стояло, окруженное колоннами, между которыми на серебряных прутах были натянуты занавеси из виссона, расшитого золотым узором.

И над ложем был натянут между колоннами навес от солнца из золотой парчи.

Ветер колыхал и развевал занавеси.

Госпожа моя, маленькая, изящная и совершенно обнаженная, лежала на спине и, закрыв глаза, тихо, почти неслышно стонала.

Перед ложем ее, на коленях, стоял могучий обнаженный мужчина.

Великий царь, Царь царей, царь стран, царь народов разного языка.

И целовал маленькие пальчики на ногах госпожи.

Потом губы царя стали продвигаться все выше, выше. И даже в моем старческом теле зашевелилось что-то, давно угаснувшее.

Осторожно отпустила я занавеску и увидела, как почти рядом со мной, возле колонны, заглядывает за занавеску Зульпа, одна из приближенных служанок царицы.

За ухо ухватила я ее, а второй рукой закрыла рот.

Странное выражение было на ее лице, и глаза как две спелые оливки.

— Молчи, — прошептала я ей на ухо. — Молчи. Уходи. И спрячь за зубами свой язычок. Если услышу я хоть что-то об этом из чужих уст, прикажу его отрезать.

Лицо девушки стало испуганным. Видимо поняла, что я не шучу, и когда отпустила я ухо, исчезла как тень.

Пошла потихоньку и я, тихо покачивая головой.

У дверей гарема, и по углам стены, как всегда парами застыли бессмертные левой* тысячи.

*(*т.е. царские гвардейцы, их называли «бессмертными» потому, что их число было постоянным, и как только один погибал или прекращал службу, его сразу же заменял новый. «Левой тысячи» - наиболее приближенные к монарху, слева у человека находится сердце.)*

Высокорослые воины в доспехах, с красивыми завитыми бородами, будто статуи из сверкающего металла.

Свободные от стражи сидели в тени колонн на каменном полу.

Чуть поодаль начальники их играли в кости.

Один из них, высокий красавец с гривой черных, заплетенных в косички волос и густой, тщательно ухоженной, бородой выигрывал чаще других. Как всегда, когда я его видела, у меня потеплело где-то в середине тела, там, где сходятся ребра.

Через минуту он уже стоял, вытянувшись, передо мной.

— Зачем ты их обыгрываешь? — очень тихо сказала я. — Разве тебе не хватает серебра, которое даем тебе я и отец?!

— Не беспокойся, матушка. Иногда я даю этим увальням выигрывать. Просто из сочувствия.

— Посеешь обиду, пожнешь ненависть.

Подбородок сына чуть приподнялся.

— Руки коротки. Я сотник первой сотни левой гвардии. С того, кто осмелился бы поднять на меня руку, даже замыслить плохое против меня, сдерут живьем кожу!

— Мы окружены злобой. Не забывай об этом.

— Здесь в Шошане нет, но в Вавилоне да. Вавилон ненавидит персов. А мы их друзья...

"Пока" хотела я сказать. Но промолчала.

Может быть, я, старая женщина, чего-то не понимаю. Может быть...

— Ты вспоминаешь... ее? — спросила я неожиданно для себя.

Глаза сына затуманились.

— Вспоминаю ли я звезды? Звезды прекрасны... Но они далеко. На небе. А я тут, внизу, на земле.

Сын поклонился мне низко, как положено простому сотнику после разговора с домоправительницей царицы, и двинулся проверять караулы. Я же смотрела на бессмертных. Что они знают о нашей семье?

Как и всегда, как и тогда, когда нашего сына приняли в гвардию, как и тогда, когда Мордехай стал одним из советников царя, вхожим в удлиненные залы с красным полом, расположенные сразу за воротами дворца, я была обеспокоена.

Город Шошан прочно стоит на земле. И царский дворец, который над ним возвышается, прочно стоит на каменной платформе своей. Но что под ними? Разве не зыбучий песок?

А сына пора женить.

Я скажу об этом Мордехаю, как только увижу его.

В наружном дворике, в тени возле маленького фонтана, сидели двое бессмертных в блестящих панцирях и гордо посматривали вокруг.

Шлемы они, впрочем, сняли, копья со щитами прислонили к стене и сидели, развалившись, время от времени прикладываясь к большим чашам, которые держали в руках, и ловко лапая пробежавших мимо служанок.

Без шлемов было сразу видно, что оба они евреи. Все-таки наши мужчины сильно отличаются от персов.

Я хотела было спросить, что случилось, открыла даже рот, но потом догадалась, что это телохранители моего старшего сына. По милости Б-га осторожен мой сын, и хотя тут, в столице, тем паче в верхнем городе, безопасно, не ходит по улицам без охраны.

В кабинете Мордехая были они оба.

Всегда изумлялась, как велико различие между мальчиками моими, хоть и погодки они, и внешне очень похожи, красивые мужчины высокого роста и могучего сложения.

Ничего нет удивительного в этом сходстве, оба они вышли из чрева моего и отец у них один, это я знаю точно, ибо никогда не входил ко мне другой мужчина, никто, кроме возлюбленного моего Мордехая.

Увидев меня, сыновья вскочили с мест и поклонились, и целовали мне руки, и усадили в кресло, и подвинули под ноги мешок с шерстью, и подали чашу с вином, разбавленным ледяной водой.

— Батюшка скоро придет, — сообщил старший и, убедившись, что я устроена удобно, вернулся к спору.

А спорили они всегда, с тех еще пор, когда были маленькими мальчиками. Спорили всегда, но не ссорились никогда. Крепка была, благодарение господу, братская любовь между ними.

— Ты прав, — сказал старший сын, — прав в том, что зависим мы от царя, потому что чужие в этом городе и стране. Но, — тут он выглянул в сад (жизнь во дворце учит осторожности, но никого, конечно, не могло быть в этом саду). Все же сын понизил голос.

— Но и царь чужой в стране и городе. И на кого же ему опереться, если отвернется от нас?

Красивый мальчик с добрым, по детски мягким лицом. Трудно поверить, что командует он сотней царских гвардейцев, и могучие воины повинуются ему беспрекословно, и всегда готов он броситься в бой и убивать впереди своих солдат. Когда мал он был, много болел, и я даже, опасаясь за его жизнь, посвятила его Б-гу. С тех пор и до совершеннолетия он не стригся, не ел винограда и носил на голове множество косичек.

Косички заплетает он и теперь, но уже для красоты.

— Царь осыпает нас милостями, — согласился младший, — это так, пока мы ему нужны. Пока... Если было бы у нас свое царство, и царь был бы еврей, как ты и я, — тихо сказал он.

И второй мой сын, могучий красавец, с гривой блестящих черных волос. Всё так... И всё не так. Тверды черты лица его и пронзителен взгляд, который, это видно, он не опустит ни перед кем. И сверкают глаза в тени длинных ресниц. В юности даже побаивалась я, что призовет его Господь к служению, и станет мой мальчик пророком.

Это почетно, конечно, но недолог век пророка, ибо говорит он не то, что думает, и уж совсем не то, что хотят услышать от него люди. Б-г говорит его устами...

Обошлось.

Решителен и упорен мой сын, и так преуспел он в чтении свитков, что мало кто осмеливается с ним спорить.

— Было и такое время, — сказал Яир. — Было. И зависели мы тогда от двух или трех царей, а не от одного, как сейчас. От своего еврейского царя зависели мы в первую очередь, а цари наши бывали разными. Некоторые — умными и справедливыми, другие же...

Он помолчал и отпил из чаши.

— А третьи... Третьи такие, как Ровоам, разваливший великое государство.

Но мало этого. Малым было наше царство, и зависели мы от могучих соседей. Сам знаешь.

Последний царь наш Цедкияху, понадеявшись на помощь правителей Мицраима, отказался платить дань

Навуходоначару. Но не сумел царь Мицраима собрать достаточно солдат и войско его разбили вавилоняне.

И пришел Навуходоначар, и сравнял город и храм с землей. И убил многих, и прадедов наших угнал в Вавилон. И многие еще умерли по дороге!

Оба они замолчали, и младший раскочивался, будто читал про себя молитву...

— Но город... Храм... — сказал он наконец.

— Да, город... Иерусалаим... — протянул старший сын мой. И лицо его стало мечтательным и грустным, каким бывало оно в детстве, когда я рассказывала ему сказки и легенды нашего народа. Каким бывало потом, когда смотрел он на госпожу мою.

Годы шли, и все шло хорошо, и казалось, все будет хорошо.

Уже женаты были оба сына мои, и Б-г благословил уже меня внуками.

Жену Яиру я нашла красивую, невысокую и изящную, зная, каких женщин он любит, и не особенно задумываясь о приданом.

Ласков был мой добрый мальчик с нелюбимой женой, и носил ее на руках, и шептал ей нежные слова, и задаривал серебром и золотом. И никогда, ни словом, ни взглядом не дал ей понять, что в сердце у него другая.

И женщина эта (а была она восьмой дочерью в доме отца своего, и, как видно, мало ласки ей доставалось в родительском доме) ежедневно благословляла день замужества своего, и едва ли не молилась на мужа.

Со мной она была почтительна и матушкой называла меня. Я же старалась не вмешиваться в ее распоряжения, всегда напоминая себе, что дом этот ее, ей и быть в нем хозяйкой. Иногда только давала советы, как сделать и устроить все так, чтобы мужчина был доволен.

Уже родила она, благодарение Б-гу, двух близнецов, очаровательных и резвых мальчишек. И была опять беременна.

Я ведь, домоправительница царицы, вознесенная волей Б-га над мириадами и мириадами людей в безграничной империи, родилась в бедной семье, в которой денег хватало разве что на еду, и то потому только, что община нам помогала.

Вот поэтому матери моей и пришлось согласиться, чтобы Мордехай взял меня наложницей. А так как он не женился, ни тогда, ни потом, то стала я после смерти его матери полновластной хозяйкой в доме, одном из самых богатых в Вавилоне.

«Одном из самых богатых в Вавилоне» - о, много значат эти слова для того, кто жил в империи Царя царей.

Привыкла я к богатству за долгие годы.

Но никогда, никогда в жизни деньги не доставляли мне и малой доли той радости, которую доставляли теперь, когда могла я дарить все, что только пожелаю, детям своим, их женам и внукам своим!

Шли годы.

Крепкой оставалась любовь Царя царей к Эстер и глубоким уважение к ее познаниям и уму.

И не раз слышала я случайно (нет, я не подслушивала, зачем, все, что следовало узнать Мордехаю, царица сама передавала через меня).

Слышала я, как в спальне царицы, в присутствии хранителей казны, а все это, по персидскому обычаю, были евнухи, как и те, кто охранял гарем Царя царей.

Слышала я, как обсуждались поступления налогов, таможенные сборы, цены на товары, и предстоящие выплаты по долгам и обязательствам.

Однажды, когда евнухи уже ушли, а я принесла новый кувшин кисловатого напитка из горных ягод, обложенный льдом, как любил царь, и, поклонившись, согласно обычаю, попробовала его на глазах у царственной пары.

Однажды слышала я, как жаловался царь.

— Я ведь не глуп, — говорил он. — Когда заходит речь о том, как и куда вести армию, как снабдить ее продовольствием и где основать крепость. О том, как

проследить за сатрапами и очистить горные перевалы от разбойников, или добиться, чтобы судьи судили по справедливости... или поссорить маленькие торговые города-государства в Европе, и заставить их платить нам дань...

Вот это все я понимаю очень хорошо!

Но когда заходит разговор о семнадцати разделенных на сорок девять сиклей золота за сикль серебра, или о двухсот пятидесяти талантах налога, минус семьдесят три таланта на содержание войск сатрапии, плюс сорок шесть талантов с рудников, минус 11 талантов на уменьшение добычи... Или о снижении налога с садов и повышении на орошаемые поля...

Царь, смеясь, схватился за голову.

— Каждый раз, когда я все это слышу, у меня болит голова и появляется такое чувство, что я выпил целую амфору хиосского вина.

Эстер поцеловала руку царя.

— Ты великий царь, великий политик и полководец. И не случайно тронное имя твое - справедливый царь*.

*(*В персидском произношении Артахшасса – «владеющий царством справедливости»).*

Ты устроил державу и даровал подданным справедливость, по образцу великого деда твоего Дараявауша (*Дарий 1*), да будет вовеки благословенна память его! И под рукой твоей народ живет в довольстве и безопасности, и благословляет судьбу.

А для того, чтобы разбираться во всех этих сиклях и талантах, есть специально обученные евнухи в доме казны.

— А для того, чтобы присматривать за этими евнухами, есть жена, лучше которой нет ни у кого на свете, и никогда не бывало!

Так сказал царь, и, движением глаз разрешив мне уйти, притянул к себе женщину.

Все шло хорошо и, казалось, так будет всегда.

Но появился тот человек, Аман.

И возрос, как тесто поднимается на дрожжах.

И серебро раздавал он без счета, и многие во дворце взяли его сторону.

(«Проклятое вавилонское серебро» — так говорил Мордехай. Но сделать ничего не мог.)

И склонил царь ухо свое к Аману, и речи этого человека были в меру льстивы, а советы его оказались весьма разумны и своевременны.

И было так, что говорил о нем с Эстер Царь царей.

— Каждый человек предан самому себе. — Так сказал царь. — Потом он предан своей семье. Своему роду и племени. И если в сердце его остается еще немного места для преданности, он предан своему господину. Думаю я, в сердце Амана довольно много места осталось.

И царице пришлось согласиться.

И приблизил царь к себе Амана.

В те дни возник заговор во дворце. Два евнуха, из тех, что охраняли вход в царскую опочивальню, задумали убить царя. (А Мордехай был уверен, что заговор этот был делом рук людей Амана, чтобы мог он разоблачить евнухов, и тем еще возвыситься в глазах царя.)

Но Мордехай узнал о заговоре от своих шпионов, и в тот же миг бросился во дворец, хотя была уже глубокая ночь, и передал через меня царице свои слова. Царица же сообщила Ахашверошу о заговоре от имени Мордехая.

И повешены были евнухи, а царь еще раз убедился в преданности Мордехая.

Но связь между Аманом и евнухами доказать не удалось.

Много места оставалось в сердце Амана. Но не преданность царю и державе занимала это место. Ненависть гнездилась в нем. Долго плел он свои сети.

И однажды решил, что время пришло.

И говорил перед царем, и сказал:

«Во всех областях твоего царства есть народ, непохожий на другие народы и живущий отдельно от других по своим законам, а не по законам царя. Не должно так быть, и таится в этом народе всегдашняя опасность мятежа и

предательства! И не следует Царю царей оставлять их в стране! И, если пожелает царь избавиться от этого опасного народа, дабы не потерпела царская казна убытка на первых порах, десять тысяч талантов внесу я в казну.»

И склонил Ахашверош ухо свое к злодею.

И отдал ему печать с руки своей.

И написал Аман закон от имени царя, и послал с гонцами царской почты во все области царские. Чтобы убить, погубить и истребить всех евреев от старого до малого, и детей их, и женщин в один день, тринадцатый день месяца Адара. А имущество их разграбить.

В тайне приказал Аман держать этот указ, но Мордехай, конечно, получил список.

И передал царице.

И пригласила она к себе в сад на пир Амана вместе с царем (а честь такая, чтобы мужчине войти в покои царицы и пировать с царем и с нею, была редчайшей, и в годы Ахашвероса еще не доставалась такая честь ни одному из вельмож).

И возликовал Аман.

А царица готовилась к пиру.

И когда мало уже времени оставалось до того, как придут к ней царь и любимец его, позвала меня в свою комнату, где наряжалась она, и отпустила служанок.

Отпустила всех и, когда остались мы наедине, повернулась ко мне.

И когда повернулась, лицо ее, прежде спокойное, стало как покрытое тучами небо над Вавилоном, небо в ожидании ливня и урагана. Молнии сверкнули из глаз моей богини.

Она протянула мне нож в простых кожаных ножнах на тонком ремешке. Это был бронзовый нож, с клинком в полторы ладони, узкий и острый, как бритва.

Таким ножом не сражаются. Им приносят жертвы, а жрицы Иштар защищают, если это понадобится, свою честь.

— Вот тут прикрепи его. — распахнула юбки и указала на левое бедро. — И если не смогу победить словами, убью его и себя.

Прошептала Иштар.

— В междуусобице и резне за трон многим евреям удастся спастись. А может быть и так, что среди смятения никто и не вспомнит об этом указе. Будут дела поважнее. Ты же позаботься о том, чтобы злодей не остался в живых.

— Ты любишь его? — решила я спросить.

— Я любила один раз в жизни. Только один. Ты знаешь. Только один.

Она замолчала. Потом продолжила.

— Мой повелитель хороший человек. Честный и справедливый, и добрый, сколь это возможно. Он заботится о простом народе и избегает лишнего зла. И любит меня и... ("И ласки его слаще меда", — добавила я про себя.)

— И... И сердце мое разрывается на части...

Она встряхнула головой. И заговорила очень тихо, так что почти и не разобрать мне было.

— Пришла еврейка богатая и прекрасная лицом, имя же ее Иехудит (*Юдифь*), со служанками своими к Олоферну, полководцу Ассирии. К тому Олоферну, который пришел с войной в Иудею и осадил ее родной город, Ветилую, прикрывавший дорогу на Иерусалим.

Пришла она, и стала перед Олоферном, и увидел он женщину неземной красоты в роскошном наряде. И загорелось сердце мужчины.

И подняла Иехудит глаза свои на великого полководца. И увидела пред собой могучего красавца с гордо поднятой головой и орлиным взором. Красавца, выделявшегося среди слуг своих, словно лев, среди прочих зверей.

И сжалось женское сердце и наполнилось горем.

И устроил Олоферн пир в честь красавицы.

И пировала с ним Иехудит, и любила его, и ласкала на ложе своем, и насладилась ласками его, и приняла его в себя...

А после, когда заснул, отрубила ему голову серпом, ибо так должна была поступить для спасения евреев!

Я молча поцеловала ей руку. Еще несколько мгновений стояла она передо мной. Моя воспитанница, моя богиня, которую любила я больше души моей. Стояла, прикрыв глаза, словно всматривалась в глубину сердца своего. И казалось, что вот сейчас царица закроет лицо руками и зарыдает.

Но этого не случилось. Высоко подняла она голову и ушла в сад, ушла своей несравненной походкой. Походкой Иштар. Пошла проверить, все ли хорошо подготовлено к приему гостей.

Ну вот, подумала я, вот, может быть, и мне стоит приготовиться к смерти. Помыться, по крайней мере, и переодеться в чистое. И надо услать куда-то ближних служанок, чтобы "бессмертные" их не перерезали, если начнется...

И, «позаботься, чтобы злодей не остался в живых!» Легко сказать. В жизни своей я убивала только комаров.

И вышла я на ступени дома жен, молясь Б-гу всемогущему, чтобы сын мой оказался в карауле.

С помощью Б-га нашего! Вот он уже шел ко мне, улыбающийся красавец, черноглазый и черноволосый, копия Мордехая, каким был тот в молодые наши годы.

И когда подошел он ко мне и поклонился низко, сложив руки на груди в ожидании приказаний, шагнула я к нему, чтоб не мог нас никто подслушать ни изнутри, ни снаружи, и прошептала, приблизив губы к самому уху.

— Слушай, и если поднимется в доме вопль и плач, и причитания, а я буду кричать больше всех, ты должен первым ворваться внутрь и убить Амана.

В этот день я, старая женщина, узнала наконец, что такое настоящий воин. Ничто не дрогнуло в лице сына моего, и не изменилась улыбка его.

— Будет исполнено, матушка,— сказал он, и поклонился низко, и вернулся в тень.

Я же стояла на ступеньках.

На сносях была уже жена Яира, и двое старших внуков уже подросли немного. А у младшего сына были уже две жены и двое детей.

И что же, и вот это все, и мальчики мои, и жены их, и внуки мои, и другие ни в чем не повинные женщины и дети, и мужчины. Должны все они погибнуть потому только, что не могут их купцы и ремесленники соперничать с нашими!

Потому что возмечталось негодяю возбудить зависть черни, отребья, которое не умеет само ни работать, ни зарабатывать, а мечтает только о безнаказанном грабеже?!

И сжались сами собой пальцы мои, ах, если б был у меня кинжал... но не было у меня кинжала. Да и не умею я убивать. И так вот я стояла с бьющимся сердцем.

Успокойся, сказала я сердцу своему, разве я не сделала все, что могла! Разве не мой меч в руках у сына моего, разве не мой кинжал в руках дочери моей! Разве не я воспитала моих детей, как должно матери-еврейке!

И вот, они уже идут, Царь царей с задумчивым лицом и Аман, радостно улыбающийся, чуть поотстав, ибо никто не смеет ни шагать рядом с царем, ни опередить его, разве только на войне или на охоте.

Бессмертные салютовали повелителю, а я простерлась ниц.

Иди, иди, сын блудницы вавилонской, улыбающийся волк, думающий, что забрался ты в загон с овцами, где ничто не помешает тебе резать ягнят. Иди. Улыбайся.

Уже внимательные глаза смерти направлены на тебя.

Иди. И как бы ни повернулся сегодняшний день, тебе не возвратиться живым!

И когда вдоволь уже пировали мужчины, и размягчились сердца их, и наполнились довольством, сказал радостный царь жене своей:

— Проси меня обо всем, чего желает душа твоя, и будет тебе дано!

Заговорила царица. И сказала:

— Позволь мне, о возлюбленный повелитель мой, высказать и рассказать то, что в сердце моем, о царь великий, Царь царей, царь стран, царь множества языков.

Вот возлежит рядом с тобой человек, которому ты доверил больше всех прочих и который замыслил против тебя с черною злобой.

Захотел Аман уничтожить евреев, народ Исфаэля, мой народ.

Когда бы это принесло пользу царю, я молчала бы.

Когда бы даже предложил Аман продать всех нас в рабство, я молчала бы. Все мы рабы царя, и волен он распорядиться нами.

Предлагал Аман тебе 10 тысяч талантов серебра, чтобы покрыть убытки казны. Но ни 10, ни 100, ни даже тысяча тысяч талантов не покроют убытков твоих, о великий царь.

Нет на свете таких денег, которые бы могли покрыть убытки твои.

Знай же, что если евреи будут уничтожены и имущество их будет разграблено, остановятся караваны с товарами, которые платят таможенные пошлины царю, и замрет торговля, ибо негде будет купцам одолжить денег на покупку товара или превратить дорожные чеки в серебро. И разрушены будут мастерские с искусными мастерами, которые платят налоги царю, и сгорят верфи, где искусные кораблестроители строят царские и купеческие корабли. И остановится строительство царских крепостей и дворцов, ибо не будет архитекторов. Годы и десятилетия потребуются, чтобы покрыть ущерб и восстановить хозяйство!

Но и это еще не всё. И даже не главное.

При этих словах царь и Аман, слушавшие довольно равнодушно, встрепенулись оба одновременно.

— Остановятся караваны купеческих кораблей и прекратится подвоз зерна к великому и беспокойному городу, к Вавилону, где живут сотни тысяч и сотни тысяч и сотни тысяч людей. И вздорожает продовольствие и восстанет голодная чернь... Ведь бывало же такое и раньше, и совсем недавно, при отце твоём, когда случился неурожай на юге, и нашли они себе даже какого-то Шамаш-эрибу, якобы царя, и может быть именно этого и желает...

И царь вскочил с ложа своего, отшвырнув резной столик из драгоценного дерева, который вдребезги разлетелся о столб, поддерживавший крышу беседки, а серебряная посуда посыпалась со звоном.

Одежду рванул он на груди своей, будто воздуха не хватало дыханию его. Один только взгляд бросил на Амана и широкими шагами вышел в сад.

Тихо журчал фонтан. Никто из евнухов не решался войти в беседку.

Царица села на ложе, и Аман бросился на колени перед ней и обхватил ноги ее, безмолвно моля о спасении жизни.

Но царь уже вернулся.

Тихо заговорил он, и голос его был подобен шипению кобры.

— Вот еще и женщину мою хочет насиловать в доме моем. Взять!

Вбежали евнухи из-за колон и накинули Аману платок на голову и лицо (так издревле поступают персы и прочие арии с жертвенными животными, или даже людьми, которых иногда приносили в жертву в старые времена, чтобы не видела жертва ножа, которым ей перережут горло).

Накрыли лицо платком и утащили его, и скрылись за колоннами.

Только самый старый из них остался убрать остатки посуды, но, поймав взгляд царя, исчез беззвучно.

— Вина! — сказал царь, усевшись на ложе.

Эстер вскочила поспешно и, налив в свою чашу вина, подала ее двумя руками, стоя на коленях.

В несколько глотков, не отрываясь, выпил царь вино и, вернув чашу женщине, долго всматривался ей в лицо. Но Эстер не отвела глаз.

— Ещё.

Быстрым движением, расплескивая вино дрожащими руками, налила она и снова стала на колени перед Ахашверошем.

И царь снова выпил, не отрываясь.

— Довольно!

И он отшвырнул чашу из серебра, покрытого искусной чеканкой, так, что она полетела, звеня, куда-то в розовые кусты. И встал.

А Эстер смотрела на него с мольбой.

И закричал бешеным голосом, которым, наверное, подбадривал своих «бессмертных» в битвах.

— Коня!!! Загонщиков!!! Царь едет на охоту!

Широкими шагами зашагал он к выходу из сада, а во дворце, словно эхо его шагов, уже нарастал шум. Звеня оружием, бежали телохранители, и с топотом неслись по своим местам вельможи и слуги, словно ураганом оторванные от послеобеденного отдыха. Вдалеке, в конюшнях тонко и радостно ржали кони, на которых надевали роскошную сбрую для царского выезда.

С тревогой смотрела Эстер ему вслед.

— Не волнуйся, царица. — сказал старый евнух, а он уже снова появился и собирал с пола посуду и обломки. — Не волнуйся. В три года посадил я маленького Ахи на коня, и что бы с ним ни случилось, будь он пьян или сон сморит его, с седла он не упадет.

— Спасибо, Гаг, — обняла его Эстер и поцеловала в щеку.

Тут и я появилась из-за колонны.

— Позволь, дорогая, я провожу тебя отдохнуть.

И настал день, когда великая честь оказана была Мордехаю. Царь царей принимал его в саду, где хозяйкой была его воспитанница Эстер.

Я же, кланяясь и стараясь быть незаметной, прислуживала пирующим.

Царь улыбался жене, но видно было, что беспокойно у него на душе.

— Жена моя, которую ты воспитал, много раз давала мне советы, и советы ее были мудры так, как трудно ожидать от женщины или мужчины.

И царь замолчал, а царица с Мордехаем не решались нарушить молчание.

Тихо было в саду.

— И было так однажды, что ты, Мордехай, спас мне жизнь, - продолжил царь. — Достаточно ли этого, чтобы решить, что будешь ты, Мордехай, предан мне безраздельно и навсегда.

— Об одном прошу, о великий царь, Царь царей, царь стран. Выслушай меня благосклонно.

Так отвечал Мордехай:

— Ведомо тебе, о великий царь, что нет у нас, евреев, своего государства, ибо разрушил царь Вавилонa город наш и храм. И изгнал нас в страну двух рек.

Царь кивнул.

— Многие народы были изгнаны Вавилонянином, а ранее Ассирийцем, и рассеялись эти народы по земле, перед лицом верховного бога Ахурамазды, и сгнули без следа.

Царь снова кивнул.

— Мы же продолжаем существовать, в отличие от других, и по этой-то причине вражда всех на нас. Мы, евреи, словно караван в нижней пустыне, ступивший на зыбучий песок. По песку мы держим путь, и на песке строим дома свои.

Кто же опора нам в этой жизни, опора единственная, опора могучая, опора, на которую можно нам положиться без страха? Ты, о великий царь, Царь царей, царь стран, царь народов разного языка. Тебе мы преданы, о великий царь, преданы без изъятия, издавна и навсегда. И не мы ли поддержали без колебаний предка твоего, Кира великого, когда пошел он на царство Вавилонское и завоевал его!

И не только от себя лично клянусь тебе в верности, перед лицом верховного божества, но и от народа своего! Будь уверен и не сомневайся в нас!

Тогда задумался царь.

И похолодело в душе у меня.

Поверит ли царь? Поверит ли народу, который только что хотел уничтожить?

Наконец тряхнул головой царь и осушил свою чашу.

— Подойди, Мордехай. Возьми.

И протянул ему перстень с печатью.

Простой серебряный перстень с единственной наследственной печатью из горной яшмы, красной, словно свежая кровь.

Главной печатью персидских царей.

Так одержала моя воспитанница победу в смертельной битве за жизнь для своего народа.

И так возвысился Мордехай!

И вышел он от царя в одеянии голубого и белого цвета*, и в золотом венце, и в мантии белой с пурпурной каймой!

*(*С этих пор носят евреи талит, белую накидку с голубой каймой. И такие же цвета израильского флага.)*

И наместники, и младшие цари 127 областей и стран, от Индии до Куша, старались задобрить его, и слали льстивые письма и дорогие подарки. И даже красивых наложниц присылали, которых передаривал Мордехай царским вельможам.

Победила Иштар, но война еще не была закончена.

Никто не может отменить царский указ, разосланный с царской наследственной печатью. И сам царь не станет этого делать, ибо противно это обычаям персидской державы. А чем, как не обычаем и уважением к нему, остается держава крепкой и долговечной?

Что толку в полководцах и армиях, если не отправляются они на войну, как велит обычай, по первому слову царя, а начинают думать, как выгоднее им поступить. И что толку в подданных, которые не платят царю его обычную долю, а прикидывают, как бы утаить доходы.

Можно также насилием и жестокостью заставить народы повиноваться и служить, но долго это повиновение не продлится. Восстанут народы, и обратится жестокость на того, кто господствовал над ними.

Долго думал Мордехай и советовался с младшим сыном своим. И, наконец, послал он новый указ:

И написал его от имени Царя царей, и скрепил царской печатью, и отправил царской почтой.

Написал о том, что позволяет царь евреям, где бы они ни жили, собраться и стать на защиту жизни своей.

И убить и погубить всех, кто собирался на них напасть.

В один и тот же день, в тринадцатый день месяца Адара совершить все это.

И снова спорили мои сыновья.

— Лучше бы было, если бы вместе с указом выпросил отец наш у царя солдат.

Так говорил старший.

— Евреи мирный народ. Давно уже нет у нас страны, и не приходилось нам воевать... И нет у нас ни солдат, ни военачальников. А ты даже не представляешь, брат, сколько месяцев и усилий требуется, чтобы сделать хорошего солдата из штатского увальня...

Глаза моего младшего сына сверкнули.

— Не нужен нашему народу мужчина, который будет прятаться и дрожать, когда нужно взять в руки оружие и защитить свою семью. Жену, детей, стариков родителей.

Защитить и, если придется, погибнуть в бою!

Я, как всегда, слушала молча.

Но хотела я сказать.

Вначале хотела.

"Жизнь сложна, мой яростный сын, полный внутреннего огня. Сложна жизнь, и каждый человек рожден и пригоден к своей судьбе. Читать свитки должен один, вести караваны другой и сражаться мечом третий..."

Но я промолчала, конечно, как всегда.

Не вмешиваюсь я в споры моих мужчин.

А потом... потом я подумала уже по-другому:

"В дни, когда гибель готовят твоему народу, когда хрупкая женщина, любимая жена царя, которой никто не угрожает... что говорю я, угрожает!

На которую никто в империи не осмелится бросить косога взгляда, когда эта женщина готова взять в руки кинжал, убить и умереть.

В эти страшные дни каждый мужчина должен взять в руки оружие. Если же нет оружия, пусть убьет врага кухонным ножом, задушит руками, перегрызет ему горло!

Как мне назвать того, кто станет в эти дни прятаться за чужие спины?

И что за несчастная мать родила такого себе на позор!"

И случилось все по указу Мордехая, так, как я и думала, вооружились евреи и убивали своих врагов, и погибли некоторые, но не трусили и не отступили. И те, у кого не было оружия, убивали ножами и дубинками и подбирали оружие из рук павших товарищей.

И люди из других народов помогали им.

Некоторые, рассчитав, что теперь выгоднее держать руку евреев. Другие же - от чистого сердца.

Ибо человек, который встал на защиту своей семьи и сражается без страха, вызывает уважение и приязнь.

И победили евреи.

Горестный день придет всегда и неизбежно.

Как ни старайся его забыть.

Как ни отвлекай душу свою заботами о хозяйстве царицы.

Как ни ублажай плоть свою самосским вином, и финиками из Вавилона, лучшими в мире, и свежим горячим хлебом, и сладкими сливками, сбитыми по индийскому обычаю.

Горе в человеческой жизни так же неотвратимо, как и смерть.

И настал день.

И на огромном поле за городскими воротами, на поле, вдоль которого бесконечной цепью стоят караван-сарай, ревели верблюды и трубили ослы, кричали и суетились, плакали и смеялись люди.

Караван отправлялся. Первый из многих, которые разрешил царь и приказал Мордехай.

Караван на восстановление Иерусалима и храма. Караван, на который собирали деньги наши общины от верхнего моря до нижнего, и от Нила до Инда.

Никто из нас и никто из них не видел Иерусалима, священного города в чаше гор, храма на горе Мория.

Но никто не пожалел денег.

Каждый день служащие Мордехая оплачивали чеки, и становились все легче сундуки с серебром, всегда казавшиеся мне бездонными.

С утра рыдала я, и плакали служанки, которые любили меня, потому что была я с ними всегда справедлива и заботилась, как родная мать. И даже госпожа моя, первая из жен Царя царей, рыдала в моих объятиях и передала брату и женам его в дорогу сосуды для воды, подобные тем, в которых Царь царей берет в дорогу и на войну воду из родной реки. Кожаные сосуды со вшитыми пластинами чеканного серебра, а серебро это много дней не дает воде испортиться.

И я ушла из дворца, рыдая, и Мордехай в своем кабинете встретил меня со слезами на глазах. Мой Мордехай, могучий и стойкий мужчина, который никогда не плакал, кроме тех случаев, когда смерть посещала наш дом.

Но день этот был сродни смерти.

Потому что отправлялся с первым караваном наш младший сын.

Далек был его путь, через Двуречье и Сирию, много забот, много трудов и опасностей ждало его на развалинах Города, и мы понимали, что сына не увидим уже никогда.

Трубили верблюды и ревели ослы. Кричали и переругивались погонщики, определяя, где будет место каждого, бегали слуги.

И среди всего этого шума мои мальчики обнялись последний раз.

— Береги себя, — сказал старший.

— В каждом караване будет место для тебя, — сказал младший.

Предводитель каравана, лучший из караванщиков Мордехая, огромный и веселый, с палкой в руке и большой золотой серьгой в ухе, поклонился нам.

— Можно выступать, господа мои, — доложил он. И кивнул на солнце, опускающееся за горный кряж. — Время подходящее.

Был он спокоен, потому что двадцать два каравана провел в Египет и знал эту дорогу как свой двор, и отправка каравана была для него обычным делом..

Сыновья мои разомкнули объятия, и младший пошел к своему верблюду, навьюченному серебром, и пошли за ним четыре воина, назначенные его охранять, к своим верблюдам.

Я старалась не кричать, и кусала себе губы, и слезы застилали глаза мои.

И вот...

Ударил предводитель в маленький гонг, и величаво зашагали верблюды, и засеменяли ослы, двинулся караван.

И увидела я слезы на щеках Мордехая, и сын мой, грозный воин, сотник бессмертных, прижал меня к себе могучей рукой и шмыгал носом, как в детстве.

А там, на западе, куда неторопливо уходил караван, словно мираж в лучах заходящего солнца, медленно вырастал из сверкающих облаков и возвышался над нами великий город из золотистого камня. Город, которого не видели мы никогда и никогда уже не увидим.

Великий город и храм на горе Мория.

Тихо, тихо, почти неслышно, шептали мои мужчины.

«Если я забуду тебя, Иерусалим, пусть отсохнет моя правая рука. Пусть прилипнет язык мой к небу моему, если не буду помнить тебя...» (Псалом 137)

Гитлер капут

Иногда память подкидывает картинки из детства, которые никогда прежде на протяжении жизни не вспоминались. Ты оказываешься - не важно, в каком городе или стране. Неуловимый запах непонятно чего вызывает в мозгу ту или иную давно забытую историю.

Одесса. Старая Одесса. Сколько колорита было в этом городе. В нем могли буднично происходить самые необыкновенные вещи, причем жителями они воспринимались, как должное.

Неподалеку от нашего дома, немного выше, жила пара пожилых людей. Конечно же, они были евреями. Само собой, что Тойва Айзикович был портным. Его жена Витя Исааковна была просто его женой. Мы, будучи детьми, частенько бросали маленькие камушки в окно, находящееся прямо на земле, чем приводили в бешенство Тойву Айзиковича и стража его покоя - тетю Витю. Никакие попытки узнать, почему ее так называли, не увенчивались успехом. Она была просто тетя Витя.

Для Тойвы Айзиковича тетя Витя была вторым браком. Поговаривали, что его первая семья погибла во время блокады от голода. И сам дядя Тойва родом из Питера.

Дети обычно не думают о том, что делают. Иногда получается, что ребенок может невзначай очень сильно обидеть взрослого. В принципе, это мы и делали. Мы орали Тойве Айзиковичу:

- Сам жрал, а жене и детям не давал. Вот они и умерли от голода, а ты живешь.

Тойва Айзикович носил усы точь-в-точь как у Гитлера; мы его так и называли: «Гитлер капут». Он не протестовал. Улыбался своими хитрыми глазками и говорил:

- Хорошо, что эти недоноски хоть понимают, что Гитлер капут. Помнят. Уже слава Богу. Господи! Дай мне силы не прибить их к стенке. Аминь!

На эти разговоры из дома выходила пышная тетя Витя и кричала:

- Кыш, поганцы. Дядя Тойва шьет, а вы тут орете, как будто вас режут. Идите и кричите все это на уши ваших матерей. Они должны знать, какой мазаль¹ они выродили.

Она замахивалась на нас огромным полотенцем. Это еще больше веселило, но на некоторое время мы оставляли окна Гитлера в покое. Минут через десять оттуда начинало доноситься скрипящее пение дяди Тойвы:

- Очи черные, очи жгучие.

Их зыц ин шпил оф майн гитарэ.

Фыны майн страданий

Вэйс нышт гот алэй².

Это означало, что дядя Тойва шьет, и у него получается хорошо. Когда же что-то не удавалось, из окна доносилось другое:

- Хотят ли русские войны?

Чтоб кто нарушил тишины...

Мы покатывались со смеху, а Тойва шил. В городе он был известным и востребованным портным. Поговаривали, что сам Леонид Утесов шил у него костюм, будучи в Одессе на гастролях. Всегда рассказывали один и тот же анекдот. Никто толком уже и не знал, было это на самом деле или выдумка. Колорит - он и есть колорит.

Леониду Утесову посоветовали дядю Тойву, то бишь «Гитлера», как лучшего портного. Он пришел к нему и сказал:

- Я хочу такой же костюм, как на мне. И быстро. Мне послезавтра улетать в Москву.

На что дядя Тойва ответил:

¹ мазаль – счастье (идиш).

² Я сижу и играю на гитаре. Никто не знает о моих страданиях (идиш).

- Быстро только кошки родятся. Вы сначала расскажите мне, откуда на вас надет этот мешок?

Обиженный Утесов назвал фамилию известного московского портного. На что дядя Тойва сказал:

- Я не спрашиваю фамилию, я спрашиваю профессию того, кто вам это шил.

Опешивший Утесов через три минуты уже добродушно смеялся, а дядя Тойва снимал с него мерки и кричал:

- Витя! Люба моя! Запомни. Талия и зад одного размера, и в объеме все это по полтора метра.

В итоге все остались довольны, а детвора и соседи заполучили анекдот на всю жизнь.

Время шло. Мы росли и взрослели. Дворики казались все меньше и меньше. Кто-то уехал учиться, кто-то женился, а кто-то уже и развелся. Некоторые получили или построили квартиры и съезжали из старого района. Неизменными оставались только тетя Витя и «Гитлер». И уже наши дети, как когда-то мы, кричали ему:

- Гитлер капут!

Он делал вид, что очень злится. И потом бурчал себе под нос, что хорошо, что и эти недоноски помнят, что капут.

Казалось, что они такие же вечные, как и колорит старого одесского двора. Но однажды тетя Витя не проснулась утром. Она просто не проснулась. Все говорили, что она умерла красивой смертью, о которой только можно мечтать. Мы приехали на похороны, и я все время думал: «Разве о смерти можно мечтать? Есть смерть красивая и смерть некрасивая?»

Я украдкой глянул на дядю Тойву. Он молча смотрел, как закапывали тетю Витю, не проронив ни слезинки. Только гитлеровские усы над верхней губой странно дергались.

После смерти тети Вити он прожил еще год. Продолжал шить костюмы и красивые шифоновые платья, которые, как он говорил, «должны уметь летать». Только пения из окна больше не доносилось.

Мы, повзрослевшие и явно немного поумневшие, не сговариваясь, взяли шефство над постаревшим дядей

Тойвой. То продукты принесем, то заскочим на минутку услышать какую-то необычную историю.

В тот год зима выдалась очень холодной. Дяде Тойве было тяжело топить печку. И частенько он лежал один в нетопленной квартире, пока кто-то из нас не приходил и не помогал ему затопить. Он ни на что не жаловался. Просто потихоньку таял.

Однажды он вытащил откуда-то из старых вещей замызганный кусочек бумажки и дал мне.

- Напиши ему, пусть приедет попрощаться.

Я посмотрел на адрес. Это был московский адрес известного генерала, ветерана войны.

- Дядя Тойва, ты бредишь. Как я могу написать такому человеку? Да он и читать-то не будет.

- Молчи, недоносок, - проскрипел дядя Тойва. - Тебе сказали писать, значит - пиши. Это моя последняя просьба. Тетя Витя была бы довольна мной за то, что я написал ему.

Я кое-как написал генералу просьбу дяди Тойвы приехать к нему в Одессу. Написал, что он очень болен. Естественно, я это сделал только для того, чтобы дядя Тойва не нервничал.

Назавтра ему стало совсем плохо. У него поднялась высокая температура. Мы вызвали "скорую помощь", которая тут же забрала его с сильным воспалением легких в больницу.

Дядя Тойва был очень слаб. Ему было трудно говорить. Знаком он позвал меня. Я приблизился к его изголовью, и он тихо сказал:

- Похоже, что Гитлер действительно капут.

Вечером его не стало. Хоронили дядю Тойву всем двором. Мы уже собирались его, прибранного и одетого в любимый им зеленый костюм, выносить, чтобы ехать на кладбище, как перед домом остановилась "Волга", и оттуда буквально вывалился старый, тяжелый и толстый генерал. Тот самый, которому я писал письмо.

- Где Толян?! - прокричал он.

Мы расступились и показали на открытый гроб, в котором лежал дядя Тойва.

- Почему хороните, вашу мать, без наград?! Суки вы лагерные! - орал генерал.

- Так какие там награды? Швейная машинка, что ли? - открыл было рот дядя Лёша, который любой случай использовал, чтобы на дармовщину напиться. И теперь тоже стоял, раскачиваясь из стороны в сторону. - Он же портным был, когда народ-то воевал. Я с ним сколько ругался, господи прости. Я ему: «Люди на фронте гибли, а ты?..» А он мне: «Они что, там голые были? Ты хочешь сказать, что Гитлер капитулировал, увидев голые зады русских? Кто-то же должен был одевать солдат. Вот я и шил»...

Дядя Лёша начал креститься. Видимо, вспомнив, что его оппонент мертв.

- Тьфу, идиоты! – поморщился генерал и зашел в квартиру дяди Тойвы. - Всем ждать! - прокричал он. - Ни с места! Ясно?

Мы молча кивнули.

Генерала не было минут двадцать. Потом он вернулся со свертком. Бережно развернул его и начал прикручивать к дурацкому зеленому пиджаку дяди Тойвы медаль "За Отвагу", орден "Славы" и еще несколько медалей и орденов, которые из-за накатившихся слез мы так и не смогли разглядеть.

- Что же это такое получается? - робко спросил я.

- Что получается, что получается? Тьфу, придурки, - сплюнув, прорычал генерал. - Ваш дядя Тойва был одним из моих лучших разведчиков...

Котик

Главы из повести

Кидалово

Райончик выглядел так себе: бетонные коробки панельных домов были сплошь покрыты кривыми строчками с вязью, то ли на иврите, то ли по-арабски - Котик не разбирался, - нанесенными черной краской из баллончика, большинство окон наслепо затянуты серыми бельмами ставней. В просвете впереди Котик увидел что-то белое, возможно - торговый центр, и двинулся туда. Шел он не очень уверенно, оглядываясь по сторонам. Кругом никого не было, но ощущение себя мишенью не покидало его.

Сбоку появился невысокий задубелый мужчина в сандалиях на босу ногу, светлой свободной одежде и белой шапочке, плотно надвинутой на седую голову. Его смуглое морщинистое лицо было окаймлено белой щетиной, а небольшие хитрые глаза светились одновременно мудростью и приветливостью. Так должен выглядеть старик Хоттабыч, которому зачем-то сбрили бороду, но она уже почти отросла.

«Волшебник» подошел ближе и что-то спросил на своем языке.

— I am sorry... — виновато ответил Котик по-английски и развел руками.

— Я могу вам помочь? — тоже по-английски, с сильным акцентом переспросил собеседник.

— Вы знаете, я ищу магазин, где крем с Мертвого моря можно купить... — попробовал объяснить Котик. — Мне сказали, это здесь.

— А-а... — протянул собеседник, — это вы не там вышли из автобуса. Вам надо вот туда, — он махнул рукой вперед. — Я вас провожу.

— Спасибо, — кивнул Котик, — я теперь и сам дойду.

Хоттабыч взглянул на него как на неразумного котенка и повторил:

— Я вас провожу.

Он неспешно пошел по тротуару, Котик двинулся чуть позади.

— Вы откуда? — спросил старец, не оборачиваясь.

— Из Швеции, — ответил Котик.

— Швеция? Это там, где снег?

— Ну да, там зимой снег, а летом снега нет.

— Вольво! — выпалил вдруг Хоттабыч.

— Что? — переспросил наш герой, которому послышалось: «Волька!»

— Вольво, — пояснил тот, — в Швеции делают вольво. Хорошая машина.

— Ах да, — кивнул Котик.

Они прошли еще немного и повернули направо на большую улицу.

— Вот здесь, — Хоттабыч указал на небольшой магазинчик на первом этаже пятиэтажного дома.

— Спасибо, — поблагодарил Котик и зашел в магазин.

Там действительно продавали всякие кремы, масла и прочие средства для ухода за кожей. Внутри стоял густой и тягучий запах, чуть с гнильцой, но приятный, а не тот отвратительно сладкий дух розового масла, ненавидимый прокуратором Иудеи — запах, который часто висит в отделах косметики. Продавщица оказалась мастером своего дела, и когда Котик снова вышел на улицу с небольшим картонным пакетом в руке, его банковский счет оскудел на две тысячи крон. Проклиная себя за доверчивость и неспособность устоять против маркетинга, он наткнулся на все того же Хоттабыча, который его явно ждал.

— Хорошие покупки? — старец ткнул темным пальцем в пакет.

— Да, спасибо!

— Это хорошо! — Хоттабыч, похоже, ожидал от него чего-то.

— Да, спасибо... — повторил Котик, не очень понимая, что происходит.

И вдруг его осенило — тот ждет от него благодарности за указание дороги. Надо дать ему несколько шекелей. Котик уже было полез в карман, но понял, что не сможет просто протянуть монетку этому философу с мудрым и хитрым взглядом.

— А давайте... мы куда-нибудь зайдем и обмоем покупку, — предложил он и спешно добавил: — Я приглашаю.

Котик осмотрелся в поисках чего-нибудь подходящего, но ничего не увидел и беспомощно развел руками.

— Спасибо, — ответил Хоттабыч. — Пойдем, я покажу.

Он направился в проход между домами. Котик неохотно пошел следом, уже сожалея, что не откупился просто монеткой. Вдруг он сообразил, что его предложение обмыть может звучать странно или даже оскорбительно для мусульманина.

— Извините, — сказал он, — если вы не пьете вина, можно кофе... Или просто деньгами.

Старец, не останавливаясь, склонил голову в благодарственном полупоклоне и начал расспрашивать про то, откуда гость, что он здесь делает, долго ли собирается быть. Котик рассказал про конференцию, про то, что сейчас гостит у друзей. Чуть попетляв между хаотично стоящими домами, они вышли на тихую улицу, где в полуподвальном помещении располагалось то ли кафе, то ли бар с названием вязью и логотипом пепси-колы.

— Здесь! — произнес Хоттабыч и вошел внутрь.

Оглянувшись по сторонам, Котик последовал за ним. Место оказалось на удивление уютным: в густых сумерках в глаза бросалась подсвеченная стеклянная полка с разнообразными бутылками, а в глубине помещения под неярким торшером на мягком диване сидели две девицы, поджав голые ноги. Хоттабыч уселся на высокий табурет перед барной стойкой и махнул Котику. Тот тоже взобрался на неудобную жердочку.

— Что вы обычно пьете в Швеции? — спросил старец и громогласно объявил по-английски: — Это наш гость из Швеции, здесь впервые.

— Водку... — не очень уверенно ответил Котик.

— Тогда водку, — глаза старика блеснули из-под белых бровей.

Барменша, плотная невысокая женщина, выставила перед ними по запотевшей рюмке.

— За удачные покупки! — поднял рюмку Котик.

Хоттабыч в ответ поднял свою и лихо выпил. Котик тоже опрокинул. Водка была холодная, но, видимо, не очень хорошая — немного отдавала сивухой. В голове зашумело.

— Ты мой гость, — торжественно объявил Хоттабыч, — и теперь я тебя угощаю!

— Лучший виски гостю! — обратился он к барменше.

Перед ними появились стаканы, на два пальца наполненные вязкой желтоватой жидкостью. Виски Котик никогда не любил, но не отказываться же. Через силу он выпил теплый и противный алкоголь.

— Спасибо! — сказал он и посмотрел на часы. — Спасибо, я пойду, у меня встреча.

— Подожди, я скоро, — Хоттабыч соскользнул с табурета и ушел вглубь помещения.

Котик стал терпеливо рассматривать бутылки на полке.

— Привет! Так откуда ты, говоришь? — рядом облокотилась на стойку одна из тех девиц, что сидели в углу.

— Из Швеции, но вообще-то я русский.

— О, русский, класс! — девица перешла на русский, говорила она почти без акцента: — За Россию!

На стойке перед ними теперь стояли два бокала шампанского. Девица взяла один бокал и легонько ткнула им в другой, глухо звякнув стеклом.

— Пей! За Россию! — велела она.

Котик выпил кислое шампанское и попытался рассмотреть собеседницу, качавшуюся в тумане поблизости. Странное дело, телом она была совсем девочкой, а на лицо — старуха старухой.

— Тебе сколько лет? — совершенно невежливо спросил он.

— Не бойся, — засмеялась она, — девятнадцать. А тебя как зовут?

— Игорь.

— А я Мария. Развлечемся, Игорь? Не пожалеешь!

Котик тряхнул головой — туман развеялся. Перед ним стояла просто смазливая сильно покрашенная девчонка, чуть прикрытая обтягивающим топилом и слишком короткими шортами-трусами.

— Нет, — решительно ответил он, вставая. — Сколько с меня?

Барменша пощелкала кнопками машинки, та зажужжала и затычным плевком вытолкнула длинную узкую распечатку. Посмотрев на выложенную перед ним бумажку, Котик подскочил — там было что-то около семисот шекелей. Он всмотрелся повнимательнее: водка, два по сорок — ну ладно, фиг с ним, он угощал этого Хоттабыча; дальше шел виски — два по восемьдесят три...

— Вы ошиблись, — вежливо сказал он, — виски не я покупал, это тот джентльмен меня угощал.

— Какой джентльмен? — деланно удивилась барменша. — Вы брали две порции виски, вот стаканы, — она приподняла два пустых стакана.

Котик растерянно посмотрел на девицу, та пожала плечами и подмигнула.

— Ну, джентльмен пожилой, он вон туда пошел, в туалет.

— Не знаю, — барменша отошла в сторону.

Котик всмотрелся в бумажку:

— А это что? Четыреста шекелей!

— Шампанское, — ответила барменша.

Она положила перед ним меню и ткнула пальцем. Котик, с трудом фокусируя взгляд, вчитался: «Вдова Клико», 420 шекелей за бутылку.

— «Вдова Клико»? — выпрямился он.

Барменша поставила перед ним полупустую бутылку, на обшарпанной желтой этикетке которой действительно была написана фамилия знаменитой вдовы.

— Какая бутылка? Там два бокала всего. И вообще, я не знал, что это Клико...

— Вы заказали вдову Клико, я открыла бутылку, надо платить за всю бутылку.

— Я могу допить, — встряла девица Мария. — Там осталось, не пропадать же.

Барменша наполнила оба бокала. Мария медленно тянула прозрачное золото, простроченное струйками мелких пузырьков, из высокого узкого бокала. Котик пить не стал. Он растерянно осмотрелся. Хоттабыча не было, наверняка он давно смылся через запасной выход. У закрытой двери стоял, набычившись и исподлобья глядя на него, коренастый качок с могучими бицепсами. И больше никого. Деваться, похоже, некуда. Он вытащил кошелек и раскрыл его под стойкой бара, загородив плечом от девицы. Там были две крупные купюры, по двести и сто шекелей, и всякая мелочь. Он вытащил кредитную карточку и показал барменше.

— Карточки не принимаем! — покачала она головой.

— У меня только четыреста двадцать шекелей, больше нет, — сказал он и улыбнулся, — только на шампанское.

Барменша о чем-то перемолвилась с качком.

— Давай сюда эти деньги, — велела она, — и сходи к банкомату, Мария покажет. И оставь паспорт в залог.

— У меня нет с собой паспорта, — весело ответил Котик.

— Хорошо, Мария проводит тебя до банкомата, тут рядом, отдай остаток денег ей.

Она протянула ему не очень чистую ладонь. Котик положил туда всю наличку, что была в кошельке, и встал. Его чуть покачивало. Качок посторонился и открыл дверь.

— Направо, — сказала Мария, оказавшаяся рядом с ним на улице.

Котик послушно повернул, куда было сказано. Посмотрев назад, он увидел, что бар наглухо закрыт.

— Слушай, а зачем ты этим занимаешься? — спросил он.

— Вот только не надо на совесть давить, да? — с вызовом ответила девушка.

Они вышли ну улицу побольше. Слева приближался автобус.

— Прыгай в автобус, — резко велела Мария, — через пять остановок будешь в центре. И вали назад в свою Швецию.

— А ты?

— А я скажу, что ты сбежал.

— Я не про то.

— А я про то. Чао!

Она развернулась и быстро пошла назад, а Котик рванул к остановке, куда уже подкатывал автобус.

Шмон

Самолеты из Тель-Авива в Европу летают ночью. Может, не все и не всегда, но тот, на котором должен быть покинуть страну Котик, отправлялся почти в четыре часа утра. На табло были и другие рейсы, вылетающие между тремя и пятью часами. Наверняка это не случайно. Действительно, было бы совсем странно без особой причины доставлять неудобство тысячам, даже миллионам пассажиров, для которых ночь вылетает напроочь. Котик вяло размышлял над этим, борясь одновременно с тяжестью в глазах и шумом в голове.

Накануне он провел вечер в каком-то невероятно шумном ретро-баре, расположенном на старом пирсе, где грохочущие диско-хиты времен их далекой молодости вызывали приступы ностальгии и смутных отрывочных воспоминаний. Разговоров почти не было, зато пили много и разнообразно, из еды же обнаружили только какие-то невразумительные крекеры, да и те быстро исчезли. Ближе к полуночи Котик чувствовал себя не очень уверенно, все время клонило в сон, но лишь в начале первого решился на вызов такси.

Вскоре Котик остался один в полупустом зале. До посадки два часа, спать негде, да и не стоит — лучше загрузиться в самолет и отключиться уже там. И он стал думать, какая причина вынуждает делать столь необычное расписание перелетов. Решил: единственное, что оправдывает такое неудобство, это безопасность. Наверное, легче обеспечивать безопасность полетов, когда любой человек в окрестностях аэропорта в четыре часа утра рассматривается как потенциальная угроза.

Мысли поплыли, а голова начала заваливаться на плечо, когда его окликнули. Котик с трудом открыл глаза — перед ним стояла, сверкая черными и маслянистыми, как у ворона, глазами девушка с идеальной спортивной фигурой, которую не могла скрыть даже коричневая и мешковатая форма. На правом боку висел черный и неожиданно большой пистолет, на другом — наручники. На груди чуть наискосок была табличка, видимо с именем и званием, на нечитаемой вязи.

— Извините... — пробормотал Котик по-английски.

— По-английски говорите? — спросила девушка.

— Да.

— Документы и билет покажите, пожалуйста.

Котик вытащил из нагрудного кармана рубахи продолговатый посадочный талон и протянул девушке.

— Так, Копенгаген... — отметила она. — Паспорт.

Котик открыл рюкзак и запустил в него руку. Там в потайном кармашке, застегнутом на молнию, лежали два паспорта — шведский и российский, оба в кожаных обложках. Он вытащил оба, открыл первый — это оказался российский, затем второй, шведский. Его он протянул девушке, а первый спрятал назад в рюкзак. Она раскрыла паспорт, профессионально цепким взглядом сверила фотографию и прочитала информацию.

— Куда летите? — спросила она.

— Вы же только что смотрели мой посадочный талон. В Копенгаген.

— Я знаю, что вы летите в Копенгаген. С какой целью?

— Домой возвращаюсь.

— Что делали в Израиле?
— Участвовал в научной конференции.
— Где?
— В Иерусалиме.
— На какую тему конференция?
— Физика космоса.
— У вас шведский паспорт. А почему летите в Данию?
— Я живу в Лунде, это час поездом от Копенгагена, а от Стокгольма четыре часа.
— А что еще за документ вы убрали?
— Еще один паспорт.
— Какой?
— Российский.
— Так вы говорите по-русски? — спросила она на добротном русском языке, но с сильным акцентом.
— Говорю, — ответил он, и дальнейший разговор шел уже по-русски.
— Почему вы не показали мне русский паспорт?
— Вы спросили паспорт, я вам дал. В данный момент я являюсь гражданином Швеции, а мои прочие гражданства вас не должны волновать.
Никогда бы Котик не стал грубить официальному лицу при исполнении, но смесь напитков и бессонная ночь понизили порог контроля.
— Вы хотели обмануть меня и скрыть второе гражданство.
— Девушка, — скучно сказал Котик, — у меня два гражданства: шведское и российское. По правилам я являюсь шведом в Швеции и русским в России, а в любой третьей стране, в данном случае в Израиле, имею право выбрать, гражданином какой именно страны я являюсь в данный момент. И в данный момент я являюсь гражданином Швеции, в чем вы и можете убедиться. А второй паспорт совершенно ни при чем.
— Так... вы русский, но это от меня скрыли, а сами по шведскому паспорту летите в Данию... — медленно проговорила она, немигающе смотря на ошалевшего от такой логики героя.

Взгляд ее больше не походил на воронов глаз, маслянистость испарилась, и показалось сдвоенное дуло, готовое выстрелить. Это была машина-убийца в красивом девичьем теле, работающая на простейшей бинарной системе свой-чужой, как в доисторических племенах. Любой, кто не свой, по определению является чужим и подлежит либо физическому уничтожению, либо устранению, то есть просто вышвыриванию за пределы своей территории. Очевидно, не совсем стандартная ситуация с паспортами привела к идентификации Котика в глазах девушки как «не своего», то есть «чужого», а значит врага. Оставалось надеяться, что его судьба все же ограничится устранением, а не уничтожением. Пальцы ее правой руки, без колец, но с аккуратным коротким маникюром, медленно шевелились у бедра, как щупальца медузы, ожидая команды выхватить оружие, а мертвые черные глаза внимательно следили за Котиком, фиксируя точку посередине лба, готовые вогнать туда пол-обоймы. У замужних индийских женщин в этом месте располагается бинди, красная точка, для сохранения энергии шестой чакры. Котику же красная точка, а уж тем более дырка во лбу была не нужна.

— Пройдемте со мной! — жестко сказала она, что-то крикнула в рацию и кивнула головой — туда.

Котик вздохнул, вскинул на спину рюкзак, подхватил свой чемоданчик и пошел в указанном направлении. Стражница тяжело топала на шаг сзади и сбоку, вне зоны видимости.

— Сейчас налево! — повинувшись команде, Котик вошел в ничем не приметную дверь в серой стене и оказался в комнате без окон, ровно залитой искусственным светом. В дальнем углу тихо переговаривались два молодых парня в такой же коричневой форме. У стены стоял длинный металлический стол, а рядом пара стульев.

— Чемодан и рюкзак сюда! — велела девица.

Котик положил вещи на стол.

— Покажите ваш второй паспорт!

Котик достал и протянул ей российский документ.

— Еще паспорта, другие документы есть?

— Паспортов больше нет. Есть водительские права.

Она кивнула. Котик достал из кармана джинсов бумажник и вытащил карточку шведских водительских прав.

— Давайте сюда кошелек!

Котик безропотно дал. Она проверила все отделения, достала, кроме прав, кредитную карточку и не вытащенный перед поездкой абонемент в бассейн. Девушка подозвала одного из парней и передала ему все документы, что-то резко сказав на своем языке. Тот кивнул, с интересом взглянул на Котика, усмехнулся, вроде бы даже подмигнул, и вышел в соседнюю дверь.

— Садитесь! — она указала на один их стульев.

Котик сел. Стул был металлический, очень неудобный и, похоже, прикрепленный к полу. Девушка надела тонкие перчатки и принялась неспешно потрошить Котиково барахло. Она заинтересовалась было бумагами из рюкзака, но поняв, что это распечатки научных статей, отложила стопку в сторону. Вытащила из рюкзака и открыла лаптоп.

— Какой пароль? — спросила она.

— Дайте сюда, — встал Котик.

Охранница жестом усадила его и протянула компьютер. Котик вбил пароль и вернул лаптоп ей. Она немного повозилась там, неумело водя по тачпаду, чтобы Котик не видел экрана, отложила лаптоп в сторону и взялась за чемодан. Особенно тщательно она изучила пакет со скомканным грязным бельем.

— Багаж сдавали? — спросила она.

— Нет. Все с собой, — ответил Котик, елозя на стуле.

— Так, а это что? — на стол лег мешочек с кремами из грязи Мертвого моря.

— Крем. Мертвое море. Из магазина, даже не распечатан. Полностью соответствует этикетке. Там где-то и чек должен быть.

Она повертела тюбики в руках, спокойно сказала:

— Я это конфискую, — и отложила кремы в сторону.

— Как это? — изумился Котик. — Почему?

— Из соображений безопасности.

— Какая безопасность? — он вспомнил, во что ему обошелся этот крем, и начал заводиться: — Какая безопасность? Я знаю требования безопасности к провозу жидкостей: тут четыре тюбика, каждый по сто миллилитров, в прозрачном мешке.

— Это требования авиакомпаний, а у нас своя безопасность, — бесцветным голосом сообщил робот в форме.

— Да вы знаете, сколько это стоит?

— Безопасность дороже.

— Да вы мне просто-напросто мстите, что я засбоил вашу примитивную бинарную систему! — Котик вскочил.

— С-с-сидеть! — прошипела охранница, ее глаза сузились и снова стали живыми, но теперь в них горела искренняя ненависть. С каким наслаждением она бы сделала ему кровавую бинди во лбу, нужен только повод!

Да она просто фанатик — понял Котик и испугался. Он сел на неудобный стул и затих. Фанатичка вытащила из-под стола и стала заполнять какие-то бумаги. Котик сидел молча и пытался успокоиться. Выходить из себя тут явно не следовало.

Дверь отрылась, и вошел тот улыбочивый юноша, что унес Котиковы документы; следом в комнате появился невысокий седоватый мужчина лет пятидесяти, с крепким животиком, нависающим над широким ремнем, и пристальным взглядом неожиданно голубых глаз, поблескивающих веселым интересом. Документы были у него в руках. Он что-то раскатисто сказал фанатичке, она недовольно буркнула и отошла от стола, заваленного скомканными вещами. Они быстро вполголоса переговорили, и девица вышла, не удосужив Котика и мимолетным взглядом. Затем «старшой», как его назвал про себя Котик, протянул ему документы:

— Все в порядке, можете собирать свои вещи и идти.

Котик быстро пролистнул паспорта, покрутил карточки — вроде все было в порядке, и стал распахивать все это по нужным местам. Затем без особого порядка покидал в чемодан разбросанные вещи и потянулся за пакетом с

кремами, отложенным в дальний конец стола вместе с заполненными бумагами.

— Извините, нет, — остановил его «старшой». — Это конфисковано.

Его тяжеловатые щеки обвисли, напоминая бульдожью морду, но взгляд казался дружелюбным.

— Но вы же сами сказали, что все проверили, все в порядке. Значит, и крем в порядке, опасности не представляет.

— Документы у вас действительно в порядке, — заскучал тот, — но сотрудник безопасности счел эти предметы потенциально представляющими опасность и принял решение изъять их. Это решение не обсуждается.

— Но вы же видите, она просто мстит мне, я ей немного... мм... невежливо ответил, о чем сожалею. Документы у меня действительно в порядке, придтаться не получится, а тут можно запросто изъять крем, которых бешеных денег стоит, я же для мамы на заказ везу.

— Я сожалею, — эхом откликнулся бульдог, — но эти предметы конфискованы. Если хотите, я вам выдам протокол об изъятии.

— Зачем? — не понял Котик.

— Чтобы вы могли доказать, что предмет у вас был, но был конфискован службой безопасности аэропорта.

— Вы что, думаете, моей маме справка нужна вместо крема? Что мама и жена мне не поверят, когда я им расскажу про то, что здесь творится?

«Старшой» пожал плечами:

— Как хотите. Решение принято, предметы будут уничтожены, обсуждению не подлежит.

— Конечно, не подлежит, — распаялся от идиотизма ситуации Котик. — А то вам пришлось бы признать некомпетентность своих сотрудников.

Отвисшие щеки и живот втянулись, плечи под формой расправились, растянув грудь, глаза блеснули. Впрочем, уже через три секунды бульдог принял свою обычную форму: все-таки это был матерый боец, а не фанатичная девица — и негромко, но твердо сказал, даже скомандовал:

— Быстро собирайте свои вещи и идите, ваш самолет уже скоро. Хотите жаловаться — жалуйтесь. Можно через интернет, там есть форма заполнить. И постарайтесь больше нам не попадаться.

— Да уж не сомневайтесь, — невнятно бурчал себе под нос Котик, застегивая чемодан, — не попадусь. Я к вам больше вообще никогда больше не приеду!

Старшой проводил его до двери и выпустил в уже многолюдный коридор.

— Безопасного вам полета! — услышал Котик и обернулся посмотреть, издевается ли охранник или серьезно, но серая дверь захлопнулась.

Возвращение

Полупустой салон аэробуса был заполнен неоднородно, в хвосте было многолюдно и шумно, оттуда раздавались смех и нетрезвые крики возвращающихся домой скандинавов, но в центре, вокруг Котика, было много свободных мест. Он откинулся, насколько это было возможно при поднятой спинке и пристегнутом ремне, в жестком кресле, вытянул одну ногу в проход, другую поджал и закрыл глаза. Голова его тут же свалилась на плечо. Не открывая глаз, он отогнул «ушки» подголовника, чтобы фиксировали голову, и обмяк. Когда самолет, подрагивая и гудя, оторвался от неровной полосы и резко пошел вверх с опорой на широко размахнутые крылья, тело Котика ожило, он собрался и открыл глаза. За окном огни города завалились вбок и встали дыбом, в другом окне, куда Котик бросил быстрый взгляд, висела желтоватая луна — ночной аэробус с сотней пассажиров лег в плавный разворот. В торце коридора на откидном кресле сидела основательно пристегнутая стюардесса, чинно сложив руки на сведенных коленях и строго глядя перед собой вдоль салона. Из хвоста слышался смех, где-то заплакал ребенок. Самолет с усилием карабкался вверх. На душе у Котика было беспокойно, как будто он забыл что-то важное. Вскоре тон гула понизился, набор высоты прекратился или стал

незаметен, со своего места у прохода Котик не мог видеть огней внизу и оценить высоту полета. Погасло табло «пристегнуть ремни», стюардесса сама себе улыбнулась и встала, поправив черную юбку. К ней подошла другая, они задернули занавеску и стали суетиться по хозяйству.

И тут Котик наконец-то ощутил спокойствие и понял, как он устал. Земля Обетованная оказалась заполнена чувством опасности, настоявшемся за века и тысячелетия. В этих местах всегда было опасно — здесь творилась история. Как там живут люди? Это чувство пронизывает насквозь и проявляется везде, в цепких взглядах охранников, в черных автоматах на плечах резервистов в автобусе, в ненависти, вместо любви, в глазах вооруженных девушек. Та девица почувствовала опасность в его паспортах и безобидных кремах — и пусть она ошиблась, и опасность была ложной, но теперь Котик понял ее. И он тоже бессознательно поддался этой волне, настроился на нее и ежесекундно был собран, готов к отражению неизвестной угрозы, как в фильме «Сталкер» — вроде ничего не происходит, а тревога не отпускает. И только тут, на круизной высоте в самолете, летящем в ночи на север, его отпустило: опасности больше нет, он уже почти в спокойной Скандинавии, и даже переносная зенитная ракета, если такая и найдется вдруг у гипотетических террористов, сюда не достанет. Спать уже не хотелось, и он принялся листать каталог товаров для продажи, торчащий из кармашка сиденья. С подошедшей стюардессой Котик попробовал заговорить на своем ломаном шведском, и она, искренне и весело улыбаясь его жалким потугам, поняла его правильно и налила кофе и поставила на откинутый столик крошечную бутылочку коньяка «Рено».

— Может, еще? — спросила она, снова улыбнувшись.

Котик согласно кивнул и вылил содержимое первой бутылочки в пластиковый стакан. Надо же, как улыбка красит женщину, думал он, отпуская мысли, закрученные первым глотком, в свободный полет. Насколько это

бесцветная, но улыбочивая стюардесса симпатичнее той охранницы в аэропорту с идеальной фигурой.

Спать уже не хотелось, высвобожденные мысли скакали во все стороны. Он вытащил компьютер, разложил на столике и, понюхав пустой уже стаканчик, погрузился в вычитку рецензии.

Аэропорт Копенгагена был многолюден — в утренние часы отправляется много рейсов. Котик, чуть покачиваясь и упершись взглядом в пол перед собой, медленно шел вдоль стены, а мимо двигались люди. Даже те пассажиры, кто спешил и быстрым шагом проскальзывал навстречу, делали это без суеты, спокойно. Вдруг брови Котика вздыбились, а глаза удивленно округлились: он заметил, что пол был деревянный, паркетный. В аэропорту паркетный пол! Непрактично, но здорово. Он поднял голову и осмотрелся. Ни одного человека с оружием или просто в военной форме не было в поле зрения. Ни одного! В Израиле всегда рядом были вооруженные люди с внимательными взглядами. Он глубоко вздохнул, зашел в туалет, сполоснул лицо холодной водой, радостно фыркнул, вытерся и, свежий, с прямыми плечами, бодро отправился к выходу. На железнодорожной станции, состыкованной с аэропортом, он посмотрел расписание: поезд на Лунд, где он жил, отправлялся через двадцать пять минут, а до центра Копенгагена — через семь минут.

Десять минут поездки в современном полупустом вагоне скорее даже трамвая, чем нормального поезда, и он оказался на Центральном вокзале Копенгагена. Датских крон в кармане не было, поэтому он совершил небольшую многоходовку: в банкомате с карточки снял самую мелкую банкноту в 50 крон, купил на нее мороженое, получил на сдачу кучку мелочи и направился в камеру хранения. Там впихнул свой багаж, чемоданчик с рюкзаком, в ячейку, кинул девятикрановую монетку, захлопнул дверцу и, положив в карман крупный ключ с биркой, направился к выходу, покусывая на ходу размякшую по краю вафельную трубочку.

После сумрака помещения открытая площадь показалась ослепительно яркой. Низкое, еще утреннее солнце выглядывало сзади, поверх правого плеча и здания вокзала, подогревая тыльную сторону правого уха. Приземистое строение красного кирпича, клешней охватившее небольшую площадь, казалось черным и походило на тюрьму, особенно зарешеченные окна на втором этаже. За хаотично забитой велосипедной парковкой зиял большой провал, где на уровне подземелья скрещивалось несколько железнодорожных путей, уходивших в темноту. Никакого плана у Котика не было: так, побродить бесцельно пару часиков по старому городу, впитать нордический дух, а потом уж ехать домой. Хотя нет, один пункт в отсутствующем плане все-таки был: найти приличный кофе и какую-нибудь плюшку — в Дании отличные булочки. Оставшейся мелочи как раз должно было хватить, хоть и впритык.

«Направо или налево?» — думал Котик, куда повернуть, а сам медленно шел прямо, облизывая уже потекшее мороженое.

Повернул он направо и пошел вдоль ряда велосипедов, подумывая, какую бы плюшку слопать — в животе начинал ворочаться голодный червяк. Неподалеку что-то происходило, непонятная возня, неуместная здесь, в центре города в тихий утренний час. Там были одна или две женщины... нет, все-таки одна, она сидела прямо на земле, и какой-то мужчина склонился к ней, закрыв ее своей широкой спиной. Котик медленно двинулся к ним. Мужчина чуть сместился в сторону, и женщина стала видна — она сидела на подогнутой ноге и вытянула другую. Футболка болотного цвета, туго обтягивающая объемный торс, была обильно испачкана чем-то темным — кровью, что ли? Лица не было видно. Видимо, с ней что-то случилось, и мужчина пытался ей помочь. Котик пошел побыстрее, внимательно всматриваясь. Его смущал языковой барьер, он ведь не говорил по-датски, но уж как-нибудь сумеет помочь, если что. Или хотя бы в «скорую» позвонить — он потащил из кармана телефон. Мужчина

снова сместился, и показалось лицо женщины — бледное и отрешенное. И тут вдруг — он даже встряхнул головой, чтобы согнать наваждение — Котик увидел, что мужчина, стоящий на корточках боком к нему, схватил женщину за волосы и отогнул ее голову назад. В другой его руке был нож, большой, с черным широким лезвием. «Да он же ей горло перережет!» — прошибло Котика.

— Эй! — закричал он по-английски. — Что тут происходит?

Мужчина бросил женщину, которая стала заваливаться набок, и распрямился, повернувшись наконец-то лицом. Это был не скандинав, и вообще не европеец: смуглый, даже темный, с небольшой ухоженной бородкой, бесформенно одетый, он был арабом или африканцем, молодым, лет двадцать, может, чуть больше — не поймешь. Глаз на лице не было, на их месте зияли черные провалы. Глаза, конечно, были на месте, но невероятно расширенные, как у кота на охоте — черные зрачки казались бездонными дырами.

Котик остановился. Краем глаза он заметил, что к ним бегут несколько человек, один из них в черной форме, и облегченно вздохнул. И тут включилось отсутствующее ранее звуковое сопровождение — по ушам резанул высокий женский визг, раздались мужские крики, что-то лязгнуло. Бородач поднял голову к небу и громко, неожиданно приятным голосом, прокричал, а может, пропел, дергая острым кадыком, то ли боевой клич, то ли короткую молитву, а затем, прижав бородку к груди, пошел прямо на Котика, оставив руку с ножом. Котик едва смог оторваться от его безумных глаз, в которых смешались одновременно ужас и жестокость. Он глянул вбок — тот, в черной форме, остановился в десяти шагах от них. Это был не полицейский и не охранник, а железнодорожник. На таком же безопасном расстоянии стояло еще несколько человек, включая парочку вполне боеспособных мужчин среднего возраста. Котик сфокусировался на ноже и почему-то вспомнил фильм «Джентльмены удачи», где неуклюжий директор детского садика ударом короткой ноги

выбил нож у матерого бандита. Котик всегда подозревал, что это совершенно не реалистично, но сейчас понял, что это просто невозможно. Бородач сделал еще несколько шагов, Котик отступал, стараясь не смотреть в его разверстые глаза.

— Ну, давайте, ребята, подходите! — бормотал про себя Котик. — Отвлеките его, я вцеплюсь ему в руку, и сразу навалитесь. Ну же!

Но зрители сохраняли безопасную дистанцию. Бородач сделал выпад, махнув рукой, но не достал — лезвие взрезало воздух далеко от груди Котика. Кто-то из зрителей подошел к лежащей женщине. Скользя взглядом по лицу бородача, Котик изумился: в черных зрачках горела только ненависть и жажда убийства, такая же беспросветная ненависть, как у той девицы в аэропорту имени Бен-Гуриона. Как давно это было, восемь часов назад...

Тот, кто подошел к лежащей женщине, что-то закричал. Бородач недовольно перекопился и стал поворачиваться назад. «Сейчас!» — решил Котик и, вместо того, чтобы убежать, вдруг кинулся вперед, вытянув руки, чтобы схватить правую кисть бородача, но ничего не поймал. Тот крутнулся, оказавшись к Котику левым боком. Прямо перед лицом мелькнула смуглая кисть, и Котик, уже падая, вцепился в нее обеими руками. Всмотревшись, он с ужасом понял, что ножа в этой кисти не было. И тут же что-то мягко ткнулось в его бок. Там стало щекотно, очень хотелось почесать, но Котик мертво держался за схваченную кисть, все увеличивающейся тяжестью таща ее вниз. Кисть вниз не хотела, и он повис на ней, переворачиваясь на спину. Потом толчок, и Котик упал, ударившись затылком о камень мостовой, что-то тяжелое свалилось на него, а потом еще... Зрители наконец-то догадались налететь на бородача и сбить его с ног, и теперь Котик оказался в самом низу кучи малы. Где-то совсем рядом взывала сирена, да не одна, а сразу несколько, слышались крики и хлопанье автомобильных дверей. Тогда он наконец-то отпустил уже не сопротивляющуюся кисть и сквозь просвет между чьими-то плечами и ногами увидел в белесом небе небольшое

белое облако, похожее на улыбающегося бегемотика. Он весело летел, меняя очертания, и превратился уже в слона, но улыбка осталась.

Кто-то встряхнул Котика за плечо и спросил что-то непонятное. Котик отрицательно покачал головой, виновато улыбнулся и снова посмотрел в небо.

Облако пропало.

Жорина судьба

«... Этот период называют днями трепета и раскаяния. Они дают каждому человеку возможность улучшить свою судьбу...».

«Хорошей записи в Книге Судеб! Сегодня после захода солнца начинается Йом Кипур (Судный день). Это единственный день в году, когда Тора предписывает человеку не заниматься ничем, кроме анализа своих поступков и помыслов..»

Жора Локшин работал в малотиражной израильской русскоязычной газетенке и трудился над написанием статьи о Судном дне.

Анализ? Ммдаа... Он не раз вспоминал события трехлетней давности и пытался переосмыслить эти самые «поступки и помыслы».

Но если честно — неохота. Да и к чему этот анализ?

Одно было ему ясно — тогда мало кто всерьёз планировал изменить ход жизни и повлиять на судьбу. Наверное, были и такие. Но не он. Казалось, все вяло брели в одном направлении по едва освещённому туннелю жизни, где от обычного человека почти ничего не зависело, и поэтому о возможности крутых поворотов судьбы люди не задумывались, не дай бог.

Правда, у нас в Специальном конструкторском бюро был один — низкорослый, с ранним «внутренним заемом» на голове. Хиромант. Водил девушкам пальцем по ладоням и предсказывал судьбу. Девушки заливались от смеха, услышав слово «хи-ро-мантия». С хиромантом этим Локшин часто курил, и тот ему тоже гадал, но Жора в предначертания судеб не верил ни капельку - улыбался и хмыкал.

Родился Жора, когда отец вернулся из сталинских лагерей. Голубоглазый военврач, чудом уцелевший в плену

— он был необрезанным евреем — успел только застать рождение детей-погодков и умер от перенесённого в лагере ревмокардита.

Мама, школьная учительница, и экономная бабушка вырастили-выучили. Советский пионер-комсомолец-студент, он рос себе без особых коллизий, и ничего не предвещало, как говорится, глобальных изменений. «Где родился — там и пригодился», — учила бабушка. А когда передавали песню про перелетных птиц — «...не нужен нам берег турецкий, и Африка нам не нужна» — делала погромче.

А после окончания института он впервые вплотную столкнулся с проблемой «пятого пункта»: место работы для него нашлось только через полгода и то с большим трудом — на поиски были мобилизованы все родственники, знакомые и материны бывшие ученики.

Как только Жора начал работать в СКБ «Геология», его, как водится, отправили в колхоз. Боевое крещение, что называется. Там выдали под расписку ведро для сбора картошки, новенькое оцинкованное, но с пробитыми дырами в днище — чтобы не сперли. Собирали руками, без рукавиц. Выполнить норму Жорику никак не удавалось — был он близорук, а очки не носил, полагая, что они отпугивают девушек. Худосочный, подслеповатый Жора, пытался синеватыми пальцами ухватить хотя бы пару картошин за раз, ведро постоянно падало, на подошвы налипали горы бурой земли, мухи садились на потное лицо...

В столовке, куда Жорик зашел последним, командировочные инженеры уже покуривали и ухмылялись, набив животы картохой с бурой подливкой, мясом неизвестного происхождения и молоком. Нехилое сочетание — недаром потом ночью было не продохнуть от результатов пищеварительных процессов молодых городских организмов.

Смертельно усталый Жора вяло оглядел помещение, плеснул из бидона в алюминиевую кружку немного молока и собрался уходить. До дома, где их расселили, ходу минут

пятнадцать, надо бы поторопиться, чтобы занять приличное место на полу. Где-нибудь у стенки, ближе к печке.

В темно-синей сельской тишине заохал филин. И вдруг его пронзило неожиданное: так будет всегда — темень да безнадега... В носу застрял тошнотворный запах поливы. Ведро с дырками впечаталось в сознание — блистало своим ледяным светом где-то в области третьего глаза. Ботинки неаппетитно чавкали с каждым шагом: колхоз-командировка-демонстрация-пятый пункт-дружинники-110 рублей-колхоз-комсомольские собрания-командировка-соцсоревнование-120 рублей-пятый пункт-колхоз...

Кто-то тронул за плечо — он в ужасе отскочил прямо в лужу!

«Саша», — протянул ему руку высокий черноволосый парень. В кромешной темноте кое-как добрались до дома. У Саши была там «заначка». Два молодых специалиста сели во дворе, и как-то хорошо пошло — заначку прикончили и проболтали до утра. А когда новый приятель узнал, что Георгий Локшин еврей, загрустил: «Ну ты даёшь, парень... Да если б я был евреем, я бы назавтра смылся из этой страны». И долго рассказывал, почему.

Странно, но Сашу он больше не встречал, однако разговоры эти вспоминал постоянно, и решил «углубиться» в свои корни. Хиромант опять что-то гадал-нашептывал — на этот раз Жора прислушался: «линия жизни резко меняет направление... слишком резко». А потом закрутилось — кружок иврита, соответствующая компания ребят и, главное, девушек. В ноябре 76-го он собрал почти все документы для ОВИРа. Мама без истерик все подписала и сказала, что они все тоже будут готовиться к отъезду, она и сестра с мужем — вот только племянница чуток подрастёт.

Оставалась всего одна бумажка — характеристика с места работы. Жорик шутил: «Ну типа, хороший я работник, поэтому мне разрешено покинуть родину, и я достоин поселиться в Израиле».

Начальник отдела категорически отказывался разговаривать, тетка в отделе кадров делала вид, что глухонемая. Жорик был первым отъезжантом в нашем СКБ, и никто не знал, что делать. Дашь хорошую характеристику — скажут, зачем такого специалиста отпускаете. Дашь плохую — не выпустят, и застрянет он тут у нас, проблем не оберёшься потом.

С тех пор, как Жорик впервые явился за бумажкой, прошло полтора месяца. Смотрели на него косо, обходили стороной, и упорно ее не выдавали. Тем временем пришла повестка в военкомат, через знакомых выяснили, что хотят послать его на БАМ, ведь у него в институте была военная кафедра. Это мог быть полный облом — два года, а потом секретность и отказ. Тогда Жора взялся за учебники по психиатрии, которые остались от отца-военврача, изучил симптомы шизофрении, потренировался на родственниках, и записался к психиатру. В кабинете вкусно пахло колбасой — доктор Глейзер только что развернул бутерброд со своей любимой, кровяной, а тут этот пациент. «Неплохо изображаете, молодой человек. Только голову мне — не морочьте». Жора не ожидал такого удара — голова его резко упала на стол, он обхватил ее руками и тихо заснул, раскачиваясь взад-вперёд, как на еврейской молитве, и мерно постукивая головой по столу.

«Маниакально-депрессивный психоз», — записал психиатр: очень уж хотелось спокойно поесть.

И теперь, когда главная угроза миновала, Жора стал ходить на приём к директору каждую пятницу, рассчитывая что перед выходным днём начальник расслабится и потеряет бдительность.

Секретарша Таня появлялась ровно в восемь тридцать. До начала рабочего дня она как раз успевала стянуть сапоги и рейтузы, обуть югославские туфли с перепонками и накинуть на плечи шотландский мохеровый шарф — самый что ни на есть настоящий, из «Березки». Ох уж эта утренняя гонка! Да ещё комсомольский патруль у дверей, стоят буквально с хронометром, ехидно улыбаются,

радуются улову опаздывающих. Борьба за эффективность производства.

Сегодня пятница — этот придурок опять здесь. В своей идиотской тубетейке. Совсем зелёный, только после института, не работал ещё толком, а голова уже забита черт знает чем. И как это отдел кадров его пропустил?! Знали ведь, что еврей, но уж больно нужны были молодые специалисты. Чтоб неженатые, без семьи, чтоб в командировку или в колхоз можно было надолго отправить. Теперь вот Борис Михайлович и мучается с этим Жориком — надо все-таки в корень смотреть.

Обычно Жора был первым посетителем — проходил в приемную и сидел там часа полтора, пока не раздавался гнусавый голос секретарши: «Борис Михайлович никого не принимает».

А сегодня было у него предчувствие, что все получится. Он сел на краешек кожаного дивана в приемной и уставился на портрет Брежнева. Было солнечно, как часто бывает в начале января, поблескивали оконные стекла, и настроение улучшалось. Неожиданно обе створки двери распахнулись, в приемную вошёл с громогласным приветствием элегантно одетый мужчина и бодрым шагом направился прямо к директору. По пути он одарил Таню белозубой улыбкой, она кокетливо прикрыла ярко-голубые веки, поправила парик и ответила бонвивану что-то мурлыкающее. Довольный собой, посетитель на секунду замедлил шаг — заметил Жору Локшина. В этот момент парень как раз поправлял кипу, которую все принимали за тубетейку.

«Барис Михалыч, дорогой! Категорически приветствую! Как жизнь, как любовь? А что это у тебя за парень в приёмной, — понизив тон, обратился к директору посетитель, — который раз я его у тебя по пятницам вижу?» Петр Наумович Гольдберг был здесь своим человеком. «В таком виде ему бы сидеть где-нибудь в ешиве, отпусти ты его на все четыре стороны. На кой он тебе сдался! Пусть комсомольцы осудят его на собрании, и хрен с ним». «Ни за

что!», — взвизгнул директор. «Пусть помучается. Подонок! В Израиль ему, видишь, захотелось. Хотелка выросла!»

Он принялся с яростью перелистывать еженедельник - из середины выпала фотография сына. «Наши дети тут живут - и ничего же, живут, как все! Жалко, в армию его не взяли, там бы ему показали его Израиль,— смущенно пробурчал директор. После этой тирады жизнерадостный Пётр Наумович немного сгорбился и заметно погрузтел. Он не был готов к таким манифестациям директора — приятель-то приятель, но до такой степени откровенности они никогда не доходили. Слава богу, никто ещё не знает, что его единственная дочка Леночка тоже в подаче — ждёт визу на ПМЖ. Ошалели они все, молокососы. Ленка вон и с Юрой своим для этого развод оформила, у Юры-то — допуск.

Эта первая январская суббота была особенно холодной — 29 градусов. Жэковские трубы полопались, батареи, конечно отключили, мама Жоры ходила по дому в меховой шапке, а с племянницы не снимали зимний комбинезон.

Борис Михайлович Биргер, директор СКБ «Геология», проснулся очень рано, причём, в крайне дурном расположении духа. Первое, о чем он вспомнил, был тот гаденыш, что просиживал у него в приёмной и просился в Израиль. Жизнь у Бориса Михайловича как раз в это время налаживалась: сына-балбеса в институт устроил же все-таки, дачу утеплили, с парткомом — отношения лучше не бывает. А недавно его организация и он лично получили медаль за участие в разработке лунохода — это тебе не фунт изюма. И вот, нате — этот тип! Вчера уже по поводу него звонили из ... оттуда, короче. При мысли о возможных последствиях сильно скрутило живот. Взгляд остановился на обледенелой оконной раме: господи, холодина-то какая! Что там на даче-то?! С трубами-то, наверное, беда!

Директор натянул олимпийский спортивный костюм, жену не будил, мол, быстро обернусь. Новенький красный жигуль в гараже у дома завёлся относительно быстро, дороги были уже кое-как расчищены, и он погнался.

Но почему-то обида на судьбу в виде этого хлипкого очкастого мерзавца не отступала — она застыла остроконечным кристаллом в области носоглотки. Волна раздражения нарастала с угрожающей силой, он пытался с ней справиться — набирал воздух пористым сизоватым носом, но выдохнуть не мог, только изредка пыхтел, от чего вздулись шейные вены и совсем запотели очки. Он даже не осознал, как чёрное облако гнева превратилась в огромное бревно, летевшее на огромной скорости напрямиком в лобовое стекло...

Грузовик, обогнавший жигули Бориса Михайловича, даже не заметил «потери бойца», то есть бревна, и погнал дальше по просторам обледеневшего Подмосковья.

Когда завывали сирены милиции и скорой помощи, красный автомобиль, или скорее то, что от него осталось, уже занесло толстым слоем снега — метель разыгралась не на шутку.

Похороны директора состоялись уже в понедельник, место на Востряковском кладбище было семейное, так что обошлось без проблем. Похоронили Бориса Михайловича рядом с дедом. Снесенную голову пришили кое-как, а швы забинтовали и закрыли белой водолазкой. Тетки из бухгалтерии умилялись, как красиво он лежит, но никто не решался прикоснуться к телу.

Через полгода, когда все высохло и земля окончательно осела, поставили памятник с надписью на древнееврейском — чёрными таинственными буквами, похожими на фрагмент бордюра могильной ограды. Надпись же на русском звучала горестно, но неоднозначно: «Боря, как рано ты ушёл» — жена улыбнулась.

А в это время Жорик со счастливой улыбкой уже прогуливался по иерусалимскому рынку в поисках помятых, выброшенных горластыми зеленщиками, но ещё годных для поедания, помидоров. Он был одиночкой, и выданного пособия категорически не хватало на жизнь. В ульпане “Эцион” он пытался учить иврит и пил водку “Голд” по пять шекелей бутылка, а потом быстро завёл роман с той самой

Леночкой Гольдберг — она так и не дождалась своего Юру, знать не судьба.

Выпив и повеселев, Жора любил в подробностях рассказывать свою историю исхода. В финале он театрально повышал голос: «Хиромант-то был прав — резкий поворот судьбы! Резче не бывает! После похорон, на следующий же день, испуганная секретарша сунула мне нужную бумажку. Оказалось, Борис Михалыч, царство ему небесное, заготовил ее в ту пятницу — она лежала под стеклом. Святой человек! Ну чего ж так надо было упираться-то?! Во судьба!».

С той любопытной истории про Жорин отъезд началась череда других мистических и судьбоносных событий с его участием. Все они происходили на наших глазах и заканчивались чудесами, объяснимыми разве что предначертаниями свыше.

Последнее случилась как раз в канун Судного Дня — после неё Локшин окончательно преобразился, начал соблюдать заповеди и переехал в религиозное поселение.

«... и вот во сне — хотите верьте, хотите нет — говорит мне кто-то: завтра утром у командира на столе увидишь распоряжение о досрочной демобилизации. Но при условии, что с этого дня будешь всегда носить кипу. И точно! Теперь я — тут, а остальных переводят в Цидон», — радовался счастливый Жорик, вернувшись из армии. Вот ведь сказочник, думали мы.

А через неделю в новостях показали, как в Цидоне взлетело в воздух здание, где располагалась его часть — взорвались газовые баллоны. Выжили только двое.

Время в тиши

Конец света я решил встретить в Тель-Авиве: захотелось в последний раз увидеть море. Вечером заказал в интернете билет на утренний автобус из Иерусалима. Затем связался с дочерью, которая уже давно живет с внуками на Венере, попрощался. В полночь лег спать. Луна за окном горела желтым лихорадочным блеском. Она напоминала светлячка, угодившего в паутину ночи. Невидимый глазу паук подбирается к ней, чтобы сожрать.

Заснуть я не смог. Около пяти утра с трудом встал с кровати — болела спина. Побрился, надушился и надел свой лучший костюм. В прошлый раз я надевал его на своих поэтических чтениях в Нью-Йорке. Позавтракал яичницей с тостами, собрал рюкзак. Кроме бутылки воды, теплого свитера на вечер и пары бутербродов, убрал в него блокнот и ручку — по пути в Тель-Авив собрался написать какой-нибудь стих по случаю.

Беспилотный автобус подали в восемь утра. В нем разместились дюжина таких же развалин. Едва мы отъехали от центра Иерусалима, как я вытащил записную книжку. Заглавие стихотворения возникло в голове еще сегодня ночью: «Время в тиши». Написав его, я попытался изобрести первую строчку, но вскоре уставился в окно, увлекся пролетающим мимо пейзажем и забылся.

Пройдет каких-то четырнадцать часов, и Земли не станет, думал я, глядя на пенящиеся зеленым цветом холмы. Земля. Десять лет назад тебя превратили в планету престарелых: жить здесь остались лишь старики, чьи дети или родственники не смогли забрать их с собой на другие планеты. Лично мне дочь предлагала поселиться в ее доме на Венере, но я отказался. Сказал, что слишком привязан к земным вещам: лесу, горам, морю. Она не настаивала.

Дорога в Тель-Авив пролетела быстро. Я запросил остановку в районе Неве-Цедек и вышел из автобуса.

Стихотворение мое так и осталось ненаписанным. «Может быть, завтра», — усмехнулся я.

Около получаса бродил по улицам, где выросла моя жена Авигаиль, и не встретил ни одного живого человека. Дома заколочены, кафе и рестораны закрыты. Весь обслуживающий персонал — уборщиков, продавцов, официантов, медсестер и т. д. — эвакуировали с Земли еще вчера. Беспомощные, тяжелобольные старики в одиночестве дожидались конца на больничных койках. Говорят, им обеспечили достаточное количество болеутоляющих. Тем же, кто мог о себе позаботиться, позволили умереть, как вздумается.

Пляж, к которому я, вышел через улицу Рава Кука, оказался куда многолюднее. На фоне грозового неба то здесь, то там сидели в шезлонгах пожилые мужчины и женщины — тоже нарядно одетые. Осмотревшись, я последовал их примеру и занял свободный шезлонг у самой кромки воды.

Конечно, Двора, моя дочь, приглашала меня к себе только из вежливости. Она до сих пор не может простить мне смерть матери.

Авигаиль заболела в год, когда стало известно о надвигающемся астероиде. Все началось с того, что мартовским вечером жена вернулась домой с прогулки, выключила телевизионную программу, которую я смотрел, и резко объявила: «Шимон, я родила ребенка». Ей было 82 года. Как это понимать, я не знал.

На следующее утро Авигаиль повезла меня в Тель-Авив, ничего не объясняя. Добравшись до пляжа, она сняла сандалии, зашла по колени в воду и обернулась ко мне со словами: «Вот он, мой сын». Потом она сложила руки так, будто укачивает младенца и вдруг стала укачивать море. Моя жена пела воде колыбельные, гладила волны по белокурым гривам. Говорила, что ее дитя страдает, что только она может его утешить.

Врачи хотели упрятать Авигаиль в психушку, но я не позволил. Она осталась на моем попечении. В дни, когда жене становилось особенно плохо, я, несмотря на запрет

докторов, возил ее к морю. Смотрел, как она качала и баюкала своего младенца. «Тише, малыш, тише. Я не дам этому пауку обидеть тебя», — порой говорила она.

Как-то в январе, мы снова приехали на побережье Тель-Авива. Я взял с Авигаль обещание не заходить в холодную воду. Через час она отправила меня за кофе. Когда я вернулся с двумя стаканчиками, жена стояла по пояс в воде. Дело закончилось воспалением легких. Через три недели Авигаль умерла.

С тех пор я ни разу здесь не был. И вот теперь сижу с закрытыми глазами и слушаю монотонный грохот волн. Мне кажется, что сквозь него прорывается детский крик. Испуганный крик ребенка, оставшегося один на один с пауком в полной темноте.

Конец войны

Весь день 13 октября 1918 года Франц, служащий страховой компании, чувствовал недомогание. Боль в голове и озноб мешали работать над бумагами. Преодолевая неловкость, клерк подошел к начальнику и, к своей радости, получил от него разрешение закончить пораньше. Добравшись до своей комнаты в квартире родителей на Староместской площади, он разделся и, не ужиная, лег спать. На следующее утро встать с постели Франц уже не смог.

Мать и младшая сестра поили его чаем с лимоном и теплым молоком, давали лекарства от жара, но ничего не помогало. Францу с каждым часом становилось хуже. Вопреки раздражению отца, считавшего, что у сына приступ лентяйничества, вызвали врача. Тот смог навестить пациента лишь на рассвете следующего дня. Быстро осмотрев худого мужчину, чье лицо приобрело болезненно синий цвет, и послушав его легкие, доктор сказал:

- Испанский грипп. За ночь в Праге я осмотрел с десяток таких. Больницы переполнены, найти для него койку нет

никакой возможности. Пусть лечится дома, сейчас выпишу лекарства.

- Подождите, доктор! — мать Франца кинулась к врачу за разъяснениями, но лекарь, бросив бумажку с рецептами на стол, быстро спускался по лестнице. Хлопнула дверь. Сестра Франца, сидевшая у постели больного, вздрогнула.

- Говорят, эта чума жуть какая заразная, — произнесла она.

Вечером Франц начал задыхаться. Он чувствовал, как его кости, кожа и легкие усыхают от жара. В тоже время внимание родных, в котором смешались забота и неприязнь, угнетало. Он притворился, что чувствует себя лучше, и попросил мать и сестру не оставаться с ним на ночь, а прийти проведать утром. Женщины, переглянувшись, ушли.

Ночью Франц лежал в бреду. Ему казалось, что сатана стоял у края его кровати, и, положив когтистую лапу ему на грудь, говорил:

- Ни разу в жизни ты не пускал меня к себе, Франц. Какие бы ужасы не наводил я на тебя, твое сердце было закрытым для зла. И вот наступил мой час, когда у тебя не осталось сил сопротивляться. Еще чуть-чуть, и ты почувствуешь легкость в сердце, ведь жизнь без зла невыносима... Молчишь? Слава, женщины, любовь отца — знаю, как сладостно ты желаешь всего этого. Так дай же погостить у тебя под ребрами, дай разделить твою ношу!

- Разве ты не знаешь, сатана, — сказал в ответ Франц, — зло — это все, что отвлекает. Позволь же мне и дальше познавать свою боль.

Сатана убрал лапу, и Франц открыл глаза. Дышал он тяжело, сбивчиво. Стены надвигались на него. Издерганное тело обратилось против своего хозяина и исторгало. И вдруг Францу стало стыдно за свою болезнь. С этим чувством стыда перед Всевышним он провалился в глубокий сон.

Франц проболел без малого месяц. За то время, пока он не покидал пределы своей комнаты, завершилась Первая

мировая война, распалась Австро-Венгерская империя, а Прага стала столицей Чехословакии.

Звонок

Слышать в голове телефонные гудки я начал после того, как пнул сапогом в живот старуху на митинге в Питере. Эта карга мешала затащить в автозак очередного студентика. Ну, я ее и привел в чувство. Шума-то в новостях наделала, мразь конченная.

А наутро проснулся и отчетливо слышу длинные гудки. Прямо гул такой в ушах: тууууу, пауза. И снова — туууууу, туууууу. Взял с тумбочки сотовый — выключен. Встал с кровати тихонько, чтобы жену не разбудить, проверил домашний телефон — вдруг трубку забыли повесить, но нет — трубка на месте.

«Стресс, наверное», — решил я и вспомнил, что еще накануне, когда в разгар акции бил электрошокером какого-то панка, почувствовал жуткую усталость. И вот результат! Ладно, думаю, отдохну — и пройдет. В обед выпил коньячку — генерал на день рождения подарил! Потом дочку отругал, что шляется где-то вечно, 20 лет девке, а ума нет. Вечером повалялся на диване перед телеком. Не прошло.

Через пару дней не выдержал — пошел к ушному врачу. Говорю, доктор, у меня в ушах телефонные гудки стоят, с ума сводят. А тот спрашивает, травмы не получали? Черт его знает, отвечаю. Может и правда, какой-нибудь урод на митинге мне чем-то в башку запустил, а я в шлеме не заметил. Слух доктор проверил, голову и так, и так повертел, в уши заглядывал, нет, говорит, все в полном порядке. В конце посоветовал у психолога «проконсультироваться». Ну, я кивнул для вежливости, но сам-то подумал, ага, буду я к психу ходить, чтобы надо мной ребята ржали.

В субботу опять уличные протесты. От гудков в голове сил нет, но жить-то нам надо — пошел деньги зарабатывать. Наш отряд Мойку зачищать отправили. Ну, не сидится дома этим блядям! Опять народу полно. Думаю,

странные вы люди. Нормальный человек знает, равнодушие — залог здоровья. Сказал «моя хата с краю», мимо прошел, и нет проблем. А эти лезут. Ничего, скоро вас по видеокамерам, по фейсбуку, да по геолокациям заранее арестовывать начнут, никто нос на улицу не высунет. Коррупция тебе не нравится, падла? Коррупция — мать порядка. На вот, дубины от омоновца съешь!

За час человек двести задержали. Я даже про эти гудки сраные забыл! В азарт вошел, помню как одного, с российским флагом на землю повалил, коленом горло прижал, а потом взгляделся: ба, да это же хахаль Катьки, дочки моей, пару лет уж за ней ушивается. Я посмотрел, вроде журналистов рядом нет, за волосы схватил, да как двинул его харю о поребрик, и в крови там лежать оставил.

Дома, я, конечно, Катьке скандал устроил. Говорю, мне коллеги доложили, что друг твой экстремист, по статье пойдет. Ревела она как корова. Говорила, что любит, что они пожениться собираются и детей родить. И так она это серьезно сказала — чуть ли уже не сейчас под венец, да в роддом собрались. Ну, я эту дурость ей запретил, забудь, говорю, и даже подходить к нему не смей, а то убью.

Проснулся утром в воскресенье, голова раскалывается и гудки телефонные еще сильнее. Туууууу. Пауза. Туууууу. Туууууу. Невыносимо! Может, правда психа навестить?

В понедельник сходил. Он мне таблеток выписал. Пару дней попил — не помогло. К концу недели совсем, сука, тошно стало, перестал различать, что люди вокруг говорят. Да и мысли свои слышал только во время пауз между гудков проклятых. В пятницу бросил таблетки,пил водку. Катька ко мне лезла — папа, надо срочно поговорить. На хер послал,пил еще, ночью рвало.

В субботу снова митинг, теперь уже нас на Невский отправили. Стоим, улицу перекрыли, а на нас толпа. Тууууу. И вижу - в первых рядах Катька моя прет. Я аж растерялся. И мудака этот ее рядом — лицо в синяках. Подходят ближе. Она-то меня в форме и в шлеме с забралом не узнает. Она вообще не знает, что я на таких акциях работаю. Смотрю на нее, Катька, дура, что же ты тут

делаешь? И не слышу ни рева сирен, не лозунгов, что толпа скандирует, а только гудки, словно сам я аппарат телефонный и по мне сигналы идут: туууууу. туууууу.

Ребята наши цепочкой вперед двинулись. Я держу шаг, начинаем дубинками лупасить самых ретивых, теснить шоблу. Так ведь скоро и Катьке, достанется, думаю. Пытаюсь к ней прорваться, может выдерну из толпы. Вдруг вижу ее в шаге от себя. Гудки разрываются. Она на меня смотрит. На дубинку смотрит. От ужаса сжалась. Тууууу. Тяну к ней руку, Катя в страхе отшатывается и падает. Один из наших омовцев бьет ее в живот. Она стонет.

И тут гудки прекратились. Будто оборвалась линия, будто кто-то на другом конце отчаялся и бросил трубку.

Лехтманы и новый муж

Эсфирь Яковлевна покормила и отправила на работу Марину, затем растолкала Илюшу, а то он опять опоздает. Илюшу ждал сюрприз – штрудель, его любимый, яблоко с корицей. Эсфирь Яковлевна всегда просыпается рано, где-то в пять, поэтому, если есть настроение, может не торопясь, в удовольствие что-нибудь такое испечь к пробуждению дочки и внука. Жалко, Илюша сегодня проспал и не попробовал штрудель сразу, с пылу-жару. А вот уже встал, прошаркал в туалет Лев Борисович. Значит, Эсфири Яковлевне пора уходить с кухни. Лев Борисович любит есть в одиночестве. Она могла бы подать завтрак и ему – и подать, и поухаживать, но он не разрешает; она, считает Лев Борисович, перегреет или же наоборот, и уж точно не досолит, не в той тарелке подаст, да мало ли что еще она может сделать не так... Такое ответственное дело, как завтрак, (не приготовление даже – разогрев) он брал на себя. Она же просто потом помоеет за ним посуду.

Эсфирь Яковлевна берет тарелку с куском штруделя и уходит в свою комнатку, как всегда, позавтракает там.

Марина пробыла вдовой почти два года. Серёжа, муж, скончался внезапно, накануне своего пятидесятилетия. Оторвался тромб. У Марины, ей тогда было чуть больше сорока, начался климакс от нервного потрясения. Во всяком случае, врачи считают, что так. Через какое-то время стала встречаться с Ромой Кожевниковым, другом Сережи еще с институтских времен. Рома утверждал, что любил ее уже давно – а они общались без малого двадцать лет – тихо и безответно. Но, вполне вероятно, он придумал это сейчас и поверил сам, от избытка сентиментальности и склонности к «чувствительным» эффектам. Что он для Марины? Сама толком не знала. Чтобы не быть одной? Но она же, если словами подруг, женщина видная, цветущая. А если словами мужчин из ее отдела, Марина - обладательница,

так сказать, носительница весьма и весьма эффектных форм. А самые близкие подруги говорят, что она могла бы составить счастье любому. Насчет счастья Марина не знала, конечно. После двадцати лет брака слово это казалось ей ходульным и выспренным, хотя свою жизнь с Сережей считала в целом удачной и Сережу любила. Застенчивостью никогда не страдала, не тушевалась перед начальством, у себя в отделе была профсоюзным активистом, ей нравилось участвовать в распределении тех благ, что шли в их отдел через заводской профком. То есть, круг общения самый что ни на есть широкий, на заводе ее знали, наверное, все. Казалось бы, найти себе кого-то не проблема, есть из кого выбрать. А она остановилась на Роме Кожевникове, безобидном, тихом и странненьком, как говорила Эсфирь Яковлевна, малохольном.

Илья однажды прочел письмо Кожевникова к маме – он, живший в пяти автобусных остановках от Марины, писал ей длинные, велеречивые письма, впрочем, скорее всего, что искренние и продиктованные подлинным чувством. Илья с подростковой язвительностью высмеял стиль. Марина не обиделась, пожала плечами. Когда ее спрашивали о Роме Кожевнике, она всегда пожимала плечами. Эсфирь Яковлевна время от времени пыталась узнать у нее: что для нее этот Рома и что будет дальше. Поняла только: Марина пожимает плечами не потому, что что-то скрывает от матери или дает ей понять, что не ее дело, – она просто пожимает плечами.

Лев Борисович, пообщавшись с ней два-три часа, заявил: «Вы именно та женщина, что мне нужна». На вопрос Марины «Откуда такая уверенность?» он ответил, что прожил жизнь и кое-что в этой жизни понимает. Непередаваемый сарказм, с которым было произнесено это «кое-что», означал, что, на самом-то деле, он понял в этой жизни все до конца, абсолютно.

Три месяца Лев Борисович добивался от нее, как он сам говорил, слова из двух букв (в смысле, «да»). И вот,

наконец-то. Взял измором? Рома Кожевников был отставлен.

Льву Борисовичу пятьдесят четыре. Ее Сереже было бы пятьдесят два, но Лев Борисович выглядит настолько старше, будто вообще из другого поколения. Огромный живот, лысина, обрамленная остатками совершенно седых волос, и брюзгливое выражение лица – те, кто с ним незнаком, принимали его за пенсионера. Он преподавал в политехе и подрабатывал частным образом: ремонтировал холодильники и еще кое-какую технику. Подработку уже не могло проконтролировать ветшающее государство (шел девяностый год); деньги были, чем он чрезвычайно гордился. Любимая присказка: «Я дорого стою». Со студентами он строг и бескомпромиссен, коллеги его уважают. Кое-кто из подруг Марины решил, что она вышла за такого из-за денег, ведь ее зарплата инженера-конструктора... да что тут говорить! А у него как-никак оклад доцента плюс холодильники. Они не понимали Марину совершенно, деньги ее никогда особенно не интересовали, она бескорыстная. Она вышла за него совершенно по другим причинам. А по каким, сама не могла объяснить себе толком, но чувствовала, что причины есть, и они довольно серьезные.

Илья поразился: пока был жив папа, они всей семьей читали «перестроечную литературу», практически все, что стало издаваться тогда. И как читали! Взахлеб. Обсуждали, спорили. А появился Лев Борисович и потребовал котлеты. И мама теперь все свободное время готовит котлеты и «ежики» под его надзором. Лев Борисович контролирует соблюдение технологии и придирчив к качеству. Литературы как будто и не было никогда. А ведь мама умна, и у нее всегда было свое мнение и о Гроссмане, и о Шаламове, и о Домбровском. Подчинилась новому мужу? Нет, конечно. Она сама всегда подчиняла себе домашних. «Будет так, как я хочу», – Илья с самого детства помнил эту ее фразу. Став взрослым, иронизировал: «Это мамино кредо, девиз на фамильном гербе». В детстве он мамы не то чтоб боялся, но как-то ему неуютно с ней, радовался, что

она с утра до вечера на работе. Его сердце всецело принадлежало бабушке.

Эсфирь Яковлевна никогда не прекословила дочери, Сергей же, и без того сдержанный, замкнутый, с каждым годом их жизни становился все более замкнутым. И в доме действительно было все так, как хочет Марина. Не потому, что Сергей подкаблучник, просто его не интересовало то, что он называл подробностями, содержимым, набивкой жизни. Если Марине сие так важно, пускай... Только это и была его жизнь. Это, это и ничего, кроме. Он не хотел признаваться себе здесь? На выходные он довольно часто уходил к друзьям. Мог даже не предупредить Марину. Она увидит его уже в понедельник, на заводе. (Они работают в одном отделе, только в разных КБ).

Марина принимала как данность. Не понимала, зачем ему такая отдушина, но смирилась. Это для нее компромисс такой. Как-то у них все сложилось, притерлось за годы. Только «у друзей» выпивают. Поначалу Сергей пил несколько меньше, чем принято в их кругу инженеров, но вскоре слился, как он язвил, с пейзажем, среда заела, в общем. Марина дала объяснение – Сережа оказался несемейным. Четкая формулировка, исключая какую-либо ее ответственность. Но Сергей действительно совсем не интересовался сыном, не вникал ни в его учебу, ни в душевные его переживания, точнее, даже не догадывался о них, а те семейные обязанности, которые все-таки иногда приходилось выполнять, причиняли ему страдание, пусть страдание и было достаточно мелким... Прятался от такого вот самого себя в самоиронию, но цену ей понимал сам.

Время от времени Сергей начинал о том, что в принципе хорошо бы уехать. Ну да, жена же еврейка. Понимал, конечно, что у них у обоих допуск (у Марины третья форма, у него вторая), и в семьдесят каком-то году пробивать такую стену лбом?! Но Марину даже такие его чисто теоретические рассуждения возмущали. Она «здешняя», здесь все свое, родное, ей нравится! Что она подразумевала под этим «нравится»? Она была совершенно согласна с Сергеем, что Сталин преступник,

система порочна, госбезопасность всесильна, коммунизм – ложь и бред. Но сам уклад жизни, сам ритм, все эти вечера перед телевизором, фильмы и песни, все ее подруги, наконец... Это же все свое. То есть какая-нибудь «Песня-79» и болтовня любимой ее Верочки из седьмого КБ перевешивала Сталина и всю мерзость, и лицемерие дня сегодняшнего? А профком – это ее поэзия. Вот куры на отдел выделили или, скажем, сапожки. Все знают, у Марины все будет по-честному. Договариваться с ней, попытаться как-то, сбоку ли сверху на нее повлиять, надавить – бесполезно. «С нашей Мариной можно хлеб в блокаду делить», – как-то раз сказала одна сотрудница. И от всего этого она вдруг должна почему-то и непонятно куда уехать?! Она любила Сергея. И любила, и терпела. Терпела даже то, чего терпеть вообще-то и нельзя. (Были ли в этой его «отдушине» еще и женщины? Она не знала.) Но в содержание ее любви не входили ни понимание, ни интерес к его внутренней жизни.

Так вот, возвращаясь к замене Солженицына с Тендряковым на котлетки и отбивные – такую Марину никакой Лев Борисович подчинить себе, конечно же, не мог. Получается, «замена» эта произошла потому, что литература, неожиданно для самой Марины, оказалась и не важна для нее? Но и к «котлеткам» она, в отличие от своего нового мужа, не могла относиться серьезно. Марина всегда была упоена собой. Ее мужа, мужчины с прилагающимися здесь страстями, любовями, проблемами, передрыгами – только из этого и сложена жизнь, да? Но это все-таки частность. Сын? Конечно же, сын! Но она понимала, так, не проговаривая ни вслух, ни мысленно – Илья тоже не все для нее. Тоже частность. А что же целое для нее? Из чего она сложена полностью и до конца? Не задавалась таким вопросом. Упивалась собой.

Первый месяц с новым мужем прошел хорошо. А потом началось. Видимо, Лев Борисович устал уже сдерживаться. Марина быстро показала ему предел его возможностей и прав. Оба тяжелые, авторитарные, шумные. Казалось бы,

всё сейчас пойдет в разнос, вдребезги, полетит к черту. А вот как-то да ужились. К примеру, когда он ревнует (он оказался страшно ревнивым), она подстраивается. Зашла она после работы к подруге, он, заранее предупрежденный (какая ломка привычных стереотипов для нее – взять и предупредить!), названивает ей по телефону каждые полчаса, проверяет. Если, несмотря на столь плотный контроль, не выдержит, скажет, возвращайся (она пошла в гости на два часа, он требует вернуться через полтора), Марина извинится перед подругой и поедет домой. Говорить с ним бесполезно. Сам он уверен, что ревность его рациональна, вдруг Марина, сказав «про подругу», на самом деле поедет к Роме Кожевникову (Марина ему рассказывала об этой связи). Фотографии Сергея Лев Борисович порвал. И даже их свидетельство о браке уничтожил.

Марина не столько разгневалась даже, сколько удивилась. Эта его нелепая попытка отменить ее прошлое, пройтись ботинками по ее чувствам, застолбить за собой, да что там! пометить ее душевный мир! Она простила. Великодушие? Илья считает, что ей не так уж и дорого прошлое – она живет настоящим, ограничена настоящим. Такое вот откровенное до непристойности торжество настоящего. А душевный мир ее не слишком глубок, он у нее нараспашку, часто вообще напоказ. Потому и простила этого своего Льва Борисовича без особого труда. Впрочем, вполне вероятно, что Илья здесь пристрастен к матери.

Лев Борисович оказался очень заботливым, Марина поражена. Правда, забота у него неотделима от попыток переделать, перелопатить ее жизнь по своему усмотрению.

Лев Борисович же столкнулся с тем, что ему придется выстраивать отношения с женщиной на равных. Это, как вскоре стало известно, за всю его жизнь было для него вообще впервые.

Он начал придирается к Илье. Нет, сам Лев Борисович считал, что дает ему ценные советы, «объясняет жизнь», но разве дожدهшься тут благодарности... Раз Илья его поблагодарил, но Лев Борисович тут же понял издевку и

разгневался. Все, что говорит «новый папа» (это Илья для вящего сарказма), в принципе довольно умно, но столько тяжеловесного непробиваемого самоуважения здесь, что становится весело.

Он был сильнее худенького Ильи. Конечно же, не пытался применить к нему силу, но как потенциальная угроза это ощущалось. Во всяком случае, Лев Борисович мог его оскорблять в полной уверенности, что не нарвется на физический отпор. Сам он считал себя человеком тактичным, он же не требует от Ильи... Не мог сформулировать, чего именно он от него не требует, проще сказать, чего требует, - о! тут был длинный список. Однажды, в хорошую минуту, сказал Илье вполне доброжелательно: «Помни – ты еврей. Кончились лекции – сразу домой. А ты с неформалами всякими по митингам шляешься. Смотри, исключат из университета, а мне потом напрягать свои связи, тебя восстанавливать. Когда работать начнешь – то же самое: закончился день, и домой. Тут же и сразу, понял?» Илья ответил, что когда он окончит университет и начнет работать, ходить на митинги уж точно станет настолько безопасно, что он туда даже и не пойдет. Лев Борисович хмыкнул презрительно: «Тоже мне, историк». Мол, действительно верит, что власть смягчится настолько... Вся эта нынешняя демократия скоро кончится, он это точно знает. Может, и жаль, конечно, что кончится. Но ведь именно кончится. После многозначительной паузы: «А вот тогда и начнется». Илья отвечает, что уважаемый Лев Борисович его неправильно понял, Советская власть не «смягчится настолько», а просто-напросто перестанет существовать. Лев Борисович возмутился в том смысле, что им, молодым, сейчас все настолько легко дается. Не знают цены и ценности благополучия, покоя и труда. Он вот в его возрасте уже воевал, а ему, Илье, бабушка все еще нос вытирает. Воевал Лев Борисович в пятьдесят шестом, в Венгрии, был приравнен к ветеранам войны. Тут как раз прошел слух, что участникам этой кампании дадут какие-то новые льготы, и Лев Борисович предвкушал.

– Ничего себе! – Илья говорит маме. – Человек подавил чужую свободу и ждет за это все новых и новых благ!

Марина хихикнула, конечно, но, если Илья заедается с Львом Борисовичем, она всегда запрещает сыну «выводить его из себя». Он же сердечник.

Лев Борисович с Мариной в большой комнате, Илья с бабушкой в маленькой и слушают, как он своим брюхом плюхается на маму! Этот звук дряблого пуза. И ни при чем здесь Фрейд. Просто мерзко.

Илья услышал однажды обрывок разговора мамы с бабушкой: «Да какое уж тут удовольствие. Не в этом дело». Вряд ли бабушка осмелилась бы спросить, мама сказала сама.

На заводе давно уже не платят зарплату (начало девяностых), а Лев Борисович что-то да зарабатывает своими холодильниками. Теперь Марина на его содержании, и он дает ей это понять. Приободрился даже. Это начало нового тура борьбы за власть в доме. Бывает, купит Марина хоть что-то Илье, он сразу: «Это на мои деньги», или: «Ты купила, потому, что я кормлю тебя, и тебе не приходится тратиться на еду». Марина обижалась страшно. После бурного скандала, понимая, что перешел грань, Лев Борисович даже извинялся. Марина была отходчива и не злопамятна. Но через какое-то время все повторялось. Лев Борисович не мог совладать со своей натурой, даже когда действительно пытался.

По ночам (каждую ночь!) он вставал, шел на кухню к холодильнику жрать. Громко топал, хлопал дверцей холодильника. Потом, решив съесть еще, опять открывал, снова хлопал. Получалось, что будил Илью, потому как их с бабушкой комната с кухней через стенку. Человек-холодильник.

Оставалось только ностальгировать по Роме Кожевникову. Тот, если мама оставит его на ночь, даже в туалет выходить стеснялся.

К ним все чаще стала приходиться Лариса, дочка Льва Борисовича от первого брака. Приводила свою

четырёхлетнюю дочку Любочку. Знала, Эсфирь Яковлевна с девочкой с удовольствием посидит, а она пока по магазинам или еще куда. Но был у нее и момент бескорыстия – ей нравилась Эсфирь Яковлевна.

От Ларисы узнали, что Лев Борисович свел в могилу Иду Марковну, Ларисину маму. Мягкая, интеллигентная, преподавала французский в нашем лингвистическом. Вот он сел и поехал. Всю жизнь ею помыкал. Умерла она после неудачной операции на почке, отец формально и не виноват, но он ей всю душу вымотал за жизнь, сил никаких не осталось, тяги к жизни не стало. А он что, через полгода опять вот женился. Ида Марковна и не хотела за него идти. Она кого-то другого любила, но мама, Ривка Моисеевна, ее заставила. Почему Лев Борисович казался ей такой замечательной партией для дочери? Непонятно. Жила с ними, и ее, тещу, он все годы тяжело, беспросветно и совершенно бессмысленно притеснял. И все усугублялось тем, что квартира его, кооперативная, он там полный хозяин. Он сам построил. Ривка Моисеевна, как они знают, там сейчас и живет, точней, доживает. «Так что, – улыбается Лариса, – рождены мы не в любви, мягко говоря».

Всякий раз, защищая мужа от нападок Ильи, Марина говорила, что Лев Борисович все-таки человек благородный: вот же, не выгнал бывшую тещу из своей квартиры, хотя имеет полное право. Кстати, когда она умрет, они с ним сразу же переедут туда. И Илье с бабушкой наконец-то станет хорошо. Просто надо потерпеть. «Да, конечно, свет в конце туннеля», – кивает Илья. «Ну тебя!» – смеется Марина. В защиту мужа она всякий раз говорила о том, что вот у него дочь и внучка – для другого на первом плане они и были бы, а Лев Борисович не противопоставляет. Он предан нашей семье. Да еще как предан! «Вот это как раз и хуже всего», – отвечает Илья.

Илья знал расписание Льва Борисовича, и если вечером тот будет дома, сидел в библиотеке, иногда допоздна,

чтобы придти домой поужинать и сразу же спать. «Кажется, качество моей учебы повышается, спасибо “новому папе».

Эсфирь Яковлевна поначалу решила, что Лев Борисович начал ее выживать. Не слишком и испугалась. Разное за жизнь было. Да и идти ей некуда. К тому же дочка всегда защитит. Марина в принципе и защищала, но часто была рассеяна, и отношения Льва Борисовича к матери как-то не замечала. А вскоре, особенно после рассказа Ларисы, стало ясно – никаких планов по выдавливанию Эсфири Яковлевны из дома у него нет. Он измывается над ней просто так. Не умеет по-другому. «Что ж с ним сделаешь?» – вздыхает, улыбается Эсфирь Яковлевна. Свой дом у нее был только в детстве.

Родилась она в одна тысяча девятьсот восьмом году в городе Малине Житомирской губернии. Ее отец владел кожевенной мастерской, и жили они в мазанке. Каждую весну ее мама белила их мазанку. После революции им стали подселять квартирантов, в принудительном порядке, конечно же. А в двадцать четвертом году у них поселился молоденький инженер Арнольд Лехтман. Эсфирь и Арнольд полюбили друг друга и через год поженились. Где-то в середине тридцатых сестра ее мамы, тётя Сара, что давно уже жила в нашем городе, нашла Арнольду место, и он добился перевода сюда, на автозавод. Здесь перспективы! Стали жить в коммуналке заводского дома. Коммуналка была небольшая, в соседях всего одна семья, роскошь, можно сказать, по тем временам. Но что эта была за семья! Огромная, шумная, непоколебимо уверенная в своем праве в квартире командовать. Они ели на кухне, занимали ее всю, а Эсфирь Яковлевна с мужем на кухне только готовили и относили к себе в комнату. Так что, когда Лев Борисович выгонял ее с кухни, Эсфирь Яковлевна могла бы сказать – круг замкнулся, жизнь по недостатку воображения, воображения и милосердия повторяет саму себя. Но она ничего такого не сказала. «Ладно».

Эсфирь Яковлевна тихая, плавная, немногословная. Не сюсюкала с Ильей, не осыпала поцелуями, но ее доброта и

любовь... Илья рано понял, что любовь - это не обязательно слова о любви.

Бабушка рассказывала о детстве, о той самой мазанке. Земля была добрая, много солнца и света, груши какие росли, и айва, и виноград. У них были куры, гуси, индюшки. Илье трудно было представить себе индюшку: «Индюшка размером с кого?» А гусям родители запихивали в горло орехи, чтобы выросли толстыми. У нее была сестра Мирочка (маму Ильи она назвала в честь нее) и два брата – Йеня и Нахим. А в тридцатые годы было страшно. С автозавода забрали многих. И из отдела, где работал ее Арнольд, исчез инженер, что сидел за соседним столом, и инженера за столом напротив забрали. Из их дома тоже забирали каждую ночь. Илья не понимает, как можно жить, зная, что каждый день может оказаться последним? Как не свихнуться? Один и свихнулся, отвечает бабушка, выпрыгнул с верхнего этажа их дома. А за несколько дней до этого спрашивал у Арнольда, правда, что уже изобрели прибор для чтения мыслей? Когда же они поженились, - это бабушка меняет тему, - родители Арнольда были ей не рады, она же без образования, а у них в семье все с высшим образованием в третьем поколении. Илье непонятно было, как можно было не радоваться его бабушке. «Люди всегда найдут, кого и за что презирать», – отвечает бабушка. И тут же, смягчая: «Но это не так уж и страшно».

Илья знал, что и родителей бабушки, и родителей Арнольда (они лет через пять после женитьбы Арнольда переехали из соседней области в Малин, наверное, чтоб быть ближе к сыну) немцы спихнули в общую яму.

Эсфирь Яковлевна окончила курсы и устроилась в заводскую бухгалтерию, где и проработала до пенсии. В заводской коммуналке она прожила до шестьдесят девятого. Тетя Сара, одинокая и тяжелобольная, предложила ей съехаться, она нуждалась в уходе, Эсфирь Яковлевна давно уже вдова, Арнольд умер в пятьдесят восьмом от рака поджелудочной, Марина, уже беременная Илюшей, живет с матерью Сергея. Сдали государству

однокомнатную тётки Сары и комнату Эсфирь Яковлевны и получили двухкомнатную в только что построенном доме.

Бабушка стала ухаживать за тетей Сарой, а Марина жила то с ними, то у Сергея. Как только тетя Сара умерла, Марина с Сергеем и грудным Илюшей переехала к маме. Марина любила тётку Сару, но не могла не думать о том, что тётка Сара умерла вовремя. Освободила место.

Илью всегда удивляло и возмущало, почему так: папа хороший человек, бабушка хороший человек, но они не замечают друг друга?! Точнее, папа живет так, будто бабушки просто нет. Папа утром говорит ей «здрасьте», вечером, вернувшись с работы, «добрый вечер», и все. Почему папе совершенно все равно, что бабушка хорошая и добрая?! Она могла бы любить папу, а ему не надо.

Эсфири Яковлевне не нравилось, что Сережа не еврей, но что поделаешь... И отношений Марины с Сергеем она не понимала, но, конечно же, не вмешивалась. Но вот пришел Лев Борисович, «свой». А сил на это все уже нет.

Эсфирь Яковлевна не была улыбчивой, жизнерадостной, но ее доброта... Ее жизнь, все несчастья и потери сделали ее добрее, придали глубину ее умной доброте. Марина это о своей маме, в общем-то, знала, просто считала: да, доброта, ну и что? То есть хорошо, конечно, но не так уж и важно.

Лев Борисович починил у них в доме всю технику и даже укрепил мебель.

Мама говорила, что бабушка любила жаловаться на свои болячки, это у нее началось давно, лет с пятидесяти. Жаловалась подробно так, обстоятельно. «Вот головка болит, вот желудок...», - передразнивает мама. Передразнивает любя, даже с нежностью получается у нее.

Илья похвастался в школе, что бабушка у них ветеран труда и даже помнит гражданскую войну. Класе в седьмом ли учился тогда, в восьмом? Не похвастался даже, просто Марья Федоровна, их классная, раздала анкеты: воевали ли дедушки, бабушки? И вдруг классная им звонит, просит Эсфирь Яковлевну придти к ним на «урок мужества». Та

удивилась, конечно, она же не фронтовик, не... Ничего, ничего, уверяет классная, вы же ковали победу в тылу. А ваши воспоминания о героике гражданской... Скорее всего, кто-то из обещавших поучаствовать ветеранов вдруг прийти не смог, а мероприятие же плановое! Эсфирь Яковлевна сомневалась, конечно же, отнекивалась, но в итоге отказать не смогла.

У Эсфири Яковлевны было два любимых занятия: чтение и выпечка разного рода вкусностей. Читала, перечитывала всю русскую классику. Читала Шолом-Алейхема и еще нескольких авторов на идиш (Илья уже не помнит ни имен, ни названий). Она знала три языка: русский, украинский, идиш. Только последний, казалось, уже подзабыла и вдруг в старости вспомнила и начала читать и на нем.

Телевизор она смотрела в комнате Марины, когда не было Льва Борисовича. Смотрела и живо так, смешно комментировала, иногда это было простодушно у нее, иногда она передразнивала. Она умнее телевизора.

Пекла же она штрудели, коржики, коврижки, барабульки, маковые рулеты, всевозможные пироги, разного рода фигурные плюшки. Рецепты рецептами, но многое зависело здесь от вдохновения, вкус получался изумительный.

В порядке подготовки к «уроку мужества» она напекла огромное блюдо барабулек с начинкой из конфитюра, должно хватить на весь класс, пусть Марья Федоровна попробует и своим домой возьмет.

Сначала перед детьми выступал дедушка Саши Пчельникова, весь увешанный юбилейными медалями. Он рассказал детишкам о том, что у них в блиндаже был большой такой портрет Ленина. Они перед боем приходили к нему, долго стояли перед Лениным, смотрели, давали безмолвную клятву, после чего шли в атаку. Дети смотрели на блюдо, принесенное Эсфирью Яковлевной, пусть оно, прикрытое салфетками, было предусмотрительной Марьей

Федоровной еще и закамуфлировано газетой, дабы раньше времени никого не смущало.

У Эсфири Яковлевны медалей не было. Рассказала, что оказалась в этом городе потому только, что тётя Сара... словом, вкратце пересказала историю о переводе мужа на автозавод.

– Вышло так, что тётя Сара нам с мужем спасла жизнь, кто бы мог подумать, да? – Илья заметил у нескольких своих одноклассников подленькие улыбочки. Это их реакция на «тётю Сару». – Останься мы в Малине, немцы нас убили бы, и всё. Папу, маму, сестренку Миру расстреляли.

Бабушка как советский человек знала, что слово «евреи» лучше не употреблять.

– Фашисты организовывали массовые расстрелы советских граждан, – тут же ввернула Мария Федоровна. Боялась, вдруг Эсфирь Яковлевна это самое слово все же употребит.

– Оба моих брата погибли – Нахим в самом начале войны, а Йеня, – опять несколько улыбочек одноклассников Ильи, – уже под Кёнигсбергом.

– Город Калининград, – торопливо добавила Мария Федоровна. – А каков, Эсфирь Яковлевна, ваш вклад в победу?

– Да какой тут вклад? – смутилась бабушка Ильи. – Ну, работала на автозаводе.

– Эти маленькие руки точили снаряды, ковали броню наших танков, – Марья Федоровна чуть было указкой не показала на руки Эсфири Яковлевны.

– Я в бухгалтерии работала, – говорит Эсфирь Яковлевна, – счетоводом.

Недоумение на лицах присутствующих. Илья готов провалиться от стыда.

– А на ночных дежурствах, да, приходилось после бомбежек зажигалки с крыши сбрасывать. А счетоводом работать мне нравилось. Я и сейчас, приду из магазина, табличку составляю: что куплено, сколько стоит. – Улыбнулась. – Надо же чем-то развлечь себя.

Илье снова нехорошо. Именно чего-нибудь такого в этом роде он и боялся. Надо было бабушку не пустить сюда, как-нибудь обмануть, наконец, чтобы только она не пришла.

– Я уже полжизни как одна, – продолжает бабушка Ильи.

– Ваш супруг пал в бою? – столько надежды в голосе Марьи Федоровны. «Урок мужества» надо как-то спасти.

Эсфирь Яковлевна очень коротко, сдержанно рассказала, от чего умер муж.

– Вы же, Эсфирь Яковлевна, у нас очевидец Гражданской войны, – продолжает спасать урок Марья Федоровна. Назидательно детям. – Сама живая история.

– Мне десять лет было. Город наш переходил из рук в руки. Вот петлюровцы выстроили нас в ряд... да, всю семью, чтоб увидеть, с кого что снять. Страшно, конечно, было. Но я же маленькая, всей опасности все равно не понимала. У отца зубы золотые выбили. Правда, он успел заранее золотой портсигар в нужнике утопить, чтобы им не досталось.

Марья Федоровна явно посчитала слово нужник непедagogичным. И при чем здесь какой-то портсигар, если речь о судьбе революции?!

– А через день красные пришли, – продолжает Эсфирь Яковлевна.

– Вот! – поднимает свою указку и делает торжественное лицо Марья Федоровна. Урок спасен.

– И тоже нас ограбили.

Сложная, непередаваемая гамма чувств на лице Марьи Федоровны. Поперхнулся и дедушка Саши Пчельникова. Класс недоумевал. Им же всем сочинение по итогам «урока мужества» писать.

И тут гениальная находка Марьи Федоровны:

– Это, наверное, были какие-то другие красные?

Потерявший бдительность советский человек внутри Эсфири Яковлевны пришел в себя:

– Конечно, другие. Совсем другие.

Илья окончит свой истфак, будет работать в школе. Но школа всеми своими антителами тут же начнет отторгать

его как нечто совершенно чуждое ей и враждебное. Тогда он с двумя однокашниками организует новую, негосударственную школу, время уже им позволит.

Илья женится и станет жить отдельно от мамы. Эсфири Яковлевне врач пропишет лекарство от сердца, которое ей принимать нельзя, и она умрет через три дня. Ей будет восемьдесят семь. Марина и Лев Борисович станут раз в год навещать могилку, чтобы прибраться. Лев Борисович однажды даже покрасит ограду...

Баня

Когда мне было пять, мама купила баню. Сбылась заветная мечта...

Это, кстати, логичная и совершенно обычная мечта. Поселок для железнодорожников, где мы жили, состоял из шести блоков – кирпичные двухэтажки на восемь квартир. Видимо, кто-то когда-то решил, что железнодорожники люди калёные, потому что не было здесь ни горячей воды, ни ванн, ни душевых. Только туалет да раковина. И это в пору, когда водонагреватель существовал только один — кипятильник в ведре! Поэтому собственная баня символизировала верх блаженства: наконец-то не придётся больше таскаться раз в неделю с тазами, ворохом полотенец и тремя детьми по электричкам, да за тридевять земель. К тому же ездили мы в общественную купальню, где страшно даже присесть! Потому своя собственная баня уже не просто счастье – почти рай!

Никто совершенно не представлял, как ей это удалось. Сами посудите: папа уже больше полугода совсем не работал, и семья жила, перебиваясь с хлеба на воду. Откуда взяться таким деньгам?! А ведь к бане ещё шёл хорошенького такого размера участок в восемь соток!

Кроме того, на эту баню засматривалось полдвора...

Но когда мечта прямо маячит у носа — как не поднажать? И мама что-то подсобирала, что-то припрятанное достала, что-то продала, чуть-чуть заняла, немного сторговалась, какие-то там ещё неизвестные манипуляции провернула и ВУАЛЯ – собственная баня!

Однако, как водится, была одна «незначительная» проволочка — нужно было перебрать старую, дымящую дровяную печь... С неё-то и началась вся кутерьма.

К большому сожалению всей семьи, папа бы этого сделать не сумел, а потому требовалось ещё немного подкопить и найти вольнонаемного, специально обученного, в идеале готового работать практически за еду, человека.

И снова мамино необычайное, бронебойное стремление во что бы то ни стало добиться цели проявилось во всей красе. Спустя два месяца после покупки она всё устроила: нашелся способный, - с его слов, - печник.

В назначенный день мы целой делегацией провожали работника в баню. Первой, улыбаясь уголками пухлых губ и высоко подняв голову, шла виновница торжества. Она грациозно помахивала руками в такт мягким движениям полного тела. Мамина походка напоминала ленивую поступь избалованного домашнего кота. Она была обворожительна в своем счастье и почти летела над тоненькой гравийной дорожкой.

Следом грузно ссутулившись, шел сам печник — коротенький, краснолицый. Он пыхтел и хмурился, и всё пытался спрятать руки в карманах. Позади него солдатски размашисто вышагивал своими длинными тонкими ногами папа, беспечно обозревая высокие серые тучки, не портившие, впрочем, тёплого летнего денька. А замыкали процессию мы втроём, сверкая разбитыми коленками — девчонки-погодки, озорные, мелкие и шептунные.

Скрипнула грубо состряпанная из досок калитка, приколоченная между углом подсобки и дровяником. Затворялась она при помощи наскоро скрученного из проволоки кольца, которое просто накидывали на столб. Ну, а что? Уж если захотят что украсть — и так украдут: участок не был огорожен и вплотную примыкал к лесу, заходи кто хочешь!

Сразу за калиткой, справа стояла баня: коренастая, приземистая, совсем небольшая. Входить в неё нужно было через подсобку, надежно охраняемую тяжелым навесным замком, спрятанным от дождя под обрезанной пластиковой бутылкой. Напротив расположился тот самый,

небрежно заваленный поленьями дровяник, позади него — колодец. А дальше — восемь соток земли, поделенной надвое канавой.

Калитка с шумом ударилась о стену дровяника. Трое взрослых прошли мимо, будто ничего не заметив, и мы, стараясь не наставить заноз, кинулись ее закрывать.

Тем временем мама переступила порог пристройки, оглядела тонущее в сумраке громаде ржавых садовых инструментов, сломанных вёдер, отсыревших ватников и дырявых резиновых сапог, и удовлетворенно кивнула. Глаза её, подернутые загадочной дымкой, счастливо блестели.

Царственно выгибая пухлые запястья, приподняв мягкие ладони, мама аккуратно, в несколько точных прыжков, добралась среди этого хлама к двери, за которой в кромешной тьме прятался крохотный предбанник. Вошла, пригнувшись, внутрь и, привстав на цыпочки, отчего вытянулась в ромб, включила рубильник. Вспыхнула тусклая, засиженная мухами лампочка, освещая устланный сухими березовыми листьями, обрывками коры, опилками и щепой пол. В углу обнаружилась несуразно наполненная поленьями деревянная шайка да пара старых, лысых березовых веников.

Следом проскакала вся процессия. Мы в предбанник не поместились и лишь вытягивали из подсобки шеи, стараясь не упустить ничего интересного.

Мама, млея, прищурила глаза, развернулась и потянула толстую дверь, ведущую в парилку. Громко и надрывно скрипнув, та нехотя подалась. Пахнуло сыростью.

Внутри на чуть подгнившем от времени полу стояла единственная лавка; к стене был прикреплен массивный широкий полоч, под которым сиротливо прятались большие эмалированные тазы, а напротив, ссутулившись, дремала старая закопчённая печь. Между ними стоял высокий металлический чан для холодной воды, на котором уныло болтался тяжелый деревянный ковш.

Мама тряхнула короткими пушистыми седеющими волосами. Грудь заколыхалась, словно меха, раздувающие

пламя, выдавая учащенное от волнения дыхание. Обернувшись к маленькому лысоватому печнику, шмыгающему красным носом, она сказала нараспев, замирая от восторга:

– Вот эту печь нужно перебрать... А то весь дым вовнутрь идёт...

Тот икнул, потеснил маму к стене, и, вытянув, как мы, шею, заглянул в парилку, перевесившись через дверную коробку.

– Ну... за неделю сделаю! Кирпич подвезли уже?

Царственная мечтательность мгновенно сменилась тревожной суетливостью вечно озадаченной матери троих детей.

– Да, сегодня вечером муж сюда его занесет, чтоб сподручнее и быстрее. Вот сюда сложим. Вот тут цемент уже... Что ещё понадобится?

Мужик кивнул и снова икнул.

– Ключи оставьте. Я тут заночую, чтоб с утра пораньше и начать.

Мама поспешно вынула связку, вручила её печнику и, суетясь и спотыкаясь, утащила нас на улицу. Там весело и как-то особенно важно оглядела всех троих и воодушевленно сказала:

– Ну, скоро попаримся!

Потом посплюнула палец, оттерла чумазый нос младшей и с придыханием прошептала:

– Поглядите, вы только поглядите! Для вас же всё!

И она вспыхнула, озаряя нас охватившим её ликованием. Каким-то особенным детским миропониманием мы ощутили важность этого момента для самой родной души, по-детски упоенно впитывали даруемое тепло, искренне радуясь за мать.

Вечером после ужина на нашей маленькой, тесной для пяти человек, неудобной, но такой уютной и родной кухне папа откинулся к затёртой синей стене, покрашенной простой масляной краской, и устало сказал:

– Теперь за этим пройдохой глаз да глаз нужен будет... Как бы бак нержавеечный не стащил, проныра...

Мы втроём притихли.

Мама испугалась. Она вытаращила глаза и суеверно сплюнула три раза, потом махнула на отца кухонным полотенцем, сводя редкие светлые брови:

– Накаркаешь!

И постучала по дереву.

Несколько минут они в волнении молчали, потом мама обиженно добавила:

– Повезло, что так дешево сторговались! Вон тот, с третьего дома, аж пять тыщ просил, а этот, считай, за так!

– Как бы дороже не вышло! – промямлил папа и виновато, и упрямо, и примирительно.

– Да ну тебя! – ещё пуще нахмурилась мама. Но спустя минуту снова улыбалась.

По-настоящему ничто не могло уже испортить этого дня. Покачивая крупными бедрами, она подошла к шкафу и с хитрющим видом достала из его недр «маленькую» водочки.

– Давай лучше отметим! Своя банька всё-таки!

– Ооо, – папа хлопнул в ладоши и потёр их, щурясь, – вот это другой разговор! Так, шантрапа. По конфете в честь праздника, и спать! Десятый час уже!

Мама тут же поспешно выложила перед нами три одинаковых конфеты и, улыбаясь, убежала расстилать кровати.

Посреди ночи нестройная лиричная песня на два нетвердых голоса обласкала тишину нашего дома...

Но вот спустя месяц мама, к общему нашему переживанию, уже не могла скрыть тревогу и раздражение. Мы чуть ли не каждый день ходили в огород, прилегающий к баньке, полоть траву, сажать озимые цветы, подстригать кусты, неряшливо посаженные по периметру участка, но главное - чтобы проверять, как продвигается работа.

Приготовленные к окончанию заявленного печником срока чистенькие лучшие полотенца, новенькие банные принадлежности, шампуни и кусочки душистого мыла уже потихоньку начали пылиться. Мама смотрела на них сперва с предвкушением, потом с тоской, в конце с мучительным

бессилием, выжидательно, и так, словно в груди у нее болезненно щемило.

А работа меж тем стояла. Первые три недели она ещё худо-бедно продвигалась, а на четвертой мама, порываясь исправить ситуацию, допустила ужасную тактическую ошибку...

– Вот надо было тебе ему аванс выдать! – негодовал папа. – Уже неделю не просыхает, падлюка!

Как раз в этот момент его супруга пыталась растолкать беспробудно храпящего в пьяном угаре незадачливого работягу. Тот не обращал на неё никакого внимания.

– Так, брысь отсюда. Нечего тут выхлопами дышать, – рывкнула доведенная до белого каления мать почему-то на нас.

Через некоторое время мужик всё-таки проснулся. С улицы было слышно, как он кряхтит и невнятно и невпопад задаёт неуместные вопросы, а мать в ответ лупит его и орёт:

– Ты когда работу закончишь, алкаш?! Когда печь доделаешь, я тебя спрашиваю, скотина?!

– Чё? Дай п-спать, грю... поспать дай.

Минут через десять взаимной пытки мама вылетела из бани, словно фурия — вся красная, растрёпанная, часто дыша и со слезами на глазах. Потом почти бегом сделала крюк по огороду, пнула одинокий, вылезший вперед куст смородины, плюнула в недавно наведенный отцом цемент и вдруг остановилась, резко встrepенувшись.

– Толя!

Папа, внимательно глядевший на неё от двери бани все это время, засунул руки в карманы и, внешне лениво, но в то же время как-то опасливо пригнувшись, двинулся к жене.

– Бери ведро и неси в баню! И второе наведи!

– Зачем? – глаза у отца тревожно забегали.

– Делай, говорю! – рывкнула мать и снова улетела куда-то за баню.

Спустя полчаса, когда папа занёс цемент внутрь, мама тут же закрыла дверь в подсобку. Правда, семисантиметровые по толщине доски, плохо подогнанные

к косяку, никак не хотели влезать в дверную коробку с первого раза, но после третьего удара, от которого сложенное из коричневых шпал здание, казалось, вздрогнуло, дверь встала наконец на место. Ни секунды не размышляя, мать навесила замок и защёлкнула его. И сразу, горячо выдохнув, устало и беззащитно закрыла лицо руками, очевидно, обдумывая, как быть дальше.

– Жень, ты это... чего? – осторожно спросил папа.

Как раз в этот момент с той стороны, разбуженный шумом мужик, верно, почуял неладное. На нетвёрдых ногах дойдя до двери, он несколько минут молчал, соображая, что произошло. Мы все слышали, как он дышит, тяжело и хрипло. Казалось, в воздухе даже чувствовался, несмотря на внушительную преграду между нами, запах перегара. По нашу сторону двери в это время звенела, натянутая тугой нитью, тишина. Никто даже не шевелился.

Вдруг дверь сотряс нечеловеческой силы удар. Мы, подпрыгнув от неожиданности, синхронно отпрянули.

– Открой дверь! – рычал мужик хриплым пропитым басом. – Открывай, эту... мать её, дверь!

Ды-дыщ! Мама побледнела. В одно мгновение вся кровь ушла от её лица. Казалось, дунь ветерок - и она упадёт без чувств.

Крепко сбитые меж собой доски содрогнулись в третий раз. Тут папа прошептал:

– Жень... нельзя так... вроде...

Мама резко повернулась к нему и сверкнула взглядом, как бы говоря: «Ты мне тут еще досаждать будешь!». Но это немножко отрезвило её и придало чуточку сил.

– Не порти дверь, ирод! – фальцетом пропела мать, от страха привставая на цыпочки.

– А ну выпусти, ведьма треклятая!

Мужик оставил попытки вынести дверь и теперь просто колотил в неё кулаками.

– Не выпущу, пока работу не доделаешь! – пищала мама, высоко подняв подбородок и сжимая для острастки кулаки, – Хоть от голоду там помирай, не выпущу! Прощельга ты этакий!

Дверь снова сильно вздрогнула, а затем послышался шум падающих вёдер и громкое, впечатляющее трехэтажное оханье.

Мы все переглянулись.

– Ты как там, ирод? – осторожно и встревоженно спросила мама.

– Как-как! Ой... – вёдра все сыпались. Видимо ирод вставал. – Открывай, говорю!

Мама неожиданно обрела уверенность.

– Когда увижу дым из печи, тогда и выпущу! – гордо ответила она и, пытаясь скрыть смятение в серых глазах, крутанулась на пятках и открыла скрипучую калитку. Затем, дождавшись, пока в подсобке стихнет шум, проделала это ещё раз, нарочито медленно открывая дверь в особо скрипучем месте, чтоб уж наверняка не осталось сомнений — мы уходим. Последним вышел папа. Накидывая на забор проволоку, он тихо проблеял:

– Неправильно как-то... – и пристыженно метнулся вслед за матерью.

Вечером следующего дня печь была готова. Ещё две недели ушли на просушку. И вот, спустя положенный срок, одним погожим вечерком, мы – намытые и довольные – попивали чай за покрытым белой затёртой клеенкой обветшалым столом, поставленным прямо в огороде. Из трубы нашей новой бани весело вился сизый дымок.

– А всё-таки золотые руки у алкаша... – присвистнул папа. – Как жарит-то!

– Эх, хорошо! – мама закивала, а потом шумно потянула из блюдечка чай с огородной мятой. От её раскрасневшейся кожи всё ещё шёл лёгкий пар. Папа заулыбался в усы.

– Вот бы ещё крышу перестелить... – мечтательно глядя на баньку, рассудила она.

Папа подавился.

Факт абсолютного слуха

Её жизнь была прекрасна – десятый класс, скоро лето!

Она говорила, как пела; смеялась – как птичка.

В те дни цветущая черёмуха волнующе заполняла знакомые улицы, мягкие облака никуда не спешили по прозрачному небу, деревянные скамейки в городском парке до вечера оставались тёплыми и уютными.

Видеть и чувствовать – это же так замечательно! А слышать шум окружающей жизни она не хотела.

Удобная вещь – наушники.

С самого утра, привычные, красивые, нисколько не кажущиеся чем-то лишним, посторонним, скорее, наоборот, вызывающие тревогу своим редким отсутствием.

Свобода!

Никто не мог заставить её слушать то, чего она не хотела услышать.

Наушники, белые провода, музыка.

Голос таинственных книг.

Или краткие интересные новости.

Или телефонный смех нужного человека.

Удобно.

Однажды отец, побледнев жёстким лицом и, не глядя ни на кого за семейным столом, произнёс в её сторону:

- Сними...

Повторил.

Не дождавшись, протянул руку, сорвал наушники с её головы и бросил их на пол.

Внезапная боль, долгая обида.

Отец выдохнул, выронил тогда из дрожащей руки хлеб:

- Никогда не садись за наш стол так, с этими...

Люди в наушниках казались ей своими.

И смешные мальчишки с прекрасными глазами, и многозначительные ровесницы, и взрослые задумчивые женщины.

Без слов, без вопросов и пояснений она понимала их.

Они все слушали свою тишину.

Иногда кто-то шёл ей навстречу, нахмурившись, опустив голову; другой сиял лицом, иные беззвучно шевелили губами, улыбаясь и рассказывая кому-то далёкому что-то непременно доброе.

Жесты им были уже не нужны.

В слишком редкие минуты домашнего общения отец, славный труженик, кривился скептической улыбкой:

- Плохо, что ты никого не хочешь слышать... Природный слух имеет свойство деградировать.

- Твой остросоциальный сарказм не для меня.

- Когда будет нужно – тебя тоже не услышат.

- Ерунда.

Как-то чудесной весенней ночью случилась приятная бессонница.

Удивительные минуты естественной тишины казались волшебством. Она лежала под прохладной простынёй, заложив ладони под голову.

Почему-то вспомнился давний, почти детский, разговор с отцом. Они стояли тогда на высоком берегу реки, взявшись за руки.

В звёздной июльской темноте отец позволил себе быть непривычно восторженным.

- Умей слушать тишину, дочь. Как же удивительно звучит она! Когда есть возможность погрузиться в настоящий мир невыдуманных звуков, без глупых наушников, без постоянного гроыхания ненужной, необязательной музыки и слов...

- Но ведь страшно...

- Это - пока, это с непривычки. Совсем скоро, когда повзрослеешь и научишься ценить одиночество, ты обязательно полюбишь такую тишину.

И потом, ещё...

Она – уже старшекласница.

Они идут вместе по улице.

Она, задумавшись, слушает, в наушниках, волнуяще тихую музыку.

Внезапно, на пешеходном переходе, отец дёргает её, рывком, за руку, вместе с ней падает на тротуар.

Мимо них, близко, весь в смрадном топливном дыму, мчится огромный грязный грузовик.

- Ты, ты... Ведь слушать же надо!

Плечи отца жалко опустили от только что пережитого.

Она усмехнулась:

- Плевать.

А вчера случилась беда.

Внезапность чужой грязной жизни, чужого города, совсем другие люди...

Она шла под дождём, раскинув руки и рыдая.

Много людей вокруг, но никого – рядом.

В сумраке ненужного дня все они, навстречу, - в наушниках.

Её взгляд.

Она знает, что выглядит жалкой. Ей страшно.

Прохожие видят её, пожимают плечами, вежливо, коротко, улыбаются, стараются обойти, не испачкавшись, оберегая личные зонты и одежду.

«Помогите!»

Она так не говорит, они – её не слышат. В наушниках. Милые.

Страшно. Уже истерика.

Рычит гром. Это – гром?!

Свист ветра по лужам, противным одиноким голосом кричит где-то непонятная птица. Птица?

Она бежала по улицам босиком, потеряв вдалеке обувь.

«Эй! Мне же плохо! Вы что, не знаете об этом?!»

В наушниках.

Серые люди, под серыми струями холодного дневного дождя.

Одинаковые белые шнуры, вставленные в их головы.

Вежливые улыбки. Почти равнодушный оскал.

Она бежит.

Безнадёжность. Всё кончено. Люди исчезли.

Такая жизнь уже ни к чему. Зачем? Жить так..., с этими... с такими...

Тёмный городской мост через большую чёрную реку.

Внизу – блестящие острые камни, рёв разбухшего от дождя потока.

Вниз? И всё?! Так просто?

Да. Только пусть он пройдёт. И тогда...

Прохожий, высокий человек в строгих одеждах, поравнявшись, замедляет шаг, останавливается.

Пристально смотрит в лицо, хмурится, наклоняется к ней.

Странный голос. Густой, медленный.

И этот – в наушниках...

И у него – белые провода на груди.

Она кричит. Сильно кричит, громко, бесстыдно, в последний раз.

- Ну почему вы все меня не слышите?! Почему? Зачем вы сейчас все такие?!

В судорогах страшного напряжения она срывает белые провода и наушники с высокого человека, швыряет их в грохот невидимой с высоты моста реки.

Скрюченными пальцами хватает человека за лицо, кричит ему в ухо.

- Ну почему?! Мне же так плохо! Помогите же мне! Почему вы меня не слышите?!

- Да, я не слышу...

Мгновение страха.

Ещё одного страха, но уже другого, непонятного, пока беспричинного.

- Но почему?!

- Я глухой.

И река шумела уже по-иному, и дождь стучал по худеньким плечам уже с доброй жалостью.

Высокий человек нежно обнял, отвёл с её обиженных глаз прядь мокрых волос.

- Я помогу тебе. Скажи, что случилось?

- А как же..?

- Я пойму. Тебя я обязательно услышу.

Публикации Архива русско-израильской литературы
Бар-Иланского университета

Михаил Юдсон

«Остатки»

Составление и примечания Романа Кацмана

Мы продолжаем публикацию фрагментов, сохранившихся в архиве Михаила Исааковича Юдсона (1956-2019) в конверте под названием «Остатки». Предыдущие публикации см. в №№ 14-16.

*

У Достоевского в «Сибирской тетради» (довесок к «Запискам из Мертвого дома»): «Мужик рубит дрова жиду и кряхтит.

— А цевозе ты кряhtiшь?

— А чтобы легче было, жид.

— Ну, ты руби, а я буду кряхтеть».

Естественно, при расчете деньги зажалил: я, дескать, кряхтел, тебе легче было! Так и жид-литератор — кряхтит за весь русский народ!

-

Сижу безвылазно дома, бормочу жалобно: «В субботу утоббус не ходит...»

*

Маразматические мемуары про битвы мамонтовцев с неандертальцами и денисовцами.

-

«А как пили! Как ели! А какие были отчаянные либералы!» (Чехов, «Палата № 6»).

-

В духе олеографий Большой Алии.

-

Пушкин не реализовал мечту написать драму о жизни Христа — поэтому и дал Гоголю идею «Ревизора».

*

«И жид полезет на крепость наверняка, ежели без риску»¹ — На купчую крепость — теперь я понимаю!

О, как у вас классически написана дьявольская сцена торга, продажа души! Сейчас, наизусть... «А сколько бы вы дали за душу?.. И сам оживовел, руки его задрожали, как ртуть... деньги принял в обе руки и понес их, как будто какую-нибудь жидкость!.. Я бы дал по двадцати пяти копеек за душу. (Опять двадцать пять — примечайте! 8-10-5 — ЖИД).

— А как вы покупаете, на чистые?

— Да, сейчас деньги».²

А что такое, что вас это слово из трех букв так взволновало? Животрепещущие души! ЖИД — 8-10-5. Нумер!!! Гематрия, брат!

Восьмая, десятая и пятая буква в кириллице — собрались, соображают на троих, никого не трогают... Восемь—десять—пять...

¹ «Да в этом-то и дело, в риске-то и есть главная добродетель. А не рискнуть, пожалуй, всякий может. Наверняка и приказная строка отважится, и жид полезет на крепость» (Н. В. Гоголь, «Игроки»).

² «— А сколько бы вы дали? — спросил Плюшкин и сам оживовел: руки его задрожали, как ртуть.

— Я бы дал по двадцати пяти копеек за душу.

— А как вы покупаете, на чистые?

— Да, сейчас деньги.

<...>Тут же заставил он Плюшкина написать расписку и выдал ему деньги, которые тот принял в обе руки и понес их к бюро с такою же осторожностью, как будто бы нес какую-нибудь жидкость, ежеминутно боясь расхлестать ее»

(Н. В. Гоголь, «Мертвые души»).

*

Дисциплинчатые жители Заплинтусовья — шуршат, копошатся...

-

Я написал роман, где герой всё пытается дозвониться до любимой, не получается — не прошёл номер!

*

Из «Писем». Пьесопекарня, как выражался Чехов. «Бремя российского драмописца!»

*

Черепаша текста везет скорпиона смысла. Он готов кусать ее (ради красного, красного...) и утопить роман — ну и хрен с ним!.. Значит, рок его такой!..

-

Былое

Русь. Суббота. Снег идет неслышно. Я иду из синагоги належке — ид нарядный... Как бы шо не вышло — большаки шалят на большаке... А я прусь в лапсердаке — прямо в лапы бесоте... Младшие братцы...

*

«Где-нибудь погонять осла, как тот старик из Коринфа — тоже профессия...» (Макс Фриш, «Хомо Фабер»).

-

Я вообще пишу свиным пером, в которое вошли бесы.

-

И живу в поселении Тель-Авив.

-

...и Пастернак был Исааковичем года до 1920-го...

*

Арч. Арч. [Арчибальд Арчибальдович], корсар-комбриг, с балыковыми бревнами под мышкой — это он уносит крест, рыбный символ Иешуа.

-

У Чехова есть рассказ «Мужики». Приехал к больному мужику Николаю фельдшер-выкрест, поставил два раза по 12 банок, высосал христианскую кровь и уехал, а мужик к

утру помер. О, душистое импрессионистское сено, абсентный Ван-Стог...

*

Есть у Чехова рассказ «В ссылке» о разных страданиях русского человека: «Землю продал, дом жидам заложил». Эх, барин, вольному воля!

-

«Если нет чего-чего кушать, то как живи?» — это у Чехова татарин горюет.

-

У Ремизова («Крестовые сестры») — «драки, мордобой, караул и участок».

*

Вот читаешь нынче какого-нибудь усредненного русского литератора — Ивана Чепракова — и вот он скучно повествует, как ел мух и они кисленькие... Тоска! Печалища!

Что ж, как Чехов писал — посвятить жизнь «освобождению насекомых от рабства или воздержанию от говяжьих котлет».

*

Придет какой-нибудь Ионадав, эдакий козолуп — и кирдык раскидистой Ниневи!

Исчезнут целовальники, вот что жалко. Канут корчмари, прокричит печально козодой.

-

На столе, как писал Аверченко, масса всякого съестного дрязгу.

Целовальников начальник и бутылок командир.

-

Проза однообразная, как атака каппелевцев под апрельскую капель...

Как Столярский называл свою музыкальную фабрику вундеркиндов: «школа имени мене».¹

¹ Петр Соломонович Столярский (1871-1944), скрипач и педагог, основатель специальной музыкальной школы-десятилетки для одаренных детей в Одессе.

-

Сидели и вересковый хлебали мед. Золотистого виски
струя из бутылки текла. Услада!

-

А «кореш» — это контаминация «корень» и «шореш»!¹

-

И возвращается веттер на доннер...

*

Как Аверченко издевался над большевиками: «Нечего
сказать, организовали страну, по улицам пройти нельзя —
или рабочий мертвый лежит, или лошадь дохлая
валяется».

-

Любовь к России (по Ходасевичу) — передана тульской
крестьянкой Еленой Кузиной. Волшебный язык! Большая
кукурузина!²

-

Все-таки Велимир и Житомир — это разное...

-

И я — «очужеземившийся русский, как выражался Гоголь
в выбранных местах.

¹ Шореш — корень (иврит).

² В. Ходасевич: ««Не матерью, но тульской
крестьянкой»» (1917).

Афанасий Мамедов

Проксимус

Отрывок из романа

Моей жене Виолетте Вансович

I

Берега Коста-Бравы и Коста-Дорады предстали внутреннему взору Блюма, едва объявили регистрацию на рейс, и он покинул разбитый японцами лагерь. Отчего-то ему казалось, что среди этого спяянного неведомым островным чувством коллектива проще скрыться от тех, кто мог бы за ним наблюдать.

Вещей у Блюма, за которым вести наблюдение теперь будем мы, — кроме нас он, похоже, мало кому интересен, да и нам исключительно в связи с некоторыми обстоятельствами его жизни — немного: довольно прочный кожаный рюкзак и ноутбучная сумка.

Вот этот немолодой уже господин становится последним в сонную с прорехами очередь, вот незаметно озираясь, сбрасывает с плеча рюкзак, устанавливает его на свои остроносые ботинки, вероятно, опасаясь запачкать, и достает билет. В один конец. (Неужели за столько лет жизни в Москве господин Блюм не нажил на достойный чемодан с вещами, достойными переезда?)

И тут на Блюма, уловившего легкий бриз нашего недоумения, что говорится, нахлынуло: «“Мой дальний свет, мой вещий зов, — Испания моя”. Чье это? — спросил он себя. — Вряд ли Эренбурга, у того все больше “достоуважаемые виноградники хереса” и непоколебимая вера в свободу республики. Но тогда чье? Неисцелимой бродячей души Одена? А может, Хемингуэя — тоже ведь “испанец”?».

И это, непонятно из каких цыганских нетей подобравшееся к горлу Лукоморье, до которого Блюму только предстояло лететь, забираясь на десятитысячную высоту, смахнуло в сторонку несколько последних тревожных эпизодов его жизни; удалило из списка с десятком заклятых друзей, заменив их имена названиями испанских городов — коридоров в новую жизнь.

Калелья, Салоу, Таррагона... Ну и Жирона, конечно же, Жирона, в которой нашему Блюму довелось когда-то задержаться в Еврейском квартале в роли безупречно беспечного вояжера с фотокамерой в руках.

«О, эти маленькие каталонские городки, в которых камней больше, чем света и тени». — И снова этот нераспознанный голос.

Рейс чартерный. Стоянка авиакомпании на другом конце летного поля, и автобус долго добирается до самолета. Блюму делается страшно, хочется курить, но он понимает, что от этой идеи придется воздерживаться, по меньшей мере, часов этак четыре-пять.

С фабрично-серого московского неба пошел кропить унылый дождик, правда, из семейства тех, что зовут пройтись без зонта, философски заложив руки за спину, но все равно событие, потому как — в одну ж сторону билет...

Блюм успокаивается и даже улыбается, взглядывая то на лобовое стекло, то на стекло справа от себя: «Хорошая примета — примета, остальные — по части суеверий, голоса прошлого...»

Но улыбаться благостной улыбкой Блюму долго не пришлось. Вспомнив о простодушных предупреждениях Эммы и о последнем звонке, почти в ночи, Блюм начал настороженно вглядываться в лица пассажиров. Хотя, что в них могло настораживать? Лица как лица, ничего особенного. Кто по делу в Барселону, кто лето пропустил своё и теперь догоняет последние числа августа.

Надо было все-таки подобрать нашему герою солнцезащитные очки. Темные дымчатые стекла наделяют преимуществом того, кому необходимо задерживать свои взгляды дольше, чем принято: а так Блюму приходится

смотреть украдкой, на него косятся в ответ, нехорошо получается. Лишь усугубляет известное беспокойство людей перед вылетом. Впрочем, Блюм скоро берет себя в руки, успокаивается и принимается делать тоже, что и остальные — рассматривать самолеты, мимо которых они проезжают. Когда одной рукой хватаешься за поручень, другою держишь сумку с ноутбуком, ничего остального и не остается.

Родной и потому, наверное, кажущийся каким-то прирученным, домодедовский «ТУ» принял на борт чуть больше половины от тех пассажиров, которых мог бы вместить в утробу, будь сейчас пора отпусков, а не время опавших листьев.

Техслужба в синей униформе и больших желтых наушниках покидала самолет с чувством выполненного долга. Угловое окошко в кабине пилота было открыто совсем по-дачному (для полного сходства не хватало только вздутой сквозняком белой занавески, зацепившейся за герань), и Блюм заметил синее плечо летчика, его аккуратно стриженный затылок, красную шею, ввинченную в ворот белой рубашки. Он хотел еще зацепиться получше взглядом за ребро приборной панели, — но передумал: кабина пилота — святая святых, туда вообще лучше не глядеть перед вылетом. Это как если бы ты долго смотрел на крепко спящего младенца или — что еще хуже — намеревался сфотографировать его спящим для социальных сетей.

Оглядываться назад, прощаться с родными просторами Блюму не хотелось: ни к чему эти сотрясения души.

Взойдя на борт, он первым делом улыбнулся полной стюардессе с приветливыми ямочками на матрёшечных щеках. (Думал, полных стюардесс не бывает, что ж, и мы придерживались того мнения, что стюардесс по всему миру отбирают с таким расчетом, чтобы они, снуя меж кресел, не причиняли неудобств ни себе, ни окружающим.) Протянул ей билет. Девушка рассеянно указала нашему паладину на его законное место.

Подождем, пока Блюм усядется. Подождем, пока он разматывает, наконец, вокруг шеи слегка пожеванный шарфик, словно факир, освобождающийся от змеи-кормилицы.

Вроде как занял, но тут непредвиденное обстоятельство — супружеская чета с дочерью-отроковицей просит его пересесть. Видимо, в компании напутали с билетами, такое случается, когда летишь чартерными рейсами, наверняка и вам приходилось попадать в подобные ситуации. В принципе, нашему герою все равно, он может и пересесть. (Что Блюм и делает, не выказывая неудовольствия.)

Пара приятная, интеллигентная, и сейчас Блюму кажется, будто он заодно с ними, эдакий свой человек, родственная во всех смыслах душа.

Для него всегда было важно жить заодно с приятными интеллигентными людьми. У Блюма есть подозрение — которое отчасти разделяем и мы — что именно это обстоятельство помогло ему без особых эксцессов перетерпеть девяностые.

Ну вот, похоже, устроился. Закинул наверх в багажный отсек свой рюкзак, поставил меж ног сумку. Теперь мы можем либо описать его внешность, либо перенестись на некоторое время назад.

Внешность. Что есть такое внешность, выданная залпом и не защищенная копирайтом?.. Пусть пока Блюм остается «немолодым господином». Посему предлагаем заглянуть в его прошлое. Далеко от сегодняшнего дня уходить не будем, это не входит в наши планы: далеко — действительно «другая жизнь». Она нам не к чему, хотя бы потому, что похожа на жизни многих людей, перетерпевших то или иное лихолетье.

Родился Блюм лицом к морю на клюве ветреного полуострова, в насквозь обдуваемом ветрами миллионнике. Там же окончил так называемую вечернюю школу и, подгоняемый отчасти тщеславием, отчасти сумасбродством, с первой попытки — без блата и особого напряжения — поступил в столичный ВУЗ. По его окончанию Блюм незамедлительно вступил в брак, родил

ребенка, развелся, вскорости так же поспешно женился и снова развелся; выдержав для приличия полуторагодовичную паузу, Блюм решил испытать судьбу вновь и опять с широко закрытыми глазами... (Как там у Де Унамуну: «Жениться легко, женатым быть трудно»? Вот-вот, золотые слова, можно сказать, и сколько же всего проясняют.)

Одной Блюм, продемонстрировав широкий жест, которого от него не ждали, оставил квартиру, от другой скрылся в неизвестном направлении, не претендуя на выделенный метраж, у третьей — оставался просто прописанным, потому как они не смели оборвать те дружественные отношения, каковые меж ними странным образом установились. Первый брак пришелся на восьмидесятые годы, второй на девяностые, третий — на нулевые...

Внебрачная жизнь Блюма оказалась столь же путанной и не поддающейся объяснениям. Пик плетения паутины, в которой некоторые женские имена повторялись дважды, а то и трижды, словно в излишнем надавливании судьбы был какой-то скрытый умысел, пришелся на начало девяностых. В ту пору Блюм снимал у друга, потомственного москвича, с которым работал в торговой палатке на Калининском проспекте, комнату в коммуналке, водил молоденьких барышень, потому как с ними меньше хлопот, да и романы имели свойство съезжать на нет сами собою, без того, хорошо знакомого многим, насилия над собой и своей партнёршей.

Вадим Леонидович, — пожалуй, нам стоит все же называть его просто Блюмом: не идут ему ни имя, ни отчество, кажутся заемными — открывает дверь в темном подъезде, входит в расписанный юношеской похабелю лифт, давит на кнопку, подпаленную сигаретным бычком. Поднимается и звонит в тридцать какую-то там квартиру два раза. (Ещё в детстве его научили: звонить два раза, если ты считаешь себя «своим» и полагаешь, что таковым тебя считают те, кто находится за дверью.)

«Какая-то там квартира» — это квартира не какой-то там Эммы.

Кто такая Эмма? Хороший вопрос. Быть может, вообще стоило начать с этой женщины, а вовсе не с Блюма. Тут надо признаться, мы дали маху, из-за чего нас ждёт лишняя верста.

В отличие от нашего героя — Эмма коренная москвичка или, как она сама о себе думает: «каленная москвичка». Не просто «каленная», но еще и центровая — а это, согласитесь, диагноз. В Малом Козихинском первые шаги делала. Фотография на комод в спальне не даст соврать. Годы на черно-белой аллее Патриарших прудов, любовно заснятые фотоаппаратом «ФЭД» на тот случай, если у памяти вдруг вышибет пробки, датируются с погрешностью в два-три, но мы не станем заниматься вычислением. Во-первых, неплохо воспитаны, во-вторых, Эмме дать от силы сорок, а если приглядеться к подростковым веснушкам, и того меньше. Да и с памятью у Эммы пока все нормально и со всем остальным тоже. Между прочим, с самого начала миллениума Эмма обеспечивает бесперебойную продажу книг в столице и по всем весям нашей необъятной через интернет-магазин. Не ахти как прибыльно, зато занимательно: Эмма много читает. Раньше она была уверена, что книги вообще и литература в частности, молодой развивающейся стране необходимы, как крепкий кофе ненастным утром. «Лот номер два после Конституции, а, может, вместо неё», — так она говорила, если речь заходила о её любимых произведениях. Теперь этот стартовый лот в сознании Эммы переместился к рискованной отметке.

Несмотря на титановый каркас, Эмма устроена тонко, Эмма устроена так тонко, что частенько Блюм, чувствуя внезапное влечение, опасается его продемонстрировать даже самым незначительным образом. Ждет, когда скифские глаза возлюбленной сами затянутся пеленой, потемнеют...

— Вадим-Вадим-Вадим... — теснит Эмма воздух у своих губ в моменты их сближения с губами Блюма. (Какой смысл, спросите вы, в многократном повторении имени? Но как еще, если все другие, подобающие случаю слова,

произнесённые в прошлом этой отнюдь не нордического склада женщиной, кроме ожога, в душе ничего не оставили?).

Веснушки вкупе со звонким чистым голосом, большим, из девятнадцатого века, бюстом и длинными ногами из двадцатого, делают Эмму совершенно неотразимой. Что касается ног, Эмма сама это знает. Она даже вывесила на своей страничке в «Фейсбуке» несколько фривольных фото, собрав свыше ста лайков с каждой за неполную неделю. И трофеи свои Блюму не преминула показать, чтобы знал, с кем дело имеет.

Можно было бы сказать, что Блюму, действительно, повезло с Эммой, можно, но, во-первых, Блюм ещё остаётся в роли «почетного приходящего» (не знает даже, влезает ли кто-нибудь, помимо него, в те домашние скороходы, которые Эмма выделила ему), во-вторых, история, в которую они оба угодили с лёгкой руки Ханина, не могла не напоминать об определенной дистанции, и, наконец, отношения Блюма с женщинами, как мы успели заметить, никогда не складывались просто.

О, сколько грустных, а порою и оскорбительных слов слышал он в свой адрес, как чернело густо внутри у Блюма, когда из-за него — «мерзавца» и «подлеца» — порядочные женщины шли под скребок, сколько раз давал он обет не жениться и не сходиться ни с кем серьёзно.

Блюм спит, унеженный Эммой.

Блюму снится дождь с «пескарями» от асфальта. Летний дождь. Московский. Главное достоинство которого — без помех перевести имярека на другую сторону: из бурно и проказливо текущей жизни в жизнь замершую, словно на развалинах Карфагена.

И в тот момент, когда Блюм пробуждается, ему начинает не хватать проливного, лупящего по асфальту, зонтикам и окнам... Блюму кажется, что он застрял меж двух берегов, а дождь проходит стороной — там где-то. Зато Эмма — здесь, так близко она.

— Что с тобой? — расталкивает, тормошит, пытается проникнуть в тайны чужого колодца, глубокого и темного...

Проснувшись, Блюм передергивается, смотрит на её болтающиеся груди с бледными сосками, не понимая, как могла она так скоро переродиться из где-то там шумящего проливного — в обычную женщину, забывшую его имя, в женщину, порождающую щемящее чувство тоски по раю.

Отвечая на вопрос, Блюм выдыхает немую струйку в направлении Эммы. Замечает, как та морщится и понимает, что хорошо бы сейчас встать, не раскрывая зонтика, прошлепать по лужам в ванную и там шлифовать зубы, пока не появится младенческое дыхание.

Хорошо бы, конечно, но у него не хватает сил. И это бессилие ему видится симптоматичным, связанным не столько с возрастом и остервенелым курением, сколько с невозполнимыми сердечными утратами, потерями по своей глупости. Вот и сейчас Блюму кажется, что следующей его глупостью будет исчезновение Эммы.

То, что Блюму кажется, для Эммы — очевидность.

Эмма уверена: ничто так не сближает немолодых уже людей в этом городе, как общее электричество. Общий свет за одной обеспечивающей глухоту железной дверью с глазком. И потому все лампочки у Эммы горят, все приборы включены в сеть и работают разом. К черту экономию.

Эмма плачет от лука. Эмма подбирает салфеткой подтёкшие стрелки у глаз. Эмма готова на все. Свет в одной комнате, в другой, на кухне и в ванной. То обстоятельство, что она просто жарит котлеты, и телевизор в спальне с мудрецом Познером ей ни к чему, не имеет ровно никакого значения.

...Скворчание котлет, симфонический гуд из простуженных динамиков, глухой металлический звук брошенных в мойку деталей мясорубки под сильным напором воды, передвижение усталого тела в тесном кухонном пространстве, обустроенном женщиной. Другиней. Так называл отец Блюма, женщин, состоявших в подобного рода отношениях с мужчинами.

(Мы такие декадансные отношения между полами, разумеется, не приветствуем, мы за отрывные календари, тяжелую мебель и совместный бег трусцой по утрам, но, зная, как порою не просто складываются судьбы людские, готовы поддержать и не такую еще связь.)

Блюм и Эмма встретились на поминках Наума Израилевича. Наум Ханин занимал должность главного редактора «Еврейской газеты», в которой Блюм, в течение нескольких лет, вел рубрику «Хронограф». Трудоемкую и малооплачиваемую, но зато пользующуюся успехом у подписчиков-пенсионеров.

Когда Эмма устроилась в «Еврейскую газету» подрабатывать корректором, Блюм уже вышел из состава газеты, а на месте рубрики «Хронограф» образовалась рубрика «Фонограф», которую вел сам Наум Израилевич, ценитель канторского пения и клезмерского искусства.

Блюм и Эмма могли бы встретиться раньше. Несколько раз Блюм заглядывал на старое место работы, всегда заранее предупреждая о своём визите. Пользуясь этими предупреждениями, Эмма ускользала от встреч с Блюмом: Ханин был значительно старше Эммы, болел, нуждался во внимании, и Эмма инстинктивно бежала случайных встреч с мужчинами. В особенности, с такими, как Блюм — много слышала о нем от Ханина: «Вадим большой оригинал и великий путаник по части женщин».

Эммино жертвоприношение длилось до того момента, пока по какому-то странному стечению обстоятельств не закрылась газета. Ханин остался не у дел и вскоре «скоропостижно скончался». По крайней мере, в кадише «Наум Ханин — отец “Еврейской газеты”», опубликованном в журнале «Шин/Бет» под псевдонимом Теодор Ермак и растиражированном практически всеми еврейскими новостными ресурсами, так и было написано: «Наум Ханин совершил два сенсационных поступка. Первый — скоропостижно скончался. 73-летний бизнесмен-миллионер, яхтсмен и мастер по ловле тунца, не проболевший за всю жизнь ни дня, вдруг рухнул на пол в своём кабинете и умер. Второй — составил завещание по

всем правилам юридического искусства. Никто не предполагал, что господин Ханин устроит после смерти такое грандиозное шоу».

Покинув стойло газеты, Блюм еврейских СМИ чурался, об этом событии мог и не узнать, если бы ему не позвонила бывший ответственный секретарь газеты Норочка: «Вадим, голубчик мой, вы так все на свете пропустите...»

«Пропустите» из уст восьмидесятилетней Норы Давидовны Шварц прозвучало одновременно и кощунственно, и кокетливо. Блюму даже неудобно стало перед Наумом. Он поблагодарил Норочку, заверил, что впредь будет внимательнее следить за общинной жизнью, и в следующий раз она его врасплох не застанет, по крайней мере, в отношении тех, кто из этой общинной жизни вывалился по уважительной причине.

Нет, конечно, Блюм предполагал, что в еврейском мире может произойти все, что угодно, но чтобы Ханин после смерти оказался бизнесменом и мультимиллионером, к тому же признанным мастером по ловле тунца, — это уж слишком.

Интересно, в каких водах ловил он тунца? Не в тех ли, которые омывают острова Бёклина?

Набравшись храбрости, Блюм позвонил одной из дочерей Наума, той, что жила в Москве. Дочь-москвичка, выслушав сбивчивое соболезнование, сообщила, куда именно и во сколько ему надлежит прибыть, если он хочет проводить старшего друга в последний путь.

Блюм на всякий случай прихватил с собою бархатную кипу, которой гордился и надевал на пасхальные седеры, но похороны оказались светскими.

О кипе Блюм забыл и вспомнил лишь утром, когда кончились сигареты, и он полез исследовать содержимое своих карманов.

В связи с публикацией кадиша ожидалось много народу, но, как это ни странно, людей пришло от силы человек двадцать, видимо, большинство все ж таки побоялось возможных эксцессов, быть может, даже большого скандала. Никто ведь не знал, что в том завещании,

которое оставил Ханин, и которое некий корпоративный юрист успел окрестить «русско-еврейской шуткой начала века».

Друзья и сослуживцы, прощаясь с Ханиным, вспоминали о нем, как о преданном товарище, верном отце, безукоризненном супруге и замечательном газетчике, каковых уже не делают, сняли с производства.

И вот, когда супруга Ханина, большая полная женщина с экономными чертами лица, поддерживаемая двумя дочерьми, начала потихонечку подвигать и раскачиваться из стороны в сторону, из той группы, что стояла справа от гроба, отделился широкоплечий джентльмен в тёмной полосатой тройке и в бабочке апельсинового цвета. Человек был абсолютно лыс и безбров. Он разом походил на Пабло Пикассо и Ами Аялона — «стража ворот», гордость израильских морских пехотинцев. Но более всего он был похож на Иефора Бака, у которого некоторое время назад Блюм с Ханиным брали в «Балчуге» интервью.

На одной руке человека висело сложенное кашемировое пальто, в другой руке Пикассо-Аялон, он же Иефор, нёс покоящемуся Ханину большой букет бордовых роз. Пожалуй, слишком свежих, слишком живых для такого случая.

Человек говорил с едва уловимым кавказским акцентом. Говорил о вещах, в головах скорбящих не укладывающихся. Кто из собравшихся мог бы поверить, что Наум Ханин, главный редактор «Еврейской газеты», помогал семье этого пожилого денди, когда тот мотал нехилый срок на Колыме? Кто бы мог поверить, что именно Наум помог этому франту после обустроиться и наладить свой гешефт не где-нибудь, а сразу в Лондоне; что, обладая острой деловой хваткой, — в этом месте все начали переглядываться, а Норочка чуть не уронила вставную челюсть — Ханин никогда не был скаредным, что, составленный из сплошных противоречий, он, образцовый атеист, веривший исключительно в черный квадрат Малевича, кинулся изучать сразу два арамейских языка, когда не на шутку увлёкся каббалой.

Тут уж легонечко вскрикнула жена, на всякий случай уже основательно напоенная корвалолом.

В своей речи незнакомец ещё пару минут раскручивал плотный свечной воздух мало кому известными свойствами отошедшего в мир иной Ханина, после чего вдруг схлопнулся, будто кто знак послал ему: «остановитесь, маэстро, будет вам!».

Человек развернулся, положил букет к ногам покойного, разделив его предварительно на две равные части, и ушёл. Блюм подумал, что так уходят гангстеры в голливудских фильмах.

Вскоре дали космического Баха, и Ханин уплыл от всех скорбящих и удивленных в полыхающее сопло.

После кладбища поехали в ресторан.

Так вышло, что колумнисты и работники газеты оказались за отдельным столом. Не удивительно, что их Натан не совсем походил на того Наума, о котором вспоминали за семейным столом и примыкающим к нему ещё одним, за которым оказались коллеги Наума Израилевича — оборонщики. (До развала СССР Наум работал в почтовом ящике, даже какое-то время служил парторгом.) Но эта информация уже для другого кадиша в другом издании.

Блюма усадили рядом с Эммой, напротив постоянно улыбающейся роскошными зубными протезами Норочки, салата оливье и водки «Русский стандарт».

Наблюдая одновременно за тремя столами, Блюм думал о том, сколько жизней проживает человек и переходит ли количество этих жизней в качество, зависит ли от прихотей судьбы? И какая из этих жизней останется в памяти потомков?

При нынешних возможностях СМИ можно сделать из дворника-таджика стратонавта, и наоборот.

Погрузиться в себя окончательно Блюму не позволила Эмма, ухаживавшая за ним.

Через некоторое время, когда опустело блюдо со знобливо подрагивающим холодцом, и кто-то неуверенно затынул на идише «Купите папиросы», Блюм и Эмма

задружились, а ещё через какое-то время, когда с подачи все той же Норы Давидовны началось карнавальное шествие скелетов эпохи «Советиш геймланд», ушли вместе под гэбистским Нориным прицелом.

Переместились Блюм с Эммой в кафешку на Тверской. Столик выбрали у окна. Пили кофе. Никуда не торопились. Никого никто не ждал. Высказав своё мнение по поводу внезапно появившегося на похоронах лысого франта, нёсшего ахиною, Эмма поведала Блюму о том, что давно состоит в разводе, что дочь, восточная красавица, у неё славист, недавно уехала в Швецию и теперь преподаёт там в каком-то «приличном» университете.

— Подумать только, у них социализм, самый что ни на есть настоящий, с бюрократией, которая нашей фору даст.

Эмма ждала от Блюма встречных откровений, но Блюм вместо того нарушил правила хорошего тона:

— Вы случайно не знаете, почему закрыли газету? То есть, я хочу сказать, у вас уже сложилась своя версия произошедшего? — спросил, он, хотя догадывался, что версия Эммы не совпадёт с его версией: Блюм был почти уверен, что это каким-то образом связано с тем интервью, которое они брали совместно с Ханиным у Иефора Бака по поводу выставки К. Классика.

Взглянув на дно кофейной чашки и улыбнувшись про себя открывшейся ей одной бездне, Эмма небрежно бросила:

— Политика, политики, ну и нервы, конечно, нервы, как же без них.

И на всякий случай поспешила добавить: — Должно быть так... А вы что думаете?

Тогда Блюм рассказал ей немного из того, что знал. Составляя на глазах у Эммы свой пазл, он даже поведал ей и то, что его, Блюма, прочили на место Наума, потому как сам Наум считал Блюма единственным преемником, полагая, что именно он может придать каждому газетному развороту тот лоск, о котором эстет-коллекционер и неисправимый атеист Ханин лишь мечтал.

— Отчего же вы не согласились в таком случае? — Эмма с трудом удержалась от ядовитой улыбки.

— Оттого, что это совершенно не моё — еженедельная газета. Оттого, что прекрасно знал, каково Науму было между «Музеем евреев в рассеянии» и Вавилонским Талмудом.

Раскосые глаза Эммы вспыхнули, погасли и снова вспыхнули. Ему даже показалось, что она слегка прищурила один глаз, чтобы одним разом не испепелить всего Блюма.

— Вадим Леонидович, а я не расстрою ваших планов, если приглашу к себе? Как вы, если прямо сейчас? Хочу кое-что показать. Так сказать, из домашней коллекции на интересующую вас тему.

— Какие планы, о чем вы, Марта? — Блюм подозвал официанта и попросил счет.

— Меня пока ещё зовут Эммой...

— Простите, я не хотел вас обидеть.

— Под чужими именами жить удобно разве что агентам спецслужб, — Эмма снова зажгла один глаз.

Едва они оказались на морозном воздухе, как Эмма поймала такси. Произошло это столь стремительно, что у Блюма появились основания полагать, что их давно поджидали.

Эмма дорогой молчала, словно боялась расплескать что-то в себе. Блюм молчанию её активно потакал: чувствовал себя усталым, чего с ним давно не случалось. «Давление, что ли, пониженное?»

Раз он чуть даже не задремал.

— Вадим Леонидович, не все так ласково кругом.

— Вы думаете, мир только прикидывается круглым?

— Именно, — она отвернулась от него.

«Обиделась», — решил он, но разворачивать ситуацию в обратную сторону не захотел.

Ну, вот и все. Собственно говоря, с этого момента, с этого самого случая господин Блюм и стал нам интересен, а не с выставки К. Классика в Бахметьевском гараже, как считают сам К. Классик и, между прочим, сам Блюм.

Мы знаем, что Блюм знает о нас, мы даже знаем, что именно он знает о нас. Но нам, право же, смешно от того, что этот во всех смыслах интересный и чрезвычайно симпатичный нам человек, для полного составления судьбы которого не хватает лишь малой коррекции, всерьёз полагает, будто мы прослушиваем его телефон, будто мы перетряхиваем его почту на «Рамблере» и «Джимейле», будто мы следим за ним в социальных сетях.

Ну так и хочется выйти из укрытия: «Вадим Леонидович, друг вы наш сердечный, за кого вы нас принимаете, в самом деле?!»

Мы даже пытались воздействовать на Блюма через Эмму, но бесполезно. Он и помыслить не может, что есть иные способы добычи информации и безопасного её хранения.

Тут мы, простите, должны прерваться: непредвиденное обстоятельства.

Самолёт вошёл над Альпами в зону повышенной турбулентности, пилоту пришлось сменить эшелон, подняться выше, хотя, казалось бы, куда ещё выше-то, и потом... Стюардесса, ну, та самая, помните, полненькая с ямочками на щеках, пролила-таки кофе на нашего Блюма. Кофе, ясное дело, не растительное масло, но все-таки...

Вот и Блюму очень, очень стало жаль свои новые джинсы. И надо же, на самом видном месте пятно образовалось — прямо на колене. Блюм хотел было возмутиться, но тут увидел испуганные глаза стюардессы, заметил, как её лицо из взрослого в детское превратилось. Решил, что возмущаться не стоит, просто нахмурил брови и положил на колено салфетку, которой его сразу же обеспечила стюардесса.

Остались позади альпийские вершины. Трясти стало заметно меньше. Лётчики опустили на несколько этажей ниже, ещё ниже... Пробилось из-за темно-фиолетовых клубов, показалось море...

Мы ненадолго вернёмся в Блюмово прошлое, чтобы успеть до Барселоны покончить с ним.

Блюм устранился из всех групп и сообществ. Сначала удалил свой аккаунт в «Фейсбуке», понимая, конечно, что удаление аккаунта не гарантирует, что все бесследно исчезнет. Потом проделал то же самое «ВКонтакте», после чего закрыл два своих почтовых ящика и открыл один новый на «Яху».

Затем Блюм обзавёлся простеньким «самсунгом» без модема и сменил сим-карту. Что ещё он мог сделать, наш Блюм? Какую предосторожность ещё проявить? Совсем залечь на дно? Но разве возможно такое, пока мы здесь? Мы ведь с любого дна поднимем.

Короче, после той встречи, после всего того, что произошло между Блюмом и Эммой... (Ах, как это у них произошло!.. Бедные соседи.)

После того, как Эмма показала Блюму конверт и его содержимое, Блюм кинулся искать недвижимость в Испании. (Да, этот взрослый, умудрённый жизненным опытом человек, поверил нам, что именно в Испании ждёт его личное счастье в сочетании с творческим успехом, не придав значения тому, что составлено оно будет в завершающей стадии его жизни.)

Тому немало способствовало и положение в стране. Россия — край хорового пения, а для хора индивидуальные качества не так уж и важны, важно все то, что навеивает сон и готовит «я» к забвению.

Поиски недвижимости стали для Блюма своего рода развлечением. С первого же клика открылось достаточно приличных сайтов на «Ютубе». Подкупало его то, что сняты они были русскими в Испании и без помощи кинематографистов, из чего наш Блюм сделал незамедлительный вывод, что предложения превышают спрос. В пользу этого вывода также говорило и то, что эти мануфактурные сайты обновлялись не слишком часто. Купить дома и квартиры предлагали с размахом и по всей Испании. Но скромного Блюма интересовали лишь Валенсия и Каталония. Это обстоятельство значительно сузило поиск.

«Здравствуйте! — улыбка во все лицо, носик вздернутый, в глазах успокоившиеся уже бесенята, угадывается муж-испанец-альфа-самец. — Меня зовут Маргарита Старосельская». — Муж испанец, а фамилию не сменила. Что бы это значило? Может, она вообще не замужем, или он так себе укротитель бесенят? Шум моря, полуденное солнце и небо удивительной синевы, без единого облачка. — «Мы продаем квартиры на побережье Коста-Бланки...»

Замечательно!.. А дальше обворожительная брюнетка, весьма привлекательных форм, демонстрирует рай, который в самое ближайшее время может принадлежать Блюму. И кажется, что Маргарита, эта длинноногая загорелая, а самое главное — уже незамужняя женщина, — Блюм тут же представил себе её сельскохозяйственные угодья под аккуратным животиком, и сердце его забило по-комсомольски, — перейдёт в этот рай вместе с белыми стенами, белой провансальской кухней, вместе с красным баннным полотенцем, которое сейчас висит в ванной комнате. Она обернётся в него после того, как этот рай станет окончательно Блюмовым.

Маргарита, ах, Маргарита!..

Но Маргарита не одна, на другом сайте владычествует некая Наталья. Волосы у Натальи туго забраны в пучок, покатый лоб, именно такой, какие всегда восхищали Блюма, открыт, вот только голос у неё слишком грубый, слишком с хрипотцой, какой-то не русской уже: «Приезжайте в Испанию, к нам на побережье, я буду рада вам помочь, — говорит Наталья почему-то в детской спальне, где все уже приготовлено для крепкого сна наследников рая. — До встречи в Испании! — и ручкой машет, и звон браслетов аж в Москве слышен. — Подпишитесь на наш канал».

Цена за рай от ста двадцати тысяч евро. И Блюм мучительно переводит вышеозначенную сумму сначала в доллары, затем в рубли.

Блюм считает. Блюм делает выводы. Пока что неутешительные. Потому не подписывается, не решается

никак. А тут ещё Эмма подходит. Ну не захлопывать же крышку ноутбука, в самом деле.

Эмма встаёт за спиной у Блюма и кладёт ему руку на плечо. Жест, поощряющий ученика. Блюм слышит её дыхание, чувствует её тепло, подмышечный дух и ему становится немного не по себе за недавние свои мысли.

— Готовишь побег? — она нагибается, она тычется носом в его затылок. — Предаёшь, значит?

— Сама ведь знаешь, не предаю. Ждать буду.

— От того и будешь ждать, что знаешь — не приеду.

— Не знаю я этого, и ты не знаешь.

— Пусть так. Только не заводись.

— А что, я завожусь?

— Сам не видишь? Послушай-ка, а ты помнишь, в нашей газете из номера в номер публиковалась реклама агентства недвижимости, как его?.. — она щелкнула пальцами, сетуя на память. - А, ладно, потом вспомню, не суть. Так вот. Хозяйка его, грузинская еврейка, была в приятельских отношениях с Наумом. Она ведь недвижимостью не только в России занималась. За испанский сектор отвечала некая Кларисса, у меня где-то и визитка её осталась, надо только поискать. Всяко лучше будет твоих ютубовых лахудр.

Через некоторое время Блюм связался с московским агентством недвижимости «Михаэль» и без особого труда вышел через них на испанское подразделение «Adiiberia», представитель которого заявил, что вид на жительство в Испании через недвижимость или «золотую» визу инвестора потребует много времени на сбор и перевод различных справок, выписок и тому подобное, но компания «Adiiberia» готова избавить его от ненужных хлопот и помочь пройти все этапы на пути получения и продления визовых документов.

— Это все замечательно, но у меня особый случай...

— Что значит «особый случай»? — напряглась молоденькая барышня в «Adiiberia».

— Я иду по завещанию...

— Нет проблем, мы работаем и по завещанию.

— Но оно довольно хитро составлено...

— У нас прекрасные юристы.

— Могли бы вы для начала связать меня с самым лучшим вашим агентом?

— Без проблем. Ее зовут Кларисса, она ответственная за испанский сектор. Записывайте контакты. Если возникнут какие-то сложности, можете обратиться и к юристам из «Михаэля», мы работаем практически вместе,

Блюм, услышав имя Кларисса, вздохнув с облегчением, записал ее контакты: какая же все-таки Эмма умница.

II

Еще в аэропорту Барселоны он перевел стрелки часов на своём ивритском циферблате на три часа назад. Теперь время тикало по-испански, без той слепой московской гонки, к которой он так привык.

В кафе «Канapé» он должен поспеть к одиннадцати тридцати (по испанскому времени). От Барселоны до Калельи чуть меньше часа — справочники обещают пятьдесят минут — но ему надо добраться ещё до барселонского вокзала, купить билет, приехать в Калелью и от тамошнего вокзала, вернее, вокзальчика, идти минут десять... Кларисса так сказала: «Из вокзала выходите и идете все время прямо, прямо, не спеша — минут пять в противоположную приходу поезда сторону. По левую вашу руку будут железная дорога, рамбла и море. Пройдете дом 33, потом свернете направо в тихую улочку. Если свернете не в том месте, ничего страшного, все равно выйдете на центральную улицу. Называется она — улица Иглесия. Я думаю, вы не забудете, помните, певец такой еще был, модный в восьмидесятых, Хулио Иглесиас?» — и напела фрагмент песни, с которой его мать начинала почти каждое утро, проносясь из кухни в гостиную и обратно. (Конечно, он не забудет. Разве можно такое забыть?)

Разумнее всего было бы купить билет на несколько поездок, но сейчас, в его положении, делать этого не стоило. Барселона с ее рамблой и множеством небольших кафе на Площади диагонали, которую он так любил, подождет. А вот до Дома масок Гауди меньше пяти минут

ходу. Он подойдёт к Дому масок, поприветствует его, он сядет на знаменитую скамейку подле этого дома, он закурит, откупорит фляжку вискаря, купленного в бесплошной зоне, и выпьет за новую жизнь, за испанскую жизнь. За косяки спующих на скутерах барселонцев, за палую листву под ногами, за кусочек того хрустящего багета с хамоном, который сам приготовит у себя дома. Да что там, он даже зайдёт в магазин «Эппл» на площади Каталонии и купит «шестерку» в шестнадцать гигов. А Кларисса поможет ему разобраться с симкой.

На площади Каталонии оказался удобный транспортный узел, можно было легко пересестъ из городского метро на региональные поезда. Однако прежде он сходил в туристический офис за бесплатными картами-распечатками и информацией. Но карту предпочел купить в магазинчике подземки, показалось, что она много понятнее, чем те, которые ему предлагали наверху.

Молодая женщина в коротком красном пальто стояла неподалеку от него на перроне. Он украдкой смотрел на нее: искал каталонские черты. Женщина то и дело взглядывала на свои часики, как это делали женщины в Крайнестане — в том приморском городе, в котором Блюм имел счастье родиться — когда чувствовали на себе мужской взгляд. Черные замшевые сапоги доходили ей ровно до колен и как-то по-особенному подчеркивали красоту ног. Сильных, но при этом плавно очерченных.

Его удивило, с каким достоинством она держалась.

Один раз женщина даже посмотрела на него так, будто он покушался на её свободу. Не было сомнений, что именно свобода была религией этой добропорядочной женщины, и так же несомненно было, что чувство это в ней прививалось с детства, и оно не было особой фамильной чертой, а было тем духовным основанием, которое скрепляло, похоже, всех каталонцев.

Отвернувшись, мужчина решил, что сядет в вагоне неподалеку от неё, чтобы её присутствие скрасило дорогу, чтобы она, сама того не подозревая, стала здешним оберегом, мерой каталонской земли, кусочка которой он

станет обладателем через несколько часов. Но женщина, словно почувствовав его намерение, поспешила на другой конец платформы, там было больше народу. И ему ничего не оставалось, как лишь проводить ее взглядом. Он почему-то смотрел ей вослед так, как если бы она была той, с которой он не простился перед отъездом из Москвы.

Поезд шёл все время вдоль моря, и вид его, к вящей радости Блюма, больше волновал, нежели язвил.

Море казалось необузданным, даже как-то не верилось, что оно может быть таким, как на туристических проспектах, поддерживать общую картину рая для туристов. Ни судна вдали, ни паруса, который мог бы стать судьей горизонту. Где-то выглядывают буйки оранжевые, и все. Только море и небо. Серое, бесцветное. От московского оно отличалось лишь тем, что было акварельно прозрачным. Местами скалистый берег срывался круто вниз, к черным острым хребтам, резко выступавшим из кипевшего моря.

В этот час из Барселоны в направлении Бланеса народу ехало немного, поезда же в обратную сторону шли переполненные.

«На работу все едут в Барселону, так, что ли? — отметил про себя мужчина, — Как в Москву из Подмосковья, что ли? Вот она, безрадостная изнанка жизни. К этому ты стремился? Что ж, привыкай теперь».

Расстояния между остановками были небольшие, и низкий с хрипотцой женский голос объявлял жизнеутверждающе следующие станции: «*proxima parada, proxima parada...*»

«Как он говорит?.. Проксимо, Проксимус вы наш. Выходит, я к ним ближайший, ближе они, конечно, никого не нашли? И чем я им так приглянулся?» — мужчина достал фляжку, отхлебнул из неё. Две аккуратненькие школьницы посмотрели на него так, будто он совершал какое-то действие, противоречащее правилам испанской игры.

После последнего глотка Блюм втянул ноздрями запах вагона. Внутри него разлилось тепло, и ему захотелось спать. Чтобы не уснуть, он вперился в окно.

Пролетавшие мимо картинки больше скрывали, нежели делились тем сокровенным, что чаял он найти, чтобы навсегда решить задачу, — сложить здесь свою жизнь окончательно. Аккуратненькие домики и виллы от станции к станции. Заботливо подстриженные газоны. Благородные пинии. Яхт-клуб. Тренировочный бассейн для сёрфинга. Дороги с безупречными поворотами, утопающими в желто-красной листве, неширокие пешеходные переходы с низкорослыми светофорами...

Зелёный человечек, красный человечек, и оба — вне времени и истории. А меж ними желтое ожидание, как увядание — жизнь между...

«Между шагом вперёд и топтанием на месте? Почему всегда так, один остаётся, другой идёт, спешит в неизвестное? И кто из них прав?

Интересно, на какой станции сойдет эта женщина? Надо полагать, в Жироне... она очень идёт этому городу. Быть может, она даже торопится в еврейский квартал...

Интересно, что там делает сейчас Эмма?»

Должно быть, закрывает за собой дверь или уже стоит в ожидании лифта. Тоже ведь жизнь между... Между ним, олицетворяющим собою прошлое и кем-то, кто займёт его место, если уже не занял.

О, как хотелось ему, чтобы Эмма была счастлива, не думала о нем, не проклинала. Но разве Эмма способна на проклятия. Да и что плохого, собственно говоря, он сделал Эмме? Никаких обещаний не давал. Просто встретились два одиночества, как в песне, встретились, да разбежались. А интересно, как бы эту песню спел Иглесиас, наверное, не хуже Кикабидзе.

Старенький «рено» с черными шашечками по бело-желтому боку припарковался возле стены, выложенной из дикого камня. Из автомобиля вышел невысокий мужчина. Несмотря на возраст — ему можно было дать от сорока до пятидесяти — линялые джинсы, темная клетчатая рубашка, кеды на босу ногу.

Он расплатился с водителем, достал сумку с ноутбуком и черный рюкзак с заднего сидения, лениво закинул на плечо. Крутолобый, коротко стриженный, с хорошо отделанными бутлегерскими усами.

Только сделал несколько шагов по направлению к кафе, как со стороны моря подул ветерок, точно знак какой подал.

«Должно быть, в такие мгновения следует почтительно обернуться к морю, к ветру, чтобы в венах пробудилась, потекла без заминок берложья кровь».

Затрепетал полосатый навес, и с угла потекли остатки вчерашнего дождя.

Мужчина обогнул струйку воды, бившую о металлический столик.

Уборщица медленно подняла опрокинутое декоративное деревце и, злясь на голубей, раздвижную стремянку и кабельный провод, принялась совком собирать просыпавшуюся из кадки землю.

Глядя на нее, мужчина почему-то подумал, что люди стали жить как-то очень мелко, какими-то маленькими кусочками: «Мы едим мелко, мы спим мелко, мы мелко занимаемся любовью... Нам не хватает обстоятельности, мы перестали верить в собственную значимость. Может, именно поэтому так устаем от самих себя».

Он уже перестал обращать внимание на эту свою новую привычку: как только начинал думать о себе, почему-то переходил на «мы»...

Когда началось это босховское столпотворение в его жизни? В Москве? У Эммы? Тогда, в раннем детстве, когда глядя на картину с изображением раввина, запихивался манной кашей и рыбьим жиром только потому, что боялся этого бородача? Или, когда заглянул за прадедовское венецианское зеркало, обнаружив там жёлтый листочек, сложенный вдвое, с какими-то хитрыми квадратными буквами? И это зеркало, и эти буквы породили в нем, ребенке, то сковывающее чувство страха, от которого он пытался избавиться годы и годы.

— Испытывающий страх может возвращать его против своей воли сколь угодно долго, и если он не выявит истоки

его возникновения, страх может привести несчастного к полному распаду личности, — заявил ему однажды тибетский лекарь, с которым его свела третья жена, в надежде предотвратить развод. — С другой стороны, — продолжал тибетец, — это химическое состояние определяет путь к тем тайным основам бытия, о существовании которых мы лишь догадываемся, но с помощью которых отводим от себя удары судьбы.

Мужчина в клетчатой рубашке и в полукедах на босу ногу сидел и смотрел на улицу, вспоминая, как звали того самого тибетца, открывшего маленькую клинику на большом Ленинском проспекте. Как бы ни звали его, он тогда здорово ему помог, этот тибетец, своими наставлениями и горькими шариками-пилюлями.

Мужчина медленно пил свой кофе, медленно курил и смотрел на улицу, как смотрят люди, которые кого-то ждут, которые всю жизнь чего-то ждут. Рядом с ним на стуле лежал прирученным зверем черный кожаный рюкзак. Застывший, не то очарованный, не то слегка отупевший. Застывший и отупевший, возможно, потому, что ночью практически не спал: самолет прилетел под утро, но, возможно, еще и потому, что думал об Эмме, о том, что говорил его любимый Овидий в «Науке любви»: «...у зрелой женщины сладострастие подобно спелому плоду».

Да, прав Овидий, мужчины привыкают к красоте своих жен, забывают, что заключительная фаза коитуса по сути является смертью, в крайнем случае — заслуженным сном. Они забывают воздать должное жертвоприношением, потому и спят как бы понарошку, живут понарошку и умирают с недоумением на лице вместо улыбки, не понимая, что их отправляют напрямиком к месту рождения.

Он потянулся ко второй сигарете, но пачка оказалась пустой. Порылся в рюкзаке, но не нашёл сигарет, зато нащупал пустую фляжку, от которой не получилось избавиться в поезде.

Ставить на столик? Нехорошо — пустая ведь, не к добру будет. Ставить под столик? А поймут ли его испанцы? Ну, вот тот бармен хотя бы?

Бармен, в котором без труда угадывался человек с тугой душой и нелегким нравом, медленно протирает фужеры, разглядывал их на свету. Иногда он поднимал голову к потолку, будто пытался вспомнить что-то из вчерашнего дня. Заметив, как мужчина мучается со стекляшкой, сказал что-то двум молоденьким официанткам.

Официантки стояли у барной стойки. Крашенная что-то говорила своей товарке, отбивая ритм пустым подносом по коленке. Она была уверена, что никто, кроме подруги, уборщицы и бармена не слышит ее, а если слышит, не понимает ни слова.

Крашенная подошла к мужчине, взяла из его руки пустую фляжку, улыбнулась и поставила на поднос, посмотрела в сторону, как вошла невысокая женщина в черных очках.

Женщина только остановилась, окидывая взглядом залу, а от нее уже потянулся шлейф дорогих холодных духов и повеяло каким-то напряжением.

Бармен тоже заметил вошедшую, поклонился ей, по-видимому, он знал, кто она.

Женщина в черной джинсовой куртке заметила мужчину, сидящего у окна в компании рюкзака.

— Так вот вы какой, Вадим Леонидыч!.. — она сняла очки.

— Добрый день, Кларисса. Вероятно, «скайп» искажал черты моего лица.

— Я заметила, все мои клиенты, прилетев в Испанию, становятся другими. Через год, ручаюсь, вы не узнаете сами себя. Вы не очень торопитесь, не устали?

— Куда мне теперь торопиться? Кофе с круасанами?..

— Кофе, пожалуйста. Американский. Без молока.

Он заказал у крашеной официантки кофе и попросил две пачки черного «Честерфилда».

— Так вы, действительно, без вещей?

— К чему мне было шутить. Что нажил, уместилось здесь, — он похлопал по рюкзаку.

Кларисса начала сходу, не дожидаясь, пока принесут кофе:

— Я живу в Барселоне много лет, скоро семнадцать будет. — Достала длинную коричневую сигарету, предложила и Блюму, но он только любезно чиркнул зажигалкой. — Премного мерси вам. Хотела бы поделиться относительно своих впечатлений от жизни наших эмигрантов в Испании, поскольку достаточно видела высказываний в блогах о том, что Испания-де страна, в которой все эмигранты живут плохо.

— Что ж вы мне об этом не сказали раньше, когда я ещё в Москве был?

— Не сказала, потому что это далеко не так. Кстати, вы можете называть меня просто Лара. — Блюм кивнул головой так, словно только что повстречал её на улице. — Видите ли, все зависит от личных качеств человека, от его физических и умственных способностей, но главное — от воли.

«Неужели», — захотелось сказать Блюму.

— Вот вы, вы себя считаете волевым человеком?

— Я не знаю, в жизни разное бывало, и я бывал разным...

— То есть, хотите сказать, что подстраиваетесь под обстоятельства?

— Вовсе нет.

— У меня такое впечатление, что вас что-то гнетёт.

— Видите ли, Лара, я только что прилетел в другую страну на ПМЖ и, оказывается, ничего толком о ней не знаю...

Бармен сделал погромче радио: «You give your hand to me. And then you say hello...» — выводил приятный тенор, совсем не так, как это делал Рэй Чарльз. Мистер Чарльз пел, как черный, а этот был явно белым и предпочитал стиль великой Америки.

— Невозможно сказать, что все мы здесь живем прекрасно. Нет, конечно. Есть люди, которые, живя здесь много лет, не могут выучить испанский язык. Как жить здесь, не зная испанского языка?

Блюм хотел было включиться, но ответственная за кусочек каталонской земли не позволила ему взять слово.

— Нельзя просто приехать в страну и ничего не делать, рассчитывая на то, что тебе кто-то что-то поднесёт на блюдечке.

Блюм кивнул, а что ему ещё оставалось? В конце концов, искусством слушать и не слышать Блюм владел в совершенстве.

— Я получаю огромное количество писем, — она вдавила сигарету в пепельницу, — Все хотят узнать, как лучше здесь устроиться.

Блюм вздохнул: для того, чтобы хорошо слушать и не слышать, нужно о чем-то думать, желательно, о чем-то важном, а о важном думать не хотелось, о важном думать было страшно.

— Не огорчайтесь, на какие-то вопросы я готова ответить, с удовольствием, — она положила свою руку на его руку.

В этот момент Блюм обратил внимание на её пальцы. Их можно было бы назвать серебряными, столько на них было серебра.

Принесли кофе.

— Какие они все неспешные!.. Их бы в Москву, на повышение квалификации.

— Это вы только что из Москвы, потому вам так кажется.

— Вы думаете?

— Я в этом уверена. Понимаю тех, кто из нее бежит.

«Бежит?» Он и не думал, что убегает, что кому-то так может показаться.

— Очень много людей хотят купить здесь недвижимость, вписаться в здешнюю жизнь. Я могу вам сказать смело, не бойтесь никого и ничего...

— Премного мерси, — Лара не поняла шутки. И вообще вся её речь была словно записанной на каком-то аудиоустройстве. — Эмигрант - это особый человек, согласны?

Он кивнул.

— Это не квартирант по жизни.

— Я вас понимаю, вы только не горячитесь так...

— Воля - это то, что в избытке у нас, россиян.

— Вы так полагаете?

— А вы нет? Разве россиян не воспитывали годами жить так, чтобы труд был основой всего?

«О Господи, — подумал Блюм, — и за что это мне?!»

— Я могу вам сказать однозначно, здесь жизнь, безусловно, легче, в том смысле, что поспокойней будет, чем в России... Спасибо, я без сахара.

— А русская мафия?

— Простите, конечно, но кому вы нужны? Вы знаете, какие люди сюда из России приезжают, с какими деньгами?

— Простите, конечно, но меня мало интересуют чужие деньги и чужие постели.

В ответ Лара начала говорить о том, что здесь, в Испании, государство беспокоится об эмигрантах, вообще беспокоится обо всех, что Испания — самая демократичная страна в Европе, а понятие «конституционная монархия» — само по себе достаточно сложное и традиционно вызывающее улыбки у россиян — здесь представляется единственно верной формой бытования.

— Если вы уже здесь, а вы уже здесь, вы должны понимать, на что будете жить. В Испании большой процент безработицы, это факт, но это отдельная тема, в которой много нюансов. Я думаю, наше знакомство на этом не прервётся. Во всяком случае, я своих клиентов не оставляю никогда... И у нас еще будет время разобраться... Ну, я смотрю, вам не терпится взглянуть на дом. Ведь я права? Тогда вперёд! Курточку-то застегните... Эта часть Испании дождливая... Если я сегодня утром вышла налегке, к вечеру могу ходить в куртке и мерзнуть. Хотя температура ниже нуля редко опускается. Почему вы смеётесь?

— Из вас получилась бы отличная «хозяйка погоды», знаете, из тех, что комментируют циклоны по телевидению...

— Вообще-то я больше по земле специалист, если хотите, землемер, так сказать, отвечаю за пространство, за конкретное пространство...

— Кто же в вашей конторе отвечает за время? — Блюму показалось странным, что шли они в ту сторону, откуда он пришёл.

— Не стоит торопить события.

— Вы полагаете? — впереди ни души, Блюм посмотрел назад. Позади пожилая дама вышла из дома с серой борзой. Всё. Но Блюму показалось мало этого взгляда назад, и он начал разглядывать окна по одну и по другую сторону улицы.

— Что это с вами? Кого-то потеряли?

— Дорогу запоминаю.

— О, здесь тяжело даже пьяному заблудиться. Я считаю, что самое главное - чувствовать себя гражданином мира вне зависимости от того, где ты находишься... — не унималась Кларисса, — нет ничего плохого в том, что человек хочет жить там, где ему комфортно, где его радуют окружающие...

Они вышли на первую линию.

Блюм молчал.

— Когда я переезжала в Испанию, никому ничего не говорила. Вы никому не говорили, что уезжаете?

— Нет, — сказал Блюм и вновь обернулся, посмотрел назад.

— Что это вы все оборачиваетесь? Отпустите прошлое. Какие у вас интересные часы... Буквы вместо цифр?

— Буквы еврейского алфавита. Аддитивная система. Евреи в качестве цифр используют буквы. Ну, насколько это сегодня возможно.

— И где такие интересные часы продают?

— Меня уверяли, что это спецзаказ, буквы в стиле эпохи Ирода, а вообще — израильская работа.

— Простите, что задаю этот вопрос?..

— Да, я — еврей. Светский, правда.

— Здесь, в Испании, много евреев. И светских много, и соблюдающих. А вы уже были в Жироне? — спросила она, с той характерной интонацией, каковую почему-то принято приписывать одесситам советских времён. — Простите, я

забыла, вы же в Испании не в первый раз... Вот и наш, вернее, ваш дом!

Блюм остановился: «Дом!.. Мой дом?!.. Так я же мимо него проходил». Проходить-то проходил, верно, да только при этом не обратил никакого внимания на дом.

Двухэтажное строение начала прошлого века, с виду очень скромное.

— Там, наверное, уже прибрались и ожидают нового хозяина. Заходим?

— Да, заходим.

— Ну, тогда после вас, Вадим Леонидович, — и она позвонила в колокольчик.

Блюму показалось, что спел он: «Блюм-блюм...»

Колокольчик оказался довольно звонким, его не смогла заглушить даже проходившая мимо электричка. Внизу по самому краю колокольчика было что-то выгравировано, и Блюм поинтересовался, что означает эта надпись.

— Ну... — помедлила Кларисса. — Это можно перевести как: «Кто толкает время, того время выталкивает».

— А...

Когда открылась дверь и он увидел на пороге эту женщину, ему едва удалось справиться с собой. Под ложечкой сдавило, как в школьные годы, когда его сажали за одну парту с Джамилей, самой красивой девочкой в Крайнестане.

Женщина же, напротив, удивления не выказала. И Блюму это показалось в высшей степени странным. Блюм даже не знал, как и с чем сие обстоятельство связать, чтобы оно стало звеном в цепи. А тут она ещё ему с улыбочкой такой на чистейшем русском и низким испанским голосом:

— Добро пожаловать в замок, Вадим Леонидович...

Блюм почувствовал, что сопротивление бессмысленно, впрочем, не только сопротивление. Бессмысленным в то мгновение Блюму показалось абсолютно все.

III

То, что теперешней хозяйкой дома по документам являлась некая Зара Зильберман, Блюм, конечно, не знать не мог, знал он и, что по профессии хозяйка дома психолог, более того — автор нескольких цитируемых в узкой профессиональной среде монографий, но предположить, что ею окажется та самая молодая женщина, которой он украдкой любовался на перроне, с которой минута в минуту прибыл в Калелью, Блюм никак не мог. Не предполагал он и того, что у психолога Зары Зильберман, специализирующейся на проблемах памяти, окажутся такие вот непроницаемые, такие ко всему безучастные холодные глаза.

(Не исключено, что Блюму нашему все же так показалось. На перроне в Барселоне он ведь даже не обратил внимание на то, что она в очках, что стекла их подернуты холодноватой фиолетовой дымкой.)

«Очки — это хорошо, — убаюкивал себя Блюм, — и то, что глаза у неё цвета апрельского неба, — тоже хорошо, и то, что хозяйкой дома оказалась она, а не какая-нибудь стервозная прокуренная сеньора. Просто я не ожидал, что имя Зара может носить такая недовоплощенная, такая хрупкая и томная особа, разумеется, потому и...»

Домыслить до конца Блюму не позволила Зара, принявшаяся извиняться за то, что не все вещи успела вывести из дома. (От себя добавим, извинялась она так, что виноватым почему-то выходил Блюм, во все годы ошибавшийся в женщинах, в особенности в тех, с кем суждено ему было сойтись на длительный срок. Пропустил он и определенный знак, таившийся в её извинениях, который бы не ускользнул от личности менее доверчивой. Не до того Блюму сейчас, Блюм всецело поглощён тем, как выглядит в глазах Лары и Зары. В особенности — Зары.)

— Что теперь делать? — обратилась Зара к Ларе. — Не станем же мы откладывать сделку?

— Разумеется. Из-за этого сделок не откладывают. По крайней мере, порядочные люди. Составим описание. От руки. На английском и русском. — Лара улыбалась. Похоже, ей

вообще нравилось улыбаться. — Распишитесь под нею, Вадим Леонидович тоже распишется... какие проблемы? — Блюм с Зарой закивали согласно, но Блюм притом натянуто улыбнулся. Лара почувствовала пробежавшее краем недоверие клиента, и ей это не понравилось. — Насколько ценные предметы остались, и как скоро вы намерены их забрать?

— Насколько ценные, сказать не могу. Вы же понимаете, все зависит от того, кто оценивает. Забрать намерена по возвращению из Мадрида.

— Ничего страшного... Я распишусь, где нужно... — Блюм дал задний ход. Создавалось впечатление, будто его, пусть и не с первой попытки, все же подкинули в небо, и то, что он «на всякий случай» — пересчитал коробки, стоявшие в коридоре: четыре внизу, четыре — наверху, ровным счётом ничего не значило — Блюм уже оседлал понравившееся ему облачко, и на происходящее теперь поглядывал как бы сверху. Что не могло скрыться от такого специалиста, как Лара:

— Зара, я несу ответственность за своего клиента и не хотела бы...

— О нет, о чем вы, ваш клиент может быть спокоен.

— Ну, положим, абсолютно спокойным он быть не может.

У Блюма заколотилось сердце, поехала голова, в результате чего он совершил экстренную посадку.

— Если вы думаете... — уже обиделась психолог.

— ...Нет, мы ни о чем таком не думаем, правда ведь, Вадим Леонидович?

— ... Бриллиантовое кольцо я уже вывезла...

— Колье? Какое кольцо? — Блюм выставил вперёд челюсть, что чрезвычайно не шло ему, ссутулился и тут же постарел: когда Блюм бывал на первых этажах, чувство юмора не числилось среди его достоинств.

— О!.. Я шучу... Проходите, тут кухня.

— Зар-р-а-а, я по «скайпу» дом показывала...

— Да, я успел даже в подвал заглянуть....

— Значит, вы даже в подвал успели заглянуть. Ну, так то ведь по «скайпу». Плиту я вам тоже оставлю, между прочим, совершенно новая. Не понравится, выбросите...

Помимо плиты, в кухне оставались круглый стеклянный стол на сверкающих металлических ножках, пара стульев к нему и человек у окна.

Спина человека тянула на шестьдесят, была в твидовый клетке, ноги в синем бостоне, а совершенно лысая голова сидела на моложавой цирковой шее. Когда человек повернулся, Блюму захотелось бежать. От постыдного бегства его удерживало лишь то, что подле него стояла Зара.

Сомнений быть не могло, человеком у окна оказался Иефор Бак. Только сейчас он скорее напоминал Владимира Владимировича Познера, нежели Пабло Пикассо или Ами Аялона.

В зубах Ифочка держал породистую пешеходную трубку, казавшуюся потухшей навеки.

Из первого ступора Блюма вывела Кларисса, она же ввела во второй и, похоже, намеренно:

— Прошу любить и жаловать, наш коммерческий и административный директор — Хуан Карлос Слободски. Один из лучших юристов Каталонии. Хуан из Аргентины, прекрасно говорит по-русски, — она сказала это так, будто половина аргентинцев только и делает, что прекрасно говорит по-русски. — В Испании вообще много аргентинцев.

— Да и русских хватает.

Господин Слободски добыл из прошлого века два грушевых синих облачка и послал за ними вдогонку свою поблескивающую голову.

Пока Блюм соображал, как будет по-английски: «Кажется, мы с вами где-то встречались», пропустив мимо ушей то, что сказала Лара, господин Слободски водрузил на стол тяжелый кейс, щелкнул сверкающими цифровыми замками, но открывать почему-то повременил.

— Может быть, барышни, пока вы покажете господину Блюму здешние владения, а я тем временем успею сделать пару необходимых звонков? — Иефор достал из

очечника очки в золотой оправе, прекрасно дополнившие его дендистский облик, после чего набрал на смартфоне чей-то номер.

Сосредоточенность, уверенность в себе, как у профессионального игрока в покер. Никому ничего не уступит и глаз при этом в сторону не отведет.

На что он вообще рассчитывает? На то, что Блюм его не узнал? Какой к чертям Слободски Хуан Карлос — натуральный Иефор Бак!

«В этой ситуации главное, — решил наш герой, — не показывать, что я недостаточно в себе уверен. В конце концов, рядом Лара, рядом Зара, кругом все только и делают, что прекрасно говорят по-русски», — успокаивал себя Блюм.

— Оставьте рюкзак и сумку, с ними ничего не случится, что ж вы так мучаетесь, — позаботилась о нем Зара, точно с теми же интонациями, какие звучали у Эммы. Отчего складывалось ощущение, что Блюма передали по эстафете.

Блюму не хотелось оставлять рюкзак подле Иефора. Достать из него на глазах у Иефора папку с документами и сунуть подмышку - тоже вроде как неудобно было.

Блюм принял решение бросить рюкзак посередине прихожей, причем таким образом, чтобы по возвращению он мог бы определить, касался ли рюкзака Иефор или как там его.

Женщины, постукивая каблуками, двинулись по темному коридору в направлении закрытой двери. Блюм за ними. Он знал, что там, за дверью, гостиная с каменным камином. Зара распахнула дверь, пропуская вперед Лару и Блюма. Оказавшись в потоке света, Блюм вошел в гостиную слегка ослепленным.

Первым, что бросилось в глаза, это белая стена, на которой висел литографический триптих К. Классика: «Допрос виолончелистов».

«Как можно такое на домашние стены вешать? — мелькнуло у Блюма. — И почему эти бесчисленные

виолончелисты в морских бескозырьках оказались в этом доме?»

— А, это... Не беспокойтесь, приеду, заберу.

— Должно быть, больших денег стоит? Этих виолончелистов я в Москве на выставке видел.

— Не таких уж и больших. Это же литография. К. Классик их пятьсот штук сделал. Зала, как видите, очень просторная...

— Со временем устроите домашний кинотеатр... — как бы поддержала её Лара.

— Я не смотрю телевизор...

— Кино-то смотрите?

— Если есть время. Я вообще-то книгоящер.

— А... Тогда поставите в центре кресло-качалку, очень по-русски...

— Плохо, что электрички ходят...

— Мы говорим здесь — поезда. Вы к ним быстро привыкнете.

На первом этаже располагались еще две небольшие комнаты — по-видимому, это были спальни. Через одну из них можно было попасть в маленький дворик. Совсем небольшой, упирившийся в глухую стену соседнего дома.

Зала на втором этаже понравилась Блюму больше. Она была просторной, светлой, окна выходили прямо на рамблу и море. Блюму так понравился вид из окна, что он даже задержался у него.

— Я тоже люблю именно это окно, — сказала Зара. — Сейчас оно закрыто, но если его открыть и высунуться, можно увидеть гору и маяк на горе.

— Маяк на горе? Действительно — маяк. — Блюм представил себе, как поставит здесь какой-нибудь большой письменный стол, как будет работать за ним часами, отрываясь лишь для того, чтобы взглянуть на море, на маяк.

— Ну, я очень рада, что вам понравилось, — сказала Лара, — знаете, я всем своим клиентам говорю: если в доме или квартире есть место, которое соответствует

вашим представлениям о счастье, этот дом или квартиру надо брать.

— Если бы не обстоятельства, никогда бы и ни за что...
— серые холодные глаза Зары повлажнели.

— Не расстраивайтесь, Зара, вы же знаете, все знаете, придет время, и я вам подберу кусочек земли...

— Кусочек земли? Спасибо большое...

Тут даже Блюм хмыкнул.

— Ну, хотите, два кусочка?

— Чем больше, тем лучше. Похороню всех виолончелистов. Ну что, наверное, Слободски сделал уже все звонки.

— Что ж, приступим, — сказал Хуан Карлос на барском русском и выпустил ещё одно облачко из трубки, после чего в комнате отчетливо запахло советским лимонадом. — Испания — идеальная страна для тех, кто занят исправлением своего прошлого, — и бросил на стол папку с документами.

— Обычный случай. — Блюм поставил свой рюкзак прямо напротив кейса, достал папку с документами.

— Не такой уж и обычный. Я бы даже сказал, совсем не обычный. Знаете, у нас, у юристов, есть такая поговорка: о, если бы моя первая белая рубашка знала бы, сколько у меня будет белых рубашек. — И загоготал. — Бросьте, не переживайте вы так. Все у вас будет еще, и белая рубашка, и костюмчик на заказ.

Блюму захотелось домой, в Москву, назад в тёплое и понятное прошлое, которое не надо исправлять, потому что в этом нет никакого смысла.

— Итак, — начал Слободски, — вы, как я понимаю, все посмотрели, вам все понравилось и вы готовы принять то условие, которое выдвинул в своем завещании Ханин Наум Израилевич?

— Готов, — замялся Блюм, — но есть моменты, которые мне хотелось бы прояснить.

— Позвольте, в завещании, чистота которого нами не оспаривается, все ведь изложено предельно ясно. Документы на дом вы смотрели, тут у вас, вроде, сомнений

нет, у нас тоже. — Кларисса подтвердила кивком головы.
— Как я понимаю, вы больше сомневаетесь в себе?

— Я не очень понимаю, зачем Ханину нужно было разваливать газету?

— Причуды богатого человека. Объяснил?

— Я не верю в богатство Ханина. У него не было никакой деловой хватки. Если хотите знать, он был типичный мишулеген.

— Значит, вы не верите в чистоту завещания. Значит, вы не доверяете нам. Позвольте вопрос, а почему тогда вы здесь?

Блюм замялся.

Хуан Карлос Слободски разглядывал копию завещания.

Блюм уставился в свою.

— Можете начать с убийства или зачатия, у вас есть на то полное право.

— Лучше уж с «лирического признания в любви в полутонах»...

— В том смысле, что оно может предшествовать убийству или зачатию? — хмыкнул Хуан Карлос, — Но, Вадим Леонидович, учтите, в зеркальном ее отражении, это признание выливается в жесткую эротику? Ханин тут еще добавляет: «в мусульманском изводе», видимо, полагая, что подобного свойства игры вам могут быть знакомы еще по крайнестанскому прошлому, — он поправил платочек в нагрудном кармане пиджака. — И все же, мне кажется, вам стоит попридержать коней. Я ничего не хочу сказать, поверьте, я далеко не ханжа, но годы, Вадим Леонидович, годы... Их-то сбрасывать со счетов никак не можно, когда такое дело, да еще в «мусульманском изводе».

— Тогда с вина или крови...

— Прямо с вина или крови?! Почему бы вам не начать с поступка во благо или с аналогичного — во зло... Да, Ханин, как я погляжу, вариантами вас не обидел. Играйте, маэстро, играйте!.. Хотите с похорон начните, хотите — со свадьбы. В конце концов, «нас всех подстерегает случай. Над нами — сумрак неминуемый».

— Лучше со свадьбы, — улыбнулась Лара и почему-то глянула на Зару.

— Но помните, условие Ханина, с которого все начинается — вы, Вадим Леонидович, совершаете поступок за пределами России, желательно в Каталонии.

— Вот меня смущает еще, почему именно в Каталонии?

— А вы бы хотели Лазурный берег? Какой-нибудь Ментон?

— Мне все равно.

— Коли так. Вы совершаете поступок потому, что не боитесь никого и ничего, а можете совершить сходный поступок в пределах той же Каталонии, но из чувства страха... Вам решать, что предпочтительней, на что вы потратите свои очки. Дальше по пунктам... Читайте, мы вас не гоним, мы все понимаем. Мы только за вас принять решение не можем.

— Я согласен, — выпалил вдруг Блюм и почувствовал, что ему стало легче.

— Замечательно! Как говорится: «Кто не рискует...» Ну, барышни, по бокалу шампанского?!

— А какой пункт вы выбираете? — спросила Лара.

— Да, хотелось бы знать, — и Хуан Карлос дунул в бокал.

— Четвертый.

— Ах, так!.. Думаете, библиотека будет лучше подвала? Впрочем, вам решать.



Иллюстрация **Александра Канчика** к тринадцатой главе романа **Якова Шехтера** «Бесы и демоны»

Прямая трансляция из преисподней, или двести лет спустя

Глава тринадцатая романа «Бесы и демоны»

Как-то раз скучно стало Самаэлю. Давай пересматривать памятные записи, души подсчитывать, прикидывать хвосты к рогам. Вдруг видит – большой успех в Бней-Браке, по всем статьям успех. Вызывает Самаэль демонов, улыбается поощрительно:

– Хвалитесь, ребята – чьих лап дело?

Ну, демоны сразу вой подняли, шум, крик, всяк норовит себя показать, бахвалится почему зря, куражливо усы подкручивает.

– Это я ему взятку сунул, – один кричит.

– А я мужнюю жену подложил, – не уступает второй.

– Никто со мной не сравнится, – настаивает третий. – Из-за меня он мать свою забыл. Так и померла старушка в доме престарелых, одна-одинешенька.

– Наш, – потирает лапы Самаэль. – С какой стороны ни возьми – кругом наш. А вас, дети мои, всех люблю, всех награжу. Ну-ка тащите мне пергамент и чернила, запрос наверх писать.

И подают ему пергамент, выделанный из кожи отступников. И есть мнение, будто речь идет о тех, кто не носит кипу с надписью: да здравствует ребе – наш учитель, наставник, король Мошиах. А другие утверждают ровно наоборот.

И пузырек с чернилами принесли, сделанными из крови насмешников. И есть мнение, будто насмешниками сегодня именуют тех, кто после молитвы не провозглашает: да здравствует ребе – наш учитель, наставник, король Мошиах. А другие утверждают ровно наоборот.

Окунул Самаэль кончик хвоста в пузырек и давай строчить. Так, мол, и так, такой-то повинен в таких-то и

таких-то проступках. Прошу передать его душу в мое распоряжение. В просьбе прошу не отказать.

Вместо подписи лизнул кончиком раздвоенного языка пергамент, скрутил его в трубочку и отрядил самого резвого чертенка наверх – бумагу доставить. Не успел посыльный вернуться и доложить, как раздался гром и грохот, упала с небес записка с подписью «истина». Прочитал ее Самаэль и только руками по потным ляжкам хлопнул.

– Ну и порядки, ну и времена! Превращают нас в фабрику по производству праведников. Сроду такого не бывало! Как написано: каждый несет свой чемодан. А ну, подайте мне пергамент, петицию буду писать.

Только ничего не вышло у Самаэля, думал он, думал, водил сухим кончиком хвоста вдоль листа, тяжело вздохнул и повесил голову.

– Против Бога нет приема! Что хочет, то и делает! Трудисься, стараешься, а Он там, – Самаэль раздраженно ткнул корявым пальцем вверх, – решает, как хочет.

– А что ж в записке-то написано? – поинтересовались чертенята, хватая записку. – Можно почитать, ваше злодейство?

– Читайте, – махнул рукой Самаэль.

Демон постарше с недовольным видом отобрал у мальцов записку, развернул и громко зачитал:

– Трижды споткнется праведник и трижды встанет.

– Ну, и что это значит? – робко спросили чертенята.

– А то, что нужно клиента еще три раза проверить, – буркнул Самаэль. – Никто нашего труда не ценит, никто на наше мнение не полагается. Святоши-перестраховщики!

Помолчал Самаэль минутку и спросил демонов:

– Есть желающие в Бней-Брак наведаться? Выполнить Божью волю в полном объеме и ассортименте...

Опять давка началась, опять крики, шум, галдеж, каждый хочет волю Всевышнего исполнить. Демоны, они ведь тоже Божьи слуги, только задача у них своя – человека дурить и заманивать. А иначе, какая в нашем мире будет свобода выбора?

Долго сомневался Самаэль, выбирая наиболее достойного. Наконец выбор пал на солидного пожилого демоняку по имени Перец. У демонов ведь тоже имена есть, подобно людям, и они, подобно им, рождаются, умирают, едят, пьют и размножаются. Самые близкие к человеку существа.

Ласково поглядел Самаэль на посланца:

– Давай, дружок, мчись в Бней-Брак, задай там перцу. Не подведешь?

– Не подведу, ваше злодейство, – гаркнул демон, вытягиваясь в струнку. – Можете на меня рассчитывать.

В двери кабинета постучали. Ицхок-Лейбуш, габай синагоги «Биберман», нехотя оторвался от псалмов и крикнул:

– Войдите.

«И кого это несет в такую пору?» – с раздражением подумал габай. И в самом деле, было уже темно, последний миньян в «Бибермане» давно разошелся, и только габай раскачивался над открытой книгой. Он уже много лет каждую неделю прочитывал от начала до конца все Псалмы, и хоть есть мнение, будто от заката солнца до полуночи их не читают, но в крайних случаях, а этот был именно таким, дозволяется. После одного неприятного происшествия Ицхок-Лейбуш положил себе за правило от субботы до субботы заканчивать всю книгу Псалмов, и неукоснительно его придерживался.

Если вы не знаете, что такое синагога «Биберман», сейчас самое время познакомиться с ней и с ее габаем. Ходят в эту синагогу самые заядлые миснагеды, для которых хасидизм не религия, наиболее близкая к иудаизму, а бесовское наваждение, происки злого начала. Командует в ней последние сорок лет бессменный габай Ицхок-Лейбуш, правит мышцею крепкою и дланью простертою.

Так повелось с самого начала, ведь львиную долю денег на строительство синагоги дал отец Ицхока-Лейбуша, оговорив, что сын его будет в ней габаем, причем не

выборным, а постоянным. Хотите – берите деньги, не хотите – не берите. Деньги, разумеется, взяли, и так началась эпоха тоталитарного правления Иццока-Лейбуша. Самодуром он не был, вел себя вполне здраво и разумно, но делал все так, как сам решит. Про него даже присказка сложилась: «Весь мир страшится Израиля, Израиль побаивается Бней-Брака, Бней-Брак опасается синагоги «Биберман», синагога «Биберман» робеет перед габаем Иццоком-Лейбушем, габай Ицчок-Лейбуш трепещет перед своей женой, а жена боится уличных кошек».

В кабинет вошел человек лет пятидесяти, с многодневной щетиной, выдаваемой в светских кругах за бороду, и в маскарадной кипочке на посверкивающей лысине. В руке он держал плоский черный чемоданчик.

– Здравствуйте. Мне габай нужен.

– Я габай.

– Вот и славно, вот и хорошо. У меня к вам совсем пустяковое дело.

– Приходите завтра. Утренняя молитва начинается в шесть утра.

– Но дело касается денег! – удивленно сморщив лоб, произнес посетитель. – Больших денег!

– Тем более, – габай перевел глаза на страницу открытой книги псалмов, давая понять, что больше говорить не о чем.

– Тут вы не поняли, – гость бесцеремонно схватил стул, придвинул его к столу, за которым сидел Ицчок-Лейбуш и уселся, заложив ногу на ногу. – Я не пришел просить деньги. Я пришел их дать.

– Мы не у всех берем, – ответил габай, однако поднял голову и уже с интересом взглянул на посетителя.

– О, мои деньги чистые, можете не волноваться. Я не торгую наркотиками и не содержу публичные дома. Я – брокер на Тель-авивской бирже. Вот, полюбуйтесь, – он вытащил какое-то удостоверение и положил на стол перед габаем. Тот раскрыл удостоверение, внимательно изучил и вернул посетителю.

– Я вас слушаю.

– Вы ведь слышали про газовые скважины в Средиземном море? Так вот, на одной из них, «Левьятан» называется, я заработал кучу денег и хочу с вами поделиться. Ну, не просто поделиться, а чтобы в вашей синагоге читали кадиш за моего недавно умершего отца. Целый год или сколько там полагается.

– Одиннадцать месяцев, – потеплевшим голосом произнес габай. – А когда ваш отец скончался?

– Неделю назад.

– И что, никто не говорит по нему кадиш?

– Ну, во время семи дней траура я читал, других детей-то нет. Но больше не получается, хлопотное это дело, нельзя мне с такой профессией по синагогам бегать. Вот добрые люди надоумили, я выяснил, какая самая серьезная синагога в Бней-Браке, и приехал.

– Вам сказали правду, – важно произнес габай.

– Ну, тогда все в порядке. Пожалуйста, принимайте, – посетитель положил чемоданчик на стол перед габаем и щелкнул замками. Внутри чемоданчика теснились аккуратно уложенные пачки зеленых американских долларов.

– Надеюсь, хватит? – едва заметно ухмыльнувшись, спросил посетитель.

– И сколько здесь? – спросил габай.

– Ровно сто тысяч. Меня заверили, что вы самый надежный человек в Бней-Браке. Берите и распоряжайтесь по своему усмотрению. Надеюсь, что это тайное пожертвование поможет душе моего отца там, – посетитель поднял руку над головой и ткнул пальцем в сторону потолка.

– Несомненно, – солидно произнес габай. – Сейчас я выпишу вам квитанцию.

– Ни Боже мой, никакой квитанции! – замахал руками посетитель. – У налоговой полиции длинные руки, могут дотянуться и до ваших отчетных книг. Я предпочитаю держать свои доходы, а уж тем более и расходы, в полной тайне.

– Хорошо, пусть будет так. Как звали вашего покойного отца?

– Ицхок-Лейбуш Перцевич, – ответил посетитель, нагло уставившись прямо в глаза габая. – Ну, назвать моего папашку большим праведником, ни даже маленьким, я бы не решился, но все ж таки еврей. Так договорились?

– Договорились.

– Вот и славно, вот и хорошо, – посетитель сорвал с головы кипу так, словно она жгла ему темя, и с гримасой отвращения сунул в карман.

– Всего доброго, желаю здравствовать и не печалиться.

Он бодро вскочил со стула, в три шага пересек комнату и пропал так быстро, что габай даже не успел выяснить его имя. Ицхок-Лейбуш не торопясь прочитал еще капитель псалмов, затем встал и запер дверь. Прятаться было не от кого, вероятность того, что еще один непрошенный посетитель нарушит ночную тишину синагоги, была ничтожной. Но!

Первым делом габай тщательно пересчитал и проверил деньги. В долларах он понимал, больше половины пожертвований «Биберман» получал из Соединенных Штатов. Все было правильно, ни одной фальшивой купюры. Но уж больно странно, за многие годы работы Ицхок-Лейбуш ни разу не сталкивался с такого рода случаями.

Нет ли тут подвоха, не стоит ли за щедрым дарителем вездесущая налоговая инспекция? Габай размышлял около часа и, тщательно перебрав в уме возможные западни и ловушки, решил, что причин для беспокойства нет.

Больше всего его убедила гримаса, с которой посетитель сбросил кипу. Вот так они себя и ведут, люди без Бога в голове и совести в сердце. Этот не стал притворяться, строить из себя святошу. Хоть, скорее всего, и подлец, но прямой подлец. И сие есть хорошо.

Синагога заработала сегодня сто тысяч долларов. Значит, можно заменить кондиционеры и привести в порядок окна на женской половине. Однако по правилам от каждого заработка нужно отделять десять процентов на цдаку, пожертвование бедным. Причем живущим не за

морем или в другом городе, а соседям, самым близким тебе людям. А кто лучше Ицхока-Лейбуша соответствует этим критериям? Никто.

Габай отделил десять тысяч долларов, рассовал пачки по карманам, оставшиеся деньги переложил из чемоданчика в сейф и тщательно запер дверцу. Затем погасил свет в синагоге и отправился домой.

– Наш! – радостно возопил Самаэль, потирая лапы. – Молодец, Перчик, чисто сработано.

– Рад стараться, ваше злодейство, – рявкнул демон.

– Первый этап пройден, теперь, с Божьей помощью приступаем ко второму, – объявил Самаэль. – Ну-ка, позвать ко мне Махлат.

На следующий день, ясным погожим полднем, габай возвращался домой. Только благодаря привычке спать сорок минут после обеда ему удавалось сохранять бодрость до глубокой ночи. Обедал он быстро и незамысловато: тарелка супа, соевые сосиски, хлеб с хумусом, стакан чая и скорее в постель. Спал он, не раздеваясь, лишь сняв ботинки и пиджак.

Дома его никто не ждал, жена Ицхока-Лейбуша давно ушла в лучший мир, а дети жили своими семьями, растили многочисленных внуков габая. В его возрасте легко можно было жениться еще раз, чтоб не одному коротать оставшийся век, но представить в своем доме другую женщину Ицхок-Лейбуш не мог.

Его интересы сократились до размеров Бней-Брака. Он давно уже не выезжал за пределы города, только когда приглашали на свадьбу или брит-милу, и каждая вылазка давалась ему с большим трудом. Ходил габай по одним и тем же улицам, ел одну и ту же пищу и другой не желал. А зачем?

Сегодня он пребывал в приподнятом настроении. Еще бы, столько проблем удалось решить одним разом. Младшей внучке давно требовалось исправить зубы. Глухая малышка в детстве вместо соски засовывала в рот

собственный большой палец. Уж как ни пытались родители отучить ее от вредной привычки, даже мазали пальчик специальной горькой мазью, но все без толку. Глупышка плакала от горечи, но все равно тянула пальчик в рот. В результате зубы сильно искривились, и чтобы поставить их на место, нужно несколько лет носить особые накладки, постоянно ходить к врачу регулировать их и подтягивать. Стоит это безумных денег, которых в семье, разумеется, нет. А найти надо, кто потом захочет жениться на девушке с кривыми зубами? И вот, Всевышний послал помощь, услышал молитвы и послал.

Одному сыну давно пора менять холодильник, дочке – стиральную машину, а другому сыну предстоят расходы на свадьбу, в общем, от долларов щедрого дарителя даже пшика не останется, все разлетятся. Ну и хорошо, ну и ладно, а для чего нужны деньги?

Габай жил в старом, давно требовавшем ремонта доме на тихой улице Бней-Брака. Когда он там поселился, она была шумной, наполненной детским смехом и визгом. Еще бы! В каждой семье пять-десять детей, в доме около сотни, а на улице... Эх, где они, эти годы?!

Дети выросли и разъехались, на улице остались одни старики. Сегодня купить квартиру в Бней-Браке молодым не по карману, цены выросли до небес, а старики менять привычное место не хотят, тянут, сколько, кому Бог даст, и отсюда отправляются прямо туда же, на небеса.

В парадном было тихо и сумрачно, стекла в маленьких окнах не мыли лет двадцать, и они плохо пропускали свет. Нащупывая ключ в кармане, габай дошел до площадки второго этажа, когда до его ушей донесся сверху хлопок закрываемой двери, а за ним – быстрый перестук каблуков. Кто-то резво сбегал вниз по лестнице. Габай предусмотрительно остановился на площадке, уступая дорогу какому-то юному существу, ведь так шустро пересчитывать ступеньки могли только молодые ноги.

Через несколько секунд из-за поворота лестницы выскочила девушка лет восемнадцати. Габай видел ее впервые, наверное, она приходила по делу к одному из

соседей. Девушка окинула его быстрым взглядом и, нимало не смутившись, побежала навстречу. Ицхок-Лейбуш повернулся лицом к стене, негоже человеку в черной шляпе с длинной седой бородой смотреть на представительницу противоположного пола, особенно в столь щекотливой ситуации: один на один, в тишине и полумраке.

Девушка почти достигла площадки, и вдруг на последней ступеньке ее ноги заскользили, она потеряла равновесие, вскрикнула и полетела лицом вниз. Попытка ухватиться рукой за перила не увенчалась успехом, и девушка с глухим стуком рухнула на площадку прямо у ног габая.

О, Боже мой, бедняжка, наверное, сильно расшиблась! Ицхок-Лейбуш перевел взгляд со стены на девушку и замер. Такого ему не доводилось видеть за всю свою супружескую жизнь. Девушка лежала ничком, юбка от падения задралась до пояса, обнажив ноги, такие белые, что от них, как показалось габаю, в парадной стало светлее. Но главное, от чего он не мог отвести глаз, были круглые крепкие ягодицы, едва прикрытые тоненькими кружевными трусиками.

Габай затряс головой. Смотреть на это нельзя было ни в коем случае, а надо было немедленно звонить в ближайшую дверь и звать на помощь кого-нибудь из женщин. Но на него напал столбняк, несколько секунд он стоял, не в силах шевельнуться. Мягкая волна накатила откуда-то из глубины организма, давно забытая молодость шевельнулась и потребовала своего. Точно одурманенный, он поднял руку и протянул ее к черным кружевам. Но девушка, словно только того и ждала: ловко увернувшись от руки габая, она вскочила на ноги, одернула юбку, окинула Ицхока-Лейбуша глумливым взглядом, и умчалась вниз по лестнице.

До конца дня габай пытался убедить самого себя, что протянул руку с одной единственной целью – поправить сбившуюся одежду девушки, и к полуночи ему это удалось. Но если бы до его слуха донеслись вопли радости, издаваемые праздновавшими победу демонов,

убежденность в собственной невинности тут же развеялась бы как сон, как утренний туман.

А праздник внизу длился и длился, Самаэль, развалившись в мягком кресле, поучал стопившихся вокруг него демонов:

– Старая добрая Махлат! Вот на кого можно положиться. Учитесь, учитесь у нее, дети мои. Некоторые из вас целые постановки сочиняют, оперы, турусы на колесах. А тут одно правильное движение юбкой - и суть человеческая выходит наружу.

Итак, на алчность мы его проверили – не устоял. С похотью тоже не справился. Это хорошо, это славно. Осталась последняя проверка, самая главная. Ну, дети мои, кто возьмется?

Ицхок-Лейбуш проснулся посреди ночи и долго лежал с открытыми глазами, вспоминая события ушедшего дня. Теперь он был абсолютно уверен, что всего лишь хотел одернуть бесстыдно задравшуюся юбку. Да, да, ничего другого у него и в мыслях быть не могло, ведь за всю свою жизнь он ни разу не прикоснулся ни к одной женщине, кроме жены. За исключением того постыдного случая...

И он унесся мыслями на три десятилетия назад.

В Симхас-Тойра, радостный праздник, он вернулся из «Бибермана» после танцев в приподнятом настроении. Жена расстаралась, приготовила редкие, подходящие празднику кушанья. И гости, слава Богу, за столом были – родственница жены из поселения на Голанских высотах. Малость религиозная женщина из семейства вязаных кип. Муж ее в это время был на сборах в армии, детей пока родить не успели, вот жена и пригласила ее на праздник, с целью приблизить, укрепить и повлиять.

Ицхок-Лейбуш ее даже толком не разглядел, не в его правилах было пялиться на чужих жен. После ужина радостное настроение только усилилось, и он решил прогуляться по ночному Бней-Браку. Черт дернул, не иначе как. Через три квартала его внимание привлек шум, доносящийся из хасидского капища. Там еще гуляли, и он

решил завернуть на минуту, посмотреть, что происходит. Вот это и было подлинно бесовским наваждением.

Не успел он переступить порог, как его буквально атаковала стайка молодых парней, изрядно навеселе. Без всякого почтения к гостю, сунули в руки стаканчик водки. Какая еще водка! Ицхок-Лейбуш даже кидуш делал не на вино, а на виноградный сок! Он отнекивался, он отказывался, он даже попробовал возмутиться, но его уговаривали с такой решительностью, что, в конце концов, уговорили. Домой он вернулся через три часа, первый раз в жизни не чуя под собой ног.

Шатаясь, Ицхок-Лейбуш разделся и, держась рукой за стену, еле добрался до постели. То были благословенные дни, когда кровати стояли рядом. Жена уже спала, он прильнул к ней, прижался животом к теплой спине и уже начал погружаться в блаженный омут сна, как вдруг вздрогнул от понимания того, что женщина, которую он обнял, вовсе не его жена. Еще толком не понимая, что происходит, он провел рукой по мягкому телу и, обнаружив формы непривычных размеров, моментально протрезвел и выскочил из кровати. Схватив одежду в охапку, он бросился наутек из собственной спальни и в салоне наткнулся на жену.

– Боже мой! – ахнула она, – ты успел лечь?!

– Успел, – мрачно подтвердил Ицхок-Лейбуш. – Что это за фокусы, что это за штуки, объясни мне?!

– Гостье стало плохо, упала в обморок. Думаю, она беременна. Я еле дотащила ее до ближайшей кровати, привела в чувство, напоила теплым. Когда она заснула, я вышла на улицу, чтобы предупредить тебя, когда вернешься. Как же ты меня не заметил, я ведь стояла прямо у входа в подъезд?

– Бесовское наваждение, – буркнул Ицхок-Лейбуш. – Другого слова нет.

С того самого дня он никогда не прикасался к алкоголю, каждую неделю прочитывал от начал до конца всю книгу Псалмов, а хасидов навечно зачислил во враги еврейского народа.

Кое-как промыкавшись до рассвета, Ицхок-Лейбуш стал собираться в синагогу. Просмотрев, проверив, прочесав мысленно всю свою жизнь, он не нашел в ней значительных преступлений. Конечно, грешил по мелочи, нарушал тут, отступал там, но в общем – ерунда, пустяки. Несколько раз в субботу просыпал послеполуденную молитву и молился без миньяна уже в сумерках, два или три раза случайно прикоснулся жене в запрещенные дни, случалось, не выжидал целых шесть часов после мясного и ел, не удержавшись, молочное в начале шестого часа. К умирающей матери опоздал, дела синагогальные закружили. Да и дело ерундовое было, уж и не вспомнить какое, но из-за него отложил он свой ежедневный визит в дом престарелых на два часа, и не успел.

Самое большое его преступление – греховные мысли, запретные желания, которые накатывали как волны, почти срывая сердце с места. Больших сил стоило ему удержаться на якоре заповедей, не понестись по бурному морю мирских наслаждений. Эх, да что говорить!

В душе грешника никогда не наступает тишина. Даже если страшные бури давно позади, и возраст припорошил белым снегом успокоения холмы страстей, сковал льдом усталости море желаний. Лед держит воду только у прибрежной полосы, но чуть в стороне от берега, за краем кромки, мерно колыхается крупная зыбь.

Ицхок-Лейбуш шел по пустым улицам Бней-Брака, наслаждаясь тишиной и свежестью. Город еще спал, только закутанные в талесы фигуры любителей ватикин, первого миньяна, скользили вдоль стен, словно тени в раю. Возле овощной лавки разгружали небольшой грузовичок: черный подсобник, видимо, эритреец, таскал ящики с помидорами, огурцами, перцами, зеленым луком. Ицхок-Лейбуш подошел к лавке и остановился перед грузовичком. Много, ох многое в его жизни было связано с этим самым местом.

Сюда он прибегал еще молодым мужем, набирая овощи по списку, составленному женой. Потом, уже зная наизусть ее предпочтения, обходился без списка, уверенно набивая пластиковые мешочки. Лет пятнадцать тому назад он

перестал сам таскать мешочки, за небольшую плату коробку с выбранным им товаром доставляли прямо к порогу дома. Росли дети, уходили из дома, и салата на субботу требовалось все меньше и меньше. Когда они остались вдвоем, он снова стал сам приносить мешочек: пять помидоров и огурцов, пучок зелени, пару картофелин – сколько там надо двум пожилым людям?

После смерти жены он вообще перестал сюда заглядывать, его покупательская карьера подошла к концу. Питался Ицхок-Лейбуш соевыми сосисками и хлебом с хумусом. Дети каждую неделю приносили немного одного варева, чуть-чуть другого, и он нехотя ел, раз уже принесли. Залюбовавшись пунцовыми помидорами, крепко уложенными в синие пластмассовые ящики и сочно-зелеными огурцами с буйными хвостиками, Ицхок-Лейбуш помедлил немного перед овощной лавкой.

Эритреец спешил, видимо, товар ожидали еще в нескольких местах. Он перешел с быстрого шага на бег, стопка ящиков перед входом в лавку росла на глазах. Пробегая в очередной раз мимо Ицхока-Лейбуша, он запнулся и выронил из рук ящик. Помидоры, ударившись об асфальт, растрескались, брызнув сочной розовой кровью. В ту же минуту из кабины грузовичка выбрался толстячок в шортах и грязновато-белой маечке, обнажавшей бурные заросли рыжих волос на груди и руках. Эти заросли должны были компенсировать полное отсутствие волос на голове. Лысый череп украшала маскарадная кипочка, которую толстяк нацепил, чтобы не раздражать жителей Бней-Брака.

– Что тут происходит? – грозно спросил он, разгневанно вперив взгляд в рассыпанные помидоры.

– Он меня толкнул, – не моргнув глазом, соврал эритреец, указывая пальцем на Ицхока-Лейбуша. – Газету из кармана выронил, хотел поднять, и толкнул. Вот она газета, вот, – и в знак доказательства он поднял с асфальта газету и несколько раз потряс ею перед собой.

– Все нет, – возразил Ицхок-Лейбуш, изумленно уставившись на газету, но толстячок перебил его.

– А я тебе не верю. Шляпа у тебя черная и душа под цвет шляпе. Вот ему я верю, – он ткнул пальцем в эритрейца. – Хоть кожа у него черна, зато душа бела.

Ицхок-Лейбуш пожал плечами, мол, думай, что хочешь, и шагнул в сторону, собираясь продолжить свой путь в синагогу, но толстяк с бешено выпученными глазами преградил ему дорогу.

– Куда?! А платить кто будет? Товар повредил – башляй.

Ицхок-Лейбуш в недоумении застыл на месте. Такого поворота он никак не ожидал.

– Что буркалы выпятил? – зашипел толстяк. – Портить умеешь, а зарабатывать ништ? Да ты, небось, в жизни своей гроша честным трудом не заслужил, жил на подачки. Паразит, сын паразита, отец паразитов!

Ицхок-Лейбуш мог бы рассказать этому приткому наглецу о текстильной фабрике его отца, о том, как он должен был стать ее управляющим и наследником, но захотел учить Тору и передал бразды правления младшему брату. О том, что его дед и прадед были ткачами в Лодзи, а прапрадед знаменитый праведник из Курува ребе Михл и... а впрочем, зачем, к чему...

– Молчишь, крыть-то нечем, – не унимался толстяк. – От всего отмалчиваетесь, чуть что – сразу в кусты. Ловко устроились, корми вас, пои вас, защищай вас. Пока я кровь свою в Газе проливал, ты пейсами над книжкой тряс, да кофе пирожком сладким закусывал. У-у! – он злобно замахнулся на Ицхока-Лейбуша.

Тот мог, конечно, рассказать про старшего внука, который не захотел продолжить учебу в ешиве и пошел в армию. Его быстро заметили в толпе новобранцев и послали куда-то в разведку. Куда – никто не знает, потому что внук молчит, как рыба. Армию он давно отслужил, теперь работает в той же разведке, получает хорошие деньги. Одна беда, иногда по субботам и праздникам его дергают. Родители поначалу возмущались, но внук принес письмо из военного раввината, что задачи, над которыми он работает, связаны со спасением жизни многих и многих, поэтому ему не только разрешается, но даже

предписывается в случае необходимости нарушать и субботу, и Йом-Кипур, и вообще все, что угодно, лишь бы выполнить задание.

– Молиться пошел, святенский наш, – не унимался толстяк. – Знаем мы святош, в деле видели. У меня одна точка в районе старой автобусной станции Тель-Авива расположена, рядом с публичными домами. Видел я, видел не раз, как пейсатенькие кипочку с головы в карман, и шасть к шлюхам. Мы товар разгружаем, а они шмыг да шмыг, шмыг да шмыг. И жены у них тоже распутные, жирные бомбовозки без стыда и чести. Ты вот молиться пошел, а я тебе советую, вернись, да посмотри, кого в твое отсутствие жена принимает в теплой постели.

Ох, у Ицхока-Лейбуша от таких слов даже дыхание перехватило, но он сдержался и лишь опустил голову. Ведь сказано в Талмуде, лучше быть среди обижаемых, чем среди обижающих.

Из двери лавки вышел хозяин, старый знакомый Ицхока-Лейбуша.

– Что тут происходит? – с удивлением спросил он, глядя на рассыпанные по асфальту помидоры.

– Да вот, этот паразит и бездельник толкнул моего работника...

– Это не паразит и бездельник, – перебил его зеленщик, – а один из самых уважаемых людей нашего города. Ну-ка, дайте ему пройти.

Ицхок-Лейбуш благодарно кивнул зеленщику и продолжил свой путь в синагогу.

– Ушел! – не своим голосом заорал Самаэль. – Уже в руках был, за жабры держали, и ушел! Где эти лузеры, где эти ляпкины-тяпкины?! А ну, подать их сюда.

Два демона, дрожа от рогов до кисточек на хвостах, предстали перед Самаэлем.

– Ваше злодейство, – робко начал один из них, но Самаэль прервал его, со всего маху щелкнув по носу длинным пальцем, усеянным мелкими рыжими веснушками.

– Это у вас называется работой? Это глубокое проникновение в тему, творческий подход? Вы хоть личное дело габая открывали?

– Конечно, ваше злодейство! Да мы же...

– Молчать, врази и головоотяпы! Залман-Шнеур, что ты там плел про жену и теплую постель? Его жена уже шесть лет, как преставилась. Кстати, в каком она у нас отделении?

– Давно очистилась и переведена наверх, – подобострастно сообщил кто-то из свиты.

– Вот видите, бессмысленные болтуны и бесполезные паразиты. Ни черта вы не открывали! А ты, Копл, – Самаэль ткнул указательным пальцем в сторону второго черта, – не мог придумать ничего более идиотского, чем газета? Ты хоть проверял, когда это цадик в последний раз брал ее в руки? Не проверял, конечно! Так я тебе скажу – тридцать лет назад! Этот святоша читает только святые тексты, в отличие от тебя, халатного лентяя! Ничего, я вас научу работать, – Самаэль отер вспотевший от гнева лоб. – Живо, прямо сейчас, на три столетия к котлам. Попилите дровишки, поорудуете кочергой, научитесь ценить творческую работу.

– Ваше злодейство, – подобострастным тоном спросил демон из свиты. – Объясните нам, чертям неразумным, почему рыбка с крючка сорвалась? Ведь в двух случаях из трех габай попался, а значит, по правилу большинства...

– Не работает тут такое правило, – огрызнулся Самаэль. – На что мы Ицхока-Лейбуша проверяли? На алчность, на похоть и на раздражительность. Две первые проверки он провалил, пусть с оправдательными оговорками, но провалил. Но третья проверка, самая дорогая, больше остальных весит. Сейчас узнаете, почему. Позвать ко мне заведующего библиотекой.

Прихрамывая и тяжело опираясь на палку из человеческой берцовой кости, вошел старый седой демон.

– Есть у нас труды Рамака?

– Как не быть! – почтительно кланяясь, ответил библиотекарь. – Стоят на полочке, все труды ребе Мойше Кордоверо из Цфата, как чо есть.

– Рядом с ними свиток с записками его учеников лежал. Красным шнурком стянут. Знаешь?

– Как не знать, ваше злодейство.

– Тащи сюда, да побыстрей.

Получив свиток, Самаэль развернул его и откинулся на спинку кресла.

– Слушайте, дети мои, – обратился он к демонам и чертенятам. – Слушайте и мотайте на ус.

Однажды явился Всевышний к еврею и говорит:

– Дорогой мой сын, твой счет заслуг и прегрешений – увы – отрицательный. Пришло время рассчитываться. Выбирай, как взыскать долг.

Отвечает еврей:

– Владыка мира, разве я могу выбирать? У меня каждая вещь – конец света.

– Хорошо, – говорит Всевышний. – Давай вместе решим. Что ты думаешь о локальном землетрясении? Все дома вокруг остаются на месте и лишь твой рассыпается по кирпичику. Никаких жертв, только порча имущества.

– Не дай Бог! – восклицает еврей. – Я даже подумать об этом не могу. Столько лет копил деньги, потом строил, украшал, подбирал изразцы к печкам, плитку к плитке укладывал, а теперь... Нет, только не это!

– Ладно, – отвечает Всевышний. – Пусть дом остается на месте. Давай подумаем о здоровье. Скажем, камни в почках, один-два приступа в месяц, или шпору в левую пятку?

– Готеню, Готеню, – вздыхает собеседник. – Я и без того старый и больной еврей. Куда еще больше?

– Тогда давай я спишу с тебя солидную сумму, – предлагает Всевышний. – Завтра ночью отправлю к тебе воров, и золотые динары, которые ты прячешь под второй половицей от края...

– Нет, нет, нет! – прерывает Его еврей.

– Раз так, пошлю болезнь твоей жене.

– Отец, пожалей! – плачет еврей. – Жена-то чем провинилась! Сколько лет меня терпит, так теперь еще болячку в награду?

– Ладно, остаются дети и внуки...

– Только не это! – перебивает Бога еврей. – Только не это, слышишь?

– Так как же мне с тобой быть? – разводит руками Всевышний. – Здесь нельзя, тут не трогай, там не прикасайся. А минус-то остается минусом, чем его закрывать?

– Знаешь что, Владыка Мира, – опускает голову еврей, – не спрашивай меня, делай, как считаешь нужным. Не в моих силах выбирать себе наказание.

– Ладно, – говорит Всевышний – будут у тебя и дети, и здоровье, и заработок, и дом, и жена. Только об одном прошу: когда станут тебя оскорблять – молчи. Унижают – молчи. С грязью смешивают – молчи. И этим молчанием ты искупишь все свои грехи.

Молчание... Его нужно взять вместо компаса в дальнее плавание по житейскому морю. С ним ложиться и с ним вставать, зная, что благодаря ему человек обеспечивает себе хорошую жизнь в этом мире и добрую долю в будущем.

- Теперь вам понятно! – разъярившись от прочитанного, возмутился Самаэль. – Договор у них с высшей инстанцией заключен, бонус. Раз смолчал – один грех списан. Второй раз – еще один. А в третий – чистая амнистия. Поди поработай в таких условиях!

Самаэль отбросил свиток и рывкнул, глядя на испуганных демонов.

– А ну, свистать всех вниз! Марш на работу! Мы еще услышим музыку сфер.

– А что такое музыка сфер, ваше злодейство?

– Крики жены, ругающейся с мужем, злобный ор детей, восстающих против родителей, шипение подчиненных, проклинающих начальство. Чем больше гнева и раздражения будет на земле, тем жирней наш улов. Ни дня

без скандала, дети мои, и все бесхвостые будут наши! За работу, товарищи!

Демоны отправились на землю, а Самаэль от скуки снова принялся пересматривать памятные записи, подсчитывать души и прикидывать хвосты к рогам.

ИЗРАИЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТЕ СЕГОДНЯ

Ехудит Хендль

Ехудит Хендль - одна из крупнейших представительниц «женской прозы» в новой ивритской литературе. Родилась в Варшаве в 1925 году в религиозной семье. В 1930 году семья переехала в Палестину.

Автор романов и сборников рассказов, основные темы которых - судьбы женщин и трагедия Холокоста, Хендль - мастер психологической прозы.

Лауреат Премии им. Х.-Н. Бялика 1997 г. Ушла из жизни в 2014 г.

В пылу любви

(Из сборника рассказов «Новая антология». - Бней-Брак, 2000. Том 1-й)

Она позвонила мне ночью, моя подруга Алона: «Приезжай, приезжай скорее», я едва узнала её голос, так он звучал.

- Что-то случилось?

- Скорее, приезжай скорее, - опять повторила она. Я могла слышать в трубке, как у неё стучат зубы...

Разумеется, я сразу приехала.

Она открыла мне дверь в своём голубом бархатном халате. Он был застёгнут на все пуговицы, но мне почему-то показалось, что он надет на голое тело. Её большие угольно-чёрные глаза были красны, и она вся дрожала. Я сняла плащ, бросила его на маленький стул в прихожей,

положила зонт – она не промолвила ни слова и провела меня в комнату.

Он лежал на кровати, покрытый одеялом до подбородка, лицо было совершенно желтое. Возле кровати на полу валялись его брюки и трусы, рубашка и пиджак лежали на стуле, я поняла, что он лежит там голый, может, в майке.

- Как это произошло?

- Ну, прямо, когда мы...

- Когда вы что?

- Когда занимались любовью, - проговорила она.

Её голос дрожал, дыхание прерывалось:

- Мы занимались любовью, и вдруг он напрягся, всё его тело как-то сжалось. Он вдруг вышел из меня и лежал на кровати ещё теплый, но жёлтый и мёртвый...

Эти слова – «ещё тёплый, но жёлтый и мёртвый» звучали и звучали у меня в голове всю ту ночь и потом – во время похорон, и ещё: «прямо, когда мы занимались любовью».

...Я не знала, что сказать. Стояла и смотрела на жёлтое лицо и одеяло, закрывавшее мертвое, голое тело. Из-под края одеяла выглядывали пальцы ног, смотреть на которые я не могла.

- Понимаешь, прямо, когда мы занимались любовью, и он был так хорош... - говорила она. Её голос был бесцветным, она всё ещё стояла, не глядя на меня, не двигаясь, словно застыв в момент, когда время остановилось.

- Сделаю тебе стакан чая, - произнесла я.

- Нет-нет, - сказала она и пробормотала ещё что-то, но я не расслышала.

Я усадила её в кресло. Наступило успокоение.

На жёлтом лице неподвижного тела в кровати выделялись глаза – серые, словно ещё живые, и я подумала о мгновении между жизнью и смертью, даже не мгновении, а доле секунды. Опять вспомнила: «...прямо, когда мы занимались любовью, когда мы занимались любовью». Ведь когда-то верили, будто двое, которые

любили друг друга, создают нового человека на небесах, ещё я подумала о том, из чего рождается надежда.

Алона всё ещё сидела в полном молчании, словно вслушиваясь в чьи-то слова, хотя стояла тишина. Где-то далеко по радио звучал хор. Прогремел гром и снаружи поднялся ветер. У Алоны вырвался сдавленный стон:

- Что же нам теперь делать?
- Позвоним его врачу, - предложила я.
- И что скажем?
- Попросим его быстро приехать.
- Я не могу.
- Но это необходимо.

Она встала, безвольно висевшие руки казались неподъемными, словно держали тяжёлые камни, взяла телефон и набрала номер. Извинилась за поздний звонок, но настояла, чтобы врач приехал немедленно – с Хананией плохо.

- А что такое? – спросил тот.
 - Он совсем плох. Совершенно. Я думаю, что он угасает,
- ответила она торопливо.

- Какого цвета у него лицо?
- Желтое.
- А нос?
- Тоже жёлтый.
- Куда приехать – в редакцию?
- Нет, ко мне домой.

Некоторое время доктор молчал, потом сказал:

- Хорошо, я еду.

Вскоре он позвонил в дверь.

- Вот повезло, даже парковку нашёл, - сказал он, войдя и снимая плащ. Войдя в комнату, сразу произнёс:

- Он умер.
- Да, - подтвердила Алона.
- Но ведь ты говорила, что он «угасает».
- Я не могла произнести слово «умер»...
- У нас принято говорить «скончался» - слово более мягкое и легкое.

Она сказала, что не могла произнести более легкое слово.

Врач медленно подошёл к постели, наклонился над Хананией и закрыл ему глаза. Затем приподнял одеяло и сразу опустил его. Повернулся и посмотрел на Алону:

- Как это произошло?

- Во время...

- Он напрягался?

- Нет, ему было хорошо.

Мне было странно, что она сказала это – сказала чужому человеку. Доктору Коэн-Цедеку, чужому. И сказала громко, как в суде. Мне подумалось, что она пытается спасти от обвинений то, что уже не спасти, замолчать то, что нет необходимости замалчивать.

Она опустила в кресло, и её руки безвольно упали. Затем она подняла их и закрыла лицо, и снова опустила.

Доктор Коэн-Цедек внимательно посмотрел на неё:

- Тело этого человека - самое счастливое из всех, что я видел.

Произнесённое им прозвучало странновато, и я подумала: «Он немного чудной, этот доктор Коэн-Цедек, – что он имеет в виду, какого джина пытается выпустить из бутылки?»

Он продолжал стоять, внимательно глядя на Алону.

- Можно сказать, что это была лёгкая смерть, - произнёс он, придавая своему голосу оттенок сострадания.

Алона молчала, а он продолжил:

- Знали бы вы, через какой ад проходят люди, когда умирают... Это известно только врачам.

Она и сейчас ничего не сказала, глаза её были красны и воспалены.

Доктор Коэн-Цедек вновь пристально посмотрел на неё:

- Исход души... Сказано: «Нет ничего труднее исхода души...»¹ Он помолчал, пытаясь вспомнить:

¹ Мидраш Танхума

- Сказано также: «По перевёрнутой лестнице душа исходит из тела», так написано в святых книгах, - продолжал он с той же интонацией утешения.

Вдруг он поднял голову, и его голос вновь сделался сухим и холодным. Он спросил, меняла ли Алона положение тела Ханании после того, как он умер.

- Нет, я была сверху... - отвечала она, и глаза её заблестели, - он остался лежать, как был. Вначале я не поняла, что произошло. Вначале я подумала...

Доктор Коэн-Цедек чуть отошёл от кровати.

- Больные не всегда замечают, как болезнь вдруг вспыхивает. Мне кажется, это из песни Эдит Пиаф, - произнёс он, вновь приблизился к кровати и медленно сел в кресло.

- Нужно одеть его.

- Да, нужно одеть его, - повторила и Алона.

- И нужно перевезти его в больницу Ихилова.

- Почему туда?

- В морг.

Алона молчала.

- Вот, что нужно сделать, - повторил он.

Алона молчала. Она опустила склоненную голову на колени, а когда подняла её, на лице было выражение лица человека, который знает, что нужно делать:

- Нужно позвонить его жене.

- И что сказать? – спросил доктор Коэн-Цедек.

- Что он в редакции, и что оттуда вы повезёте его в больницу, - у неё опять начали стучать зубы. – То есть, в морг.

- Нет, сейчас я поеду к ней, но сначала одену его, а вы пока выйдите из комнаты.

Я медленно подняла Алону, и мы вышли в кухню. У неё стучали зубы, и она вся дрожала.

- Он одевает его, мёртвого,- произнесла она, и я поняла, что сейчас она как бы видит, как Коэн-Цедек натягивает трусы на мёртвые ноги Ханании и его мёртвый, опавший член, на провалившийся живот, а затем надевает на него брюки. Приподнимает его и вставляет мёртвые руки в

рукава рубашки, расправляет её на спине, стягивает на груди и начинает застёгивать пуговицы – одну за другой, потом на манжетах рукавов, наконец, укладывает тело на постель, голову – на подушку и снова покрывает одеялом.

Не представляю, сколько это заняло по времени. Вечность.

- Надеюсь, он не закрыл ему лицо, - произнесла Алона, её губы при каждом слове сжимались больше и больше.

- Не знаю, - сказала я.

- Скажи ему, чтобы оставил лицо открытым, я хочу, чтобы лицо было открыто, - она произнесла это так медленно, что едва можно было разобрать.

Я прошла в комнату. Из одежды на кресле оставался только пиджак. Хананья был покрыт красивым клетчатым одеялом, и я поняла, что теперь он одет. Лицо было не закрыто, и я сказала, что таково было и желание Алоны.

- Да, я и не хотел закрывать лицо, - ответил доктор. – Теперь я еду к его жене.

- Алона говорила, что дважды звонил телефон, но она не ответила. Может, это звонила его жена?

- Может быть. Она также звонила в редакцию, но и там никто не ответил.

Я посмотрела на него – он был абсолютно спокоен. Затем направился в прихожую, надел плащ и вышел.

Алона также вернулась в комнату, но теперь не подошла к мёртвому, а уселась в кресло и невидяще уставилась в пространство перед собой. Кондиционер работал на обогрев, было тепло, но она дрожала. Я смотрела на неё и пыталась представить, о чём она думает, может, о том, что вот он лежит здесь, мёртвый и холодный, одетый, мёртвый и холодный.

Она вдруг повернулась ко мне и посмотрела так странно, словно едущий в поезде, который вдруг проснулся и не может со сна понять – едет ли он вперёд или назад, но затем снова уставилась в пространство, глядя поверх меня, поверх деревьев и крыш домов в окне, затем вновь поднесла руки к лицу, её пальцы при этом шевелились, будто стряхивали муравьёв, ползающих по ним. На неё

было трудно смотреть. Как и я, она знала, что через несколько часов, ну, завтра...

Я всё вспоминала эту фразу – «прямо, когда мы занимались любовью, прямо, когда...»

Она вдруг раскинула руки и, спустя мгновение, крепко прижала их к телу и так сидела, словно в другом мире. Я сказала себе: «Ведь есть такие скульптуры – наполовину птица, наполовину женщина – так Алона выглядела сейчас, но у этой птицы отрезали крылья, и куда теперь она сможет полететь, бескрылая?»

Она продолжала так сидеть, словно слушая какую-то свою тишину, думала я, а доктор Коэн-Цедек не возвращается, хотя прошло уже много времени, он ведь поехал к жене Ханании сообщить ей какую-то ложь, этот доктор. А потом он вызовет «скорую», этот доктор, наверняка, он точно это сделает, - это ведь то, что Алона говорит себе сейчас, и что из их любовного гнездышка Хананию увезут прямо в морг, говорит она себе сейчас.

Вернулся доктор Коэн-Цедек и сообщил, что госпожа Шир попросила доставить тело Ханании к ним домой, и что его заберут в морг оттуда. Она тем временем позвонит двум их сыновьям, а он, доктор Коэн-Цедек, пока вызовет «скорую».

Я высказала опасение, что сотрудники «скорой» могут проговориться. Но доктор успокоил нас, сказав, что вызовет частную службу перевозки, и её сотрудники будут держать язык за зубами. Домой к семье Шир он вызовет другую частную службу, сотрудники которой уже доставят тело в морг, то есть всё спланировано и уже организовано – нет оснований тревожиться.

- Освободите сердце от тревоги, - так сказал он. - К тому же Алона была секретарём Ханании, и всё будет выглядеть так, будто он умер, диктуя ей в редакции свою очередную еженедельную статью – работа есть работа. В конце концов, история-то банальная, - закончил он и слегка улыбнулся.

Затем он попросил разрешения позвонить по телефону, но из другой комнаты. Я проводила его в кухню к

параллельному аппарату. Он также сказал, что госпожа Шир попросила его проинформировать коллег-журналистов о том, что муж умер за письменным столом.

Действительно, на следующий день в газетах появилось сообщение о том, что Ханания Шир скончался за написанием своей еженедельной статьи, и можно утверждать, что он был символом журналистики, настоящим профессионалом, который ушёл из жизни на рабочем месте.

«Скорая» подъехала тихо, без сирены. Также тихо вошли доктор Коэн-Цедек и два санитары, которые положили Хананию на носилки. Алона не захотела выходить из комнаты – всё время стояла и смотрела. Она выглядела спокойной, словно всё происходило с кем-то другим, чужим, однако ни на минуту не отвела взгляда от тела, а когда санитары вышли из квартиры и стали спускаться по лестнице, она всё же пошла за ними, остановилась на площадке, опершись на перила, и смотрела. Затем прошла на лоджию и всё смотрела...

Улица была пуста. Моросил мелкий дождь. Она стояла на лоджии под дождём, смотрела, как санитары вынесли тело, шли до автомобиля, погрузили носилки внутрь, сели в «скорую», заработал двигатель, загорелись габаритные огни, машина начала движение, удаляясь от дома, а она всё стояла и смотрела в том направлении.

Через некоторое время мне удалось увести её с лоджии в комнату. Я хотела поменять постельные принадлежности, но она легла прямо так, в промокшем халате, в ту самую постель, из которой час назад забрали мертвого человека, полностью завернулась в одеяло и, не знаю, что она вдыхала – запах смерти или аромат любви...

Назавтра состоялись похороны. Шёл сильный дождь, и вся процессия шла под зонтами. У госпожи Шир зонт был большой и красный, её сопровождали сыновья. Старший прочитал «Кадиш», хазан пропел «Эль мале рахамим», затем кто-то произнёс краткую речь о покойном, который посвятил газете всю жизнь и скончался за рабочим столом.

Дождь прекратился, все сложили зонты, появились головы и шляпы. На госпоже Шир была шляпка, украшенная широкой бордовой лентой с розой.

Я шла рядом с Алоной, но она не позволила мне поддерживать её, и шагала выпрямившись, с неестественно прямой спиной, только её обычно смуглое лицо было белым, как мел, и я подумала, жаль, что у евреек не принято закрывать лицо вуалью.

А в ушах у меня всё звучало: «...прямо, когда мы занимались любовью».

Перевёл Александр Крюков

На русском языке публикуется впервые

ПОЭЗИЯ

Стихотворения победителей Международного конкурса поэзии "Любви все возрасты покорны"

Жюри конкурса:

Бахыт Кенжеев (Нью-Йорк, США)

Андрей Грицман (Нью-Йорк, США)

Алёна Жукова (Торонто, Канада)

Ирина Маулер (Ришон ле-Цион, Израиль)

Татьяна Вольтская (Санкт-Петербург)

1 место

Из трав, от ветра пошедших в пляс,
Из лужи, из глины сырой
Господь слепил тебя в первый раз,
А я леплю во второй.

Из мрака, из талого снега, слёз –
Ловя губами, леплю:
Плечо проступает, щека и нос,
И губы, то бишь, *люблю*.

Из мха, где комар заложил вираж,
Где прель под еловой корой,
Господь слепил меня в первый раз,
А ты слепил во второй.

Уже проступил под твоей рукой
Затылок, висок, плечо:
Я не видала себя такой
Ни разу. Ещё, ещё!

Всё кажется, жив, а не умер,
Всё кажется, ходишь, не спишь –
То буквы читаешь на ГУМе,
То слушаешь под полом мышь.

И сколько же дел неотвязных
Тебя осаждает с утра
И писем – из Праги, из Вязьмы,
Из града святого Петра –

Как будто невидимый кратер
Гудит – дорожает бензин,
Из гроба встает император,
Соседка бежит в магазин,

И сам с непонятною ношей
Несешься вдоль елок и шпал.
А влюбишься – сразу проснешься
И вскрикнешь: «Как долго я спал!»

На поднос, не жостовский, голубой –
Желтый лист березовый, грошик медный:
Осень разгорается, как любовь,
Поначалу кажется незаметной.

Поначалу что там – банальный флирт,
Поблестит чуток и сыграет в ящик.
Красной краски тюбик да желтой – литр,
И огонь какой-то не настоящий.

Но пока ты мудрствовал и решал,
Что же это – Гжель, Хохлома ли, Палех,
Точно печь открыли – пожар, пожар,
Дураку понятно, что мы попали,

Что уже охвачены все дворы,

Все леса полны золотым безумьем,
Что спастись поздно, лишь до поры
Повисает в небе гусиный зуммер.

Золотым и красным горят тела,
А плечо заденешь – и сразу искры,
И еще не скоро – зола, зола,
Утро, иней, яблоки в синей миске.

Сергей Плышевский (Оттава, Канада)
2 место

Первая женщина – крупные зубы,
Смех громогласный, вдоволь еды,
Полки престижной хрустальной посуды,
Блат в поликлинике, дачи, сады,
Рюшечки, бантики, ляпочки, ленты,
Страх от последней страницы – кроссворд!
Все пересказы газетных нелепиц.
Сто запятых на две фразы – развод.

Женщина – два: утончённые вкусы.
Небо, рассвет, биография птиц.
Смесь: макраме и шофёрские курсы,
Ревность вне поводов, сцен и границ.
Буря в мешке. Детонация крика.
Гаммы истерик; рыдать и реветь.
Планов и чайний неразбериха.
Рак. Метастазы. Трагедия. Смерть.

Третья судьба – амплитуда гармоний.
Поступь богини и голос небес.
Крылья и когти, летящие кони,
Знание правды и силы в себе.
Точный фрагмент совершенства вселенной,

Дней отведённых прекрасная грусть,
Та, перед кем опущусь на колени,
И понимаю, что не дотянусь.

Я – ветер твой. Чувствуешь – ветер.
Дурманящих ягод лоза.
Я – дикие искорки эти
в твоих сумасшедших глазах.

Я – тёмные южные ночи,
метели полярных широт,
я – эти огни вдоль обочин,
зовущие за поворот.

Я – тень твоя, призрак–хранитель,
Ах, есть ли у ангелов тень?
Я – тонкие звездные нити,
струящиеся в темноте.

Я – там, где шальные тайфуны
волочат свой шлейф болевой.
Я – шаткая палуба шхуны
и остров спасительный твой.

Я – звуки негромкие арфы,
и пальцами в струнах пою.
Я просто снежинка под шарфом,
кольнувшая нежность твою...

Я забуду тебя, забуду, –
Про себя повторяю веско,
Отпусти меня, жизнь не путай,
Тёмноглазая ирокезка.
Я не тот, я смущаю племя,
Зря помог арбалет настроить,

Отпусти меня, вышло время,
Пока нас не случилось трое...
Я опять убегу, послушай,
Мне колдун показал все знаки,
Я насыплю табак за лужей,
Чтобы след не нашли собаки,
Ты не знаешь меня, я хитрый,
Впрочем, это пойдёт во благо...
Хватит, кончим все эти игры...
Погоди, ну не надо плакать!
Успокойся! И ножик ржавый
Положи. Ну, обсудим трезво...
Ну, иди сюда, обожаю...
Колдуна прикажи резать...

Нелли Воронель (Торонто, Канада)

3 место

Канун

Я не помню числа, но знаю –
тёплый август и волны в сене,
груботканая плоть льняная,
и мурашками звезд усеян
сгусток неба в окне чердачном,
помню запахи травной смуты,
новолуныя прищур кошачий,
петушиный захлёб под утро,
вздохи, шорохи, жаркий шёпот,
смех отца я забыла, впрочем,
помню, скрёбся в углу мышонок
той наполненной мною ночью.

Я не помню, но точно знаю –
тёплый август... провалы в сене.
Я заплачу впервые в мае
от вселенской тоски весенней.

Параллели

*«И будет он как дерево...
которое приносит плод свой во время свое...
и во всем, что он ни делает, успеет...»*

Псалтирь 1:3

Помнишь, здесь мы сидели с тобой
за накрытым субботним столом,
с нами двое счастливых детей,
не рождённых уже никогда.
Таял стебель огня восковой,
и садился Давид за псалом,
вечный город незваных гостей
с целым миром играл в города.

Кипарисовый гребень холма
оттенял седину трёх морей,
в поле боли тюльпаны цвели,
море соли мерцало и жгло.
Но на сердце змеилась зима
наших будущих календарей,
отведённое время земли
шло на взлёт, и мигало табло.

Помнишь сны в параллельных мирах,
разведённые наши мосты,
затонувших огней уют,
штиль, песчаные бури на дне,
горькой смоквы развеянный прах,
ровный пульс в колесе суеты
и нужды убедительный кнут,
отбивающий мысль о цене.

Я не помню, и ты забывай,
почему всё сложилось не так,
почему наши дети на нас
не похожи, и мы здесь одни.
Нашей юности тряский трамвай,

правоты неразменный пятак
и само построение фраз –
антикварному хламу сродни.

Снег зашторил окна окоём,
елей сумрачные терема.
В доме – запах лекарств и борща,
память правду стирает со лба.
Наше позднее счастье вдвоём –
немошь, выжившую из ума,
постигать и любить, не ропща
на того, кто решил – «не судьба».

Молитва о нелюбимом

Госпоже и Мати Света, внемли просьбе до конца,
не остави без ответа тварь Предвечного Творца.
Извелась я – не смиряться, не испить чужую жизнь,
отжени меня, Царице, и от жертвы откажись!
Без меня ему же лучше, в нелюбви отрады нет.
О, Споручнице заблудших, Непорочной Правды Цвет,
отпусти его на волю из удушья наших стен,
ясным утром в чистом поле постели ему постель.
Неподъёмные скрижали жгут нещаднее огня.
Утоли его печали в этой жизни за меня,
просвети скорбящий разум в нём, Пречистая Слеза,
дай Нечаянную Радость – Небо в любящих глазах,
положи ему на плечи руки женщины земной,
помоги ему навечно исцелиться от смурной
бесприютной тени в доме и от пагубы вина.
Сколько жён живет и стонет в одиноких полуснах!
Умягчи незлое сердце, пусть забудет, не узнав –
Кто я? Грешница до смерти, ветру верная жена...

Владимир Узланер (Саттон Вест, Канада)
3 место

Дворик в Сан-Марчеллино

Помнишь маленький дворик на Сан-Марчеллино?
Тишину разбавляет лишь росчерк пчелиный.
Белый каменный лев, охраняющий храбро
И цветы, и игрушечные бабабы.

Я тебя вспоминаю на Сан-Марчеллино -
Как ты мне приносила в постель капутино.
Поцелуи твои с тонким привкусом кьянти,
Старый каподимонте¹ на ветхом серванте.

Городишко в Италии, область Кампанья,
Растворяет мои и твои очертанья.
Дворик выцвел на солнце... Иль в памяти это
Растеряли мы краски, как дни и предметы?

Города-дожди

Мне во снах мерещатся города-дожди,
Серебристо-капельные - призраки, почти.

Там в одном из дворики, ключиком звеня,
Ожидает женщина юношу-меня.

Не уйти за ливнями в мокрый горизонт,
Чтобы к ней пристроиться под промокший зонт.

Льёт по водосточинам с акварельных крыш.
Дверь в судьбу иную мне больше не открыть.

Ну, а, может, города больше просто нет?
Ни в какой галактике, ни в какой стране,

¹ Каподимонте - марка итальянского фарфора.

Где, в других реалиях, прямо под дождём,
Знаю - эта женщина полстолетья ждёт.

Всё бледнее контуры, не видать уже
За холстом расплывшимся брошенный сюжет.

Захлебнулись улицы и плывут вдали
Кем-то позабытые города-дожди.

Золушка

Звучат проклятья и валится всё из рук,
Из глаз не вытравить въевшийся давний испуг.
Отец помер, видать, наломал дров...
И вот остывает, как убывает, тёплый некогда кров.

На огороде - лишь тыквы нетронутые гниют,
Ожидание чуда, отсчёт полуночных минут...
Глядишь в бесцветный, промокший от дождей потолок,
Да в пустынность ведущих к дому раскисших дорог...

Белые крысы в клетках - а толку-то что?
Каретную тыкву съели, счастье ушло.
Не вернулся принц из дальних походов и вот - одна.
Ожидание, как одиночество, не имеет dna.

Хозяйка устала работать. Оцепенение? Грусть?
Как расправишь спину - по старым косточкам хруст.
О, маленькая Синдерелла, задумалась ты о чём?!
Хрустальный истерзанный позвякивает башмачок,
Уложенный медальоном, замызганный бульоном,
Поцелованный в миллионный раз - на необъятной груди.

Маргарита Сливняк (Торонто)
Специальный диплом
"За индивидуальный поэтический почерк"

Мы целовались? Ах, я забыла!
И даже сердце почти не ныло,
Когда на танец третьего дня
Ты пригласил её, не меня!

Мы целовались, да я забыла...
Ах, в этом слове такая сила!
И я танцую, и зал весь мой,
И я танцую, но не с тобой!

Ретро

Я дама перронно-вокзальная,
Стою на перроне пустом,
Улыбка смущенно-нахальная
И шляпка с павлиньим пером.

Какая банальная story,
Стоять на перроне пустом!
Но, может, примчится твой скорый,
Улыбка мелькнет за окном...

Три туфельки

Принцесса потеряла три туфельки,
Потому что у нее были три ножки.
Их подобрали три принца, и каждый был очень хорош.
— Что же ты плачешь, старуха, одна в сторожке
И пьешь чай с песком из трех старых галош?
— А мне нужен был чёртик! И чтоб непременно рожки!

Израиль

Что такое еврей - мишень для камней,
для травли и для поля боя идей.
Евреи во всем виноваты.
Еврей, это вместо – «плохиш», вместо – «зверь»,
которого надо – ату! и за дверь
Угрозою, ласкою, матом.
Но зверь этот хитр, у него плавники
и когти из фирменной стали,
ему надоело из вашей руки
есть то, что вы сами не стали.
Ему наплевать, что сказали теперь,
Он сам себе брат и защита,
Он будет ногой открывать правды дверь,
Которая вами закрыта.
И если решите средь белого дня,
Что выскочил из-под контроля -
Лечите и обвиняйте себя -
Он просто вернулся на волю.

Зачем нужны стихи - затем,
Чтоб страх и сырость с серых стен
Стереть, всего - сложив слова,
Но так, чтоб комната жила,
Дышала, наполнилась теплом,
Чтоб счастье и любовь вдвоем,
Обнявшись, за руки взялись.
И так на всю страницу - жизнь.
А значит, мне нужны слова,
В которых музыка жива,
Которые одной строкой
Стирают страх, стирают боль...
Ну хоть на несколько минут,
Ну хоть на миг, пока их ждут.

Прощать - прОпасть.
Молчать - камень,
Напасть - это ветрянка духа,
пропАсть между рук лопастями
твоими - МУка.

Не прочитаешь по ладони,
По почерку не чиркнешь метко,
Синий глаз, а как вороний.
На сердце - метка.

Меряю осень и меряю зиму -
Не по размеру - снять бы разом.
Не понимаю... необходимо
Рядом.

Кашка скоро превратится в кашу,
Платья маков красные завянут,
Солнце по утрам надсадно кашлять
Будет, нарушая сны и планы.

Доведет до белого каления,
Раскидает нежность и надежду.
Надо будет белые одежды
Приготовить, но пока есть время

На добычу слов и снов весенних,
На восторг и ожиданье счастья,
И на то, что сядет на колени
Бабочка по имени Удача.

Где-то ее носит по планете,
Где она сейчас - в Литве, России,
Я бы тоже полетела в эти
Страны, или все равно уже в какие.

Но закрыто небо на затворы,
Бабочек своих искать осталось.
Я ищу, и кажется, у моря
Видела, а может, показалось.

Крылышки прозрачно кареоки
И загар от усиков до брюшка.
Видимо, летела издалека
И присела подзаправить душу

Нашими полями и лесами,
Нашей ближнею восточной пеной,
Что взбиваем днями и ночами
Мы величиною переменной.

Здесь живу, и дальше ни ногою
Мне нельзя пока, ну что же делать...
Бабочка с восточною косою,
Приходи со мною пообедать.

Не с руки

Несмотря и вопреки
Обижаться не с руки,
Жалко жаться по углам,
Засыпать по вечерам,
Не искать на небе звезд
И вопросом на вопрос
Отвечать - как ни крути,
Не с ноги и не с руки.
Ноги надо мылом мыть,
На руках себя носить,
Чтобы чисто, не спеша,
Чтобы тело и душа.
Чтобы каждый раз опять,
Чтобы раз - и в двадцать пять.
Как в парное молоко

И беспечно, и легко.
Потому что жизнь, как есть.
Ее надо с маслом есть,
Ее надо пить до дна,
Капля чтобы ни одна.
Не одна - кукушки бой
На стене - само собой -
Время - стрелки, рысаки -
Обижаться не с руки.

Лошади

В центре города, в центре площади,
Шумной площади привокзальной –
Запряженные в сани – лошади
С фиолетовыми глазами.

И одна из них – вороная,
Воровского, ночного цвета;
И еще одна есть – не знаю
Я названия масти этой.

По проспектам, спеша немислимо,
Пробегают народ куда-то
Мимо лошади черной иссиня,
Мимо той другой, непонятной.

Белый город морозом скован,
Белый город сияньем убран.
Ах, как больно звенят подковы!
Ах, как звонко смеются губы!

Эти губы нежны от холода –
Только тронь – и ударит током.
Задарма выбивает золото
Изо льда лошадиный цокот!

Если б им сундуки наполнить,
Я была бы уже богата
На овес – вороной, как полночь,
И еще одной, непонятной.

А минуты летят, пришпорены
Ветерком – и в полете стынют, -
Мимо окон твоих зашторенных,
Мимо окон моих пустынных.

Только – главное, только – важно,
Что не зябнуть в мороз треклятый
Лошадям – вороной, как сажа,
И еще одной, непонятной.

Осталась у нас – надежда,
Что будет нам счастье свыше,
Что каждый из нас – не лишний,
Что где-то нас Бог услышит.

Надежда ещё осталась,
И нет ей конца вовеки,
Покуда смеются реки,
И ветер встречают веки.

И будет ей имя – запад,
Тоскующий о рассвете,
И будем мы жить на свете
С мечтой, что не будет смерти.

И будем мы жить на свете,
А это уже – награда,
И будем ломать преграды,
Поддерживать тех, кто рядом.

Осталась у нас – надежда,
Что будет нам счастье свыше,
Что каждый из нас – не лишний,
Что где-то нас Бог услышит.

Чужеземец

Берегу и храню желтоглазый костер,
Обитающий в тесном кольце из камней.
По изгибу двери виноградник растет,
По-змеиному лапясь к холодной стене.

Я всей плотью сроднилась с прохладой пещер,
В их сиреневый сумрак душа проросла;
А рука доверяет ножу и праще,
Неподкупности слуха и меткости глаз.

Мне сегодня послышалась песня ветров
Или, может, серебряный звон тишины,
Что вот-вот человек переступит порог
Из далекой земли, из безвестной страны.

Он не будет никак на меня не похож,
Словно пляска огня на журчанье воды,
И к нему перейдет мой испытанный нож,
Потому что в нем больше не будет нужды.

И когда он возникнет в проеме дверном –
Неизбежный, как смерть, невозможный, как жизнь –
И расплещется свет за широкой спиной,
И утопанный пол от шагов задрожит –

Я не знаю, смогу ли расстаться с ножом,
Уступая пришельцу ночлег у огня.
Мне в привычной пещере не нужен чужой,
Мне безумно мучительно что-то менять.

Эти руки полны затянувшихся ран,
Эти губы слова под запретом хранят,
А в глазах отражаются блики костра,
С берегом теплом чужеземца родня.

Как обманчивый сумрак пустого жилья,
Как причудливый танец косматых теней,
Шелестит тишина, безответно тая
То ли ночь, то ли день, то ли да, то ли нет.

Девочки курили во дворе

Девочки курили во дворе за углом...
Рюкзачки за спиной, сигареты в ладошках...
И одна сказала: «Вот был бы облом -
Стать тёткой, которая кормит кошек».
И они засмеялись, глядя на ту,
Что к подвалу шла, людей не видя,
С губами, сведенными в одну черту,
И сыпала в миски корм, на корточках сидя.
Но где-то две кошки тоже вели разговор.
Они умеют так говорить, без слов.
И чёрная рыжей сказала: «В каждый двор
отправляет Небо своих послов.
Их любой узнает с первых минут
по свечению на одежде звёздных крошек.
Даже люди это знают и почтительно их зовут –
Тётки, которые кормят кошек».

А если это любовь....

Он всё не шёл. И длилось ожиданье.
В окне моём, как впрочем, и всегда,
Прохожие, кусты, деревья, зданья.
Всё серое. Но разве ж то беда?
Зачем он мне? Он так непостоянен.
Приходит и уходит без следа.
К чему мне это нежное сиянье,
Которое обычная вода?
Но вот он здесь. И я спешу навстречу,
И можно целовать его при всех.
Тоской моей почти очеловечен
Мой гость, мой друг, мой долгожданный снег.

Ирине Суглобовой

Говорила Анна Марине,
Или, может, Марина Анне,
Что сбывается всё в стихах.
Я желала тогда быть с ними!
Мне хотелось сесть в эти сани
И лететь, презирая страх.
Даже если сани - не с горки,
А боярыни той, с картины,
Упирающей перст в небеса,
- Это тоже великие гонки!
Отчего же Анны с Мариной
Так печально звенят голоса...
Но теперь я знаю про это...
Про свои и чужие сани...
И про горки в белых снегах.
И про нож золотого света,
Что был виден Марине и Анне,
И дрожит до сих пор в стихах.

Вот и свету осталось едва.
Виден стол, да посуда на нём.
В чистой банке цветы и трава,
Что с детьми собирали мы днём.
Вот и вечер. Не бойся, душа.
Напрягай настороженный слух.
То приходит к тебе не спеша
Бессловесное пенье старух.
Вот и полночь твоей темноты.
Но, как прежде, небесным огнём
Осияны трава и цветы,
Что с детьми собирали мы днём.

Ворчанье

Чего нехватишься, ничего у вас нет.
Один постмодерн, побери нелёгкая.
Раньше ведь как? Был поэт.
Слушал всякое там далеко-далёко...
И его путанная, на ощупь, речь
Вела - когда в тупик, а когда на волю.
И воды вновь начинали течь,
И сеятели новые шли по полю.
А сейчас чего... Кому он нужен, поэт?..
Денег с него – ноль. Ни в пиар, ни в гости...
Вот я и говорю: ничего у нас нет.
Только классики изглоданные кости.

Классика

На Украине ночь тиха.
Всё призрачно: деревья, зданья.
Меж хлопцев, спящих на майдане,
Панычка ищет жениха.
То в лица пристально глядит,
От спички спичку зажигая,
То ляжет и прильнет к груди.
Красивая. Почти живая.
Мертвячка жалобно поёт,
И чудный голос души гложет.
И снится всем одно и то же.
Но утро здесь не настаёт.
Спит город, мрачный, как редут.
Трамвай не лягнет, пёс не гавкнет.
И только, вечные, бредут
Сквозь Киев - Гоголь и Булгаков.

Янтарное сердце огня

На ясный огонь, моя радость...

Б. Окуджава

И вот свечерело. Осенние звёзды зажглись.
Мы чай заварили, добавили корень аира.
— О чём ты задумался? — Я? Да вот просто про жизнь.
Ведь можно пешком обойти, понимаешь, полмира,
и мир не заметить. А здесь... ну, гляди, сапоги
увязнут в болоте, и белых семьёй огорошит
сосновое гулкое море и озеро дикое Лоша.
И всей нашей мудрости, глупой, земной, вопреки,
брусника на кровь глухариную — чуешь? — похожа.
И ясный огонь котелок обнимает. Но, чу,
в сырой темноте закричала бессонная птица.
А небо светилось, так словно затеплил седую свечу
святитель в созвездии Лиры, где тайное Нечто клубится.

Где ветер-зверюга вчера бушевал,
там сосны вповалку лежат.
А я выживаю — всегда выживал —
сушу отсыревший бушлат.

Святая прилипла болотная грязь
к нелепым его рукавам.
А знаешь, какая же странная связь
меж Тут и космическим Там!

Чу, ветер поёт в обнажённых корнях!
Чу, ёжик заплакал в лесу!
Но держится мир на хороших парнях:
тебя-то я точно спасу.

Я даже готов за тебя умереть —
мне хочется небо обнять.
Как яростно точит сосновую медь
янтарное сердце огня!

Сколько было счастья? Дофига,
и ещё тележка небольшая!
Но звенит над полем пустельга,
ягодное лето провожая.

Запах человеческого жилья
на губах останется, и сердце
тихо отзывается: моя!
Жёнушка, ну как ещё согреться?

Ветерком сосновым, грозовым,
разлохматит волосы, и даже
«пазик» подберёт — за лобовым
маленький чертёнок чёрный пляшет.

Ох, как мы зверёнышу сродни
жаждой неги, той же грубой мукой!
Только бы ещё повременить
с этой окончательной разлукой...

* * *

Живое всё. Ничто не повторится:
ни человек, ни дерево, ни птица,
ни ветер, начертавший на воде
простые письмена, ни о судьбе
мои стихи, достойные сожженья.
Зато каким весёлым продолженьем
судьбы потом окажется, о да!
Такая же над миром высота,
но как-нибудь иначе воплотится:
и человек, и дерево, и птица
с раскинутыми крыльями. Ах вот,

сквозь тени эти, шорохи, полёт.
из-под руки придут слова другие:
«Работайте, любите, и тугие
маховики вращайте бытия!
И пусть вас радует
изменчивая явь!»

Сердцу тревожно, сладко.
Руку твою возьму —
тёплая птичья лапка,
нежная. Ни к чему
все дифирамбы — слиты
мы воедино: ты,
небо и я. — Могли бы
даже... — Нельзя, прости...

Горько. С коляской двое:
сыро и дым костров —
парк замело листвою.
Клёны разбились в кровь.

Проявления

Жизнь уносится сквозь пальцы
В быстрой смене декораций.
Ну, за что бы удержаться...
Ни за что не удержаться.
Всё стремительнее ветры,
Незаметнее закаты...
И таинственный локатор
Наблюдает из-за ветки.
Будто кто-то, не решаясь,
Всё оттягивает сроки.
Дунет ветер. Ветка дрогнет,
Робкий пульс опережая.
И закаты, и восходы,
И гудящие суставы –
Сновиденьем, как угодно,
Пролетающим составом...
И, упав на полустанке
В колыбельку из ромашек,
Я запомнюсь вам вчерашним.
Сон ли, явь?.. Прошло и...
Странно...

Такой же лунь, блуждающий во сне

Давно слывя невидимым соседом,
Штурмуя с мокрым веничком палас,
Живёт в хрущёвке дядька Грибоедов,
В квартирке однокомнатной, в припляс.
Сидит себе на кухне он часами:
То кофе пьёт, то вяжет свитерки,
Глядя в окно печальными глазами
С насквозь промокшим словом «помоги».
И в долгих зимних сумерках колючих,
Когда изводит мысль, что ты один,

Заходит он, как свой, на всякий случай,
В условный мир задёрнутых гардин.
Хоть сны ему несут отдохновенье,
Где он всемогущ, ярок и любим,
Но жизнь – не сон, а... честное мгновенье.
И где он будет завтра?..
Хрен-то с ним.
Не числится, не трудится, не бьётся;
Плывёт себе, как фикус в уголке...
Что будет с ним? состарится? сопьётся?
А дальше – тьма...
– Так ты ж на волоске!.. –
Вслед ему слюною брызжет бабка:
Сто лет в обед, горбата, словно крюк.
Но, дверь открыв, он впрыгивает в тапки
И... исчезает.
– Где же ты, мой друг? –
Другая дама, скукою воспета,
К нему с вопросом, прям из пустоты:
– Возьми грибков, отведай, Грибоедов,
И... отравись... (рецептики просты),
Чтоб кто-нибудь, невидимого вспомнив,
Брезгливо сплюнул, малость поумнев...
...другой его отсутствие восполнит:
Такой же лунь, блуждающий во сне.

Камни – память

Остались незрячие камни.
Они ещё что-то помнят?..
Ладони, сердца и бомбы?..
Гранитные истуканы.
Титаны несут балконы,
С балконов глядят богини,
Богини слагают гимны,
А гимны – уже законы.
И крепости, и соборы,
И статуи, и гробницы,
Вы все, как один, бесспорно,

Без нас не могли родиться.
Без нас уязвимых, тленных,
Ещё и противоположных,
Сидящих в дворцовых ложах
И в рублище на ступенях...
Создать и разрушить – это
Для нас ничего не стоит...
О чём мы мечтали, строя?
Ужели ещё заметно?
Но слёзы текут из окон:
Вандалы штурмуют память...
Ведь с «марса» глядит слепая,
Стоящая к Солнцу боком.
Корабль летит на рифы!..
Отмщения жаждут камни!..
Воздвигнутое руками
Вибрирует точной рифмой.
Своё доживают камни,
Осколки цивилизаций...
А может быть, отказаться
От мысли, что камни – память?..

Мелодия грусти

Ночь замедляет движение света.
Свет ускоряет движение ночи,
Делая чувства в два раза короче,
Чем дуновение спящего ветра.
Что-то торопит и путает мысли...
Падают вишни в холодные лужи...
Столько страданий, чтоб выйти ненужным,
Старым ребёнком, капризным и лысым!..
Мнётся в руках золотая открытка
В несколько строчек: банальные фразы.
Был ли он в жизни, доподлинный праздник,
Не из материй искусственных свитый?
Радость важна, но она утекает,
Скоро слабеет...

... и слёзы, и слёзы

Льют под валторны о тех, грациозных,
Ставших беспомощными стариками.

Агадá (Let my people go)

Над кромкой Иудейских гор заря.
Но темнота, и холод, и промозглость
еще сопротивляются, царя
в остатках форта древнего царя...
Из окон раздается Go down, Moses,
труба Луи сгоняет сизаря
с одной из плоских невысоких крыш.
Край неба, ясен, ярк, медно-рыж,
пророчит день - из ветреных, хороших,
прозрачных дней с дымком от жжёных крошек,
из тех, что наступают раз в году,
из тех, когда читает Агаду
потомок беспокойный Моисеев,
о распрях эллинистов и ессеев
под светлый праздник позабыв едва...
Как остро в этот миг звучат слова
из вечного молитвенного свода,
как на зубах песком хрустит свобода
и снова расступаются моря,
дно обнажая, камни, якоря
да тычущие пальцами рулей
в бездонность неба рёбра кораблей,
и никому не кажутся простыми
ни сорок лет, ни сорок дней в пустыне...
Но, схваченное праздничной тесьмой,
минует время, выйдет день восьмой,
за ним вернуться будни, и тогда
на полку встанет нá год Агада,
и дух свободы, как во время оно,
охáют и вожди, и холуи...
Но ты сквозь атмосферные слои,

сквозь время дуй в трубу свою, Луи,
да так, чтоб донеслось до фараона.

Закат Европы

Какие краски, боже мой, какие кисти!
Как галеон, что чудом выжил при конкисте,
гружёный золотом, под мерное стакато
прибойных волн плывёт на заднике заката
большое облако, темнеет, иссякая,
пространство с севера на юг пересекая,
плывёт бесснежную, безветренную зимою,
плывёт по греческому Средиземноморью.
Какое время, боже мой, какие нравы!
Кинжалы боле не в ходу, плащи, отравы,
иное в моде ампула, другая роль... Да,
прошли те дни, где воин был важней герольда,
где лучник был стократ ценней жреца-прониры,
не те красавицы пошли, не те турниры,
и что осталось в этой эре безлошадной,
как не бездумно созерцать, скажи, глашатай...
Какие ритмы, боже мой, какие ноты!
Язык становится сухим, ушли длинноты,
никто не ниже больше бусы да мониста,
зануда-писарь напрочь выжил романиста,
удел стареющих шутов теперь не в схиме,
их выбирают королями шутовскими,
но что над этим горевать, судьбу итожа...
Остались те же облака, и море то же,
солёный воздух, рваных мыслей ахинея,
и солнце снова тонет где-то в Пиренеях,
и что ему до наших войн, до кривды-правды...
Невольно в голову взбредёт, что Шпенглер прав был,
что все пути предрешены, ходы и тропы,
и это всё-таки закат... Закат Европы.

Июнь

Город - большая сцена, в городе тридцать один в тени,
кто бы ты ни был, механик светила,
действуй, закатывай, не тяни.

Бог ты, творец, судия ты, неважно, да хоть и чёрт,
только крути лебёдку, иначе город расплавится и стечёт
в море, дымящийся, будто
в плоской посудине огненная руда.

Морю давно не впервой проглатывать города,
море не мы, оно не мечтает на несколько лет вперёд.

Море однажды навечно все города отберёт,
но в этот вечер оно котёнком - трогателен, но резв -
ластится к берегу, тихо мурлычет, трётся о волнорез,
неторопливый бриз треплет радужный флаг
над кафе "Ханой",

солнце меняет угол атаки, красит фасады хной,
время бежит быстрее, как ни гонись за ним,
время съедает не только нас, но, видимо, и деним,
ибо шорты на девушках, загорелых и всесезонных,
с каждым летом короче, и скоро ходить без оных
будут, или от шорт останется только пояс...

Девушки, впрочем, ходят, не беспокоясь,
так, как они, улыбается только счастливая голь и юнь...
Город большая сцена. На сцене идёт июнь.

Саймон

...Игнорируя синагогу,
Саймон молится у стены.
Саймон больше не верит Богу
со времён мировой войны.
Он для Саймона кровью пьян.
От чекистских расстрельных ям
до Берлина с вождём, который
сделал идолом крематорий,
как же часто и как же много
крови льют во владеньях Бога...
...Саймон молится у стены.
Все родные унесены

той войной. Не протянешь рук им.
Равнодушный кирпичный Бруклин,
слёз следы на пигментных пятнах,
слов обрывочных и невнятных
шорох тонет в машинном гаме,
листья носятся под ногами,
залит светом внутри драгстор,
осень, Саймону скоро сто,
сын двадцатого века Саймон,
двадцать первый оформлен займом,
сколько лет — и всё войны, войны,
человека не победишь...
...Как бы мама была довольна
тем, что Сёмка прочёл кадиш.

Шахарит

Несколько пожилых евреев — пейсы, кипа, талит —
в самом хвосте самолета над Атлантическим океаном
совершают рассветную, самую долгую из молитв,
как всегда, обратясь лицом к городу, где палит
солнце полудня над Шейх-Джарахом и Силуаном,
где шумит, и гудит, и пестрит базар,
где у каждой кофейни, войдя в азарт,
по столам стучат игроки в шеш-беш,
где невидим, но ощутим рубеж
между городом минаретов и городом колоколен,
где в один из осенних дней каждый третий — коэн,
где паломники молятся днём,
а туристы ночь прожигают под ритмы сальсы,
где лежат короли в соборах —
пьемонтцы, фламандцы да провансальцы,
это город земной, а небесный,
где вол с орлом и со львом — над ним,
и да будет он в этих двух ипостасях своих храним...
Высота одиннадцать тысяч двадцать четыре метра,
плоскости режут тугую плоть западного ветра,
пассажиры дремлют, но те, кто не спит, не без
лёгкой иронии шепчутся — надо же,
молятся небесам с небес...

Золотым огнём с востока рассвет горит,
и возносится тысячелетняя шахарит¹.

Песнь песней

У царя шесть десятков жен и восемьдесят наложниц,
хохотушек, затейниц, певиц, танцовщиц, безбожниц,
у царя и дворец, и войско, и деньги,
и тонкий льняной хитон.

На рассвете, когда тоска режет сердце острее ножниц,
закипает смола в преисподней и явственно тянет
серным,

он идёт к своим длинноногим сернам
и пасёт это стадо. Усердно пасёт притом.

У царя есть власть. И она не кажется лишней цацкой.

Вот на днях принимал послов от царицы Савской,
козлоногой, по слухам, но умной
и жаждущей ласки царской...

Что ни день, у царя дела.

И ночами он тоже не спит, радея
о народе, о благе для Иудеи,
но не о любви, даже если бы и была.

Где-то рядом с дворцом, в садах, свежа, весела, умыта
предрассветной росой, смеётся юная Суламита.

Ей тринадцать. И мир её светел. Вчера, к тому же,
мать сказала, что надо бы думать уже о муже.

Суламита смешно и задумчиво морщит нос,
глядя на облака. И откуда их ветер нёс,
из моавской земли или из Эдома?

Ах, сидела бы ты, Суламита, дома,
не глядела на облака. Не в них
прочитается твой жених,
не вольётся и в плеск ручья...

Суламита, ещё ничья,
слушай Бога ли, мудреца ль,
только не ходи рядом с той дорогой,
по которой поедет царь....

¹ Шахарит (ивр.) — утренняя молитва в иудаизме.

Слепая нежность

Третья улица Строителей
общей памятью больна.
Растеряла прежних жителей
ненадежная страна.
Если в прошлое сощуриться -
всё, как прежде, в том раю:
с детства памятная улица,
оливье да ай лав ю.
Там стоит ещё империя,
пряча давнюю гнильцу,
но уже вторая серия
приближается к концу.
Заливная рыба портится,
титры лезут на экран.
Дальше - больше: безработица,
залепуха и обман.
Не докличешься родителей,
в наступившей темноте,
и в квартиру на Строителей
заселяются не те.
Им ещё начислят заново
плату страшную в квитке
за тепло левиафаново
на вселенском сквозняке.

Мы жили в городе Онеге,
где зимний день в окне стоял,
когда болезненные веки
я с перепоею подымал.
Свою Онега панораму
являла мне во всю длину,
но лишь закрыть плотнее раму
я спяну подходил к окну.
Покуда время проходило,
кончался исподволь апрель,
а мне все так же плохо было
переносить вчерашний хмель.

Мой друг на призрачной работе,
трудясь, ночами пропадал,
и на гидролизном заводе
зарплату спиртом получал.
Так, пойлом краденым торгуя,
мы жили около двух лет,
Чубайса поминая все,
когда темнел в окошке свет.
От кутерьмы в глазах рябило
и весь подъезд с ума сходил,
когда, хлебнув тоски и «шила»,
я матом в рифму говорил.
И, мерзлыми гремя дровами,
там похмеляясь на ходу,
и дом кружился в общем гаме,
со свай сползая в пустоту.
К нам урки в гости заходили,
худую выбивая дверь.
Нам девки запросто дарили
слепую нежность, и теперь,
скучая званием поэта,
я помню, глядя в небеса,
что нас любили не за это,
а за красивые глаза.

Реки замыленной излучины,
за нею темные поля,
колхозной немощью измучены
в последних числах сентября.
Колодец подчистую вычерпан
и самогонка не берет,
и в местной газетенке вычитан
кремлелюбивый виршеплет.
Ему известность начирикала
филологиня из ЕдРа.
А нам в будильнике натикало:
нам вещи складывать пора.
Куда-нибудь - с последним поездом,
с обидой давнею в душе.
Умру - полюбите. Какое там!
Очнись, ты пробовал уже.
Того гляди само закончится.
Зароют - вырастет лопух.

А все последней славы хочется,
и музыки - из первых рук.
Да и такая - даром тратится,
темнеет времени вода
и, кажется, никто не хватится
на этом свете никогда.
Сучится нить, веревка мылится,
а нам бы время потянуть.
Глядишь - и сложится кириллица
во что-нибудь, во что-нибудь.

остается грязная посуда
постояльцы сваливают за
кто куда забывшие откуда
съёмные меняя адреса
привыкая к временной прописке
посреди обкуренной шпаны
не сумевшей двери по-английски
за собой закрыть с той стороны

Век мой, зверь мой. Ноу-хау
племена стирают в прах.
Чемодан, вокзал, Дахау -
в ад билеты на руках.
Там, построенных у кромки,
в душевую отведут,
и ослепшие потомки
страшный пепел соберут.

Танки куда-то опять вводить, поднимать с колен
все это дело, на сквозняке перемен
земли отпавшие собирать, начинать сначала.
Восемнадцатый год, на какой ни прихватишь клей -
расползается к черту всё, хоть убей.
Все из непрочного материала.
Made in China и проч., не поймешь вообще, что за мир.
Червь истории, говорят, понаделал дыр -
вот и поутекло нефтянки,
крови да слез; а иначе - как ещё быть?
Научи их теперь, попробуй, как встарь - любить
эту Родину из-под палки.

Терпеливый вспомнишь портвейн изгнания,
в коридоре надпись - «AC/DC».
Кто теперь читает твои писания
по общагам Всея Руси?

Там тебя полжизни никто не хватится –
сколько зим прошло, сколько лет,
как сменивший ксиву нигде не значится,
ни в одном его списке нет.

Он теперь прикидывает заранее
на больничной койке – куда ж нам плыть?
Впрок зубря хароново расписание,
в воду учится заходить.
А во дворе вчерашний снег горчит,
и ни одна звезда не говорит
над равнодушною державой.

** *

Жизнь коротка. Мне скоро 26.
И ничего для вечности. Куда там!
С разбитым фонарем один и есть
проулок перекошенный. За складом
полощется речонка. Ебенья
пустынные вокруг. В глухом поселке,
где улицы нет имени меня,
меня не любит девушка в футболке
с портретом Путина... Двенадцать лет
прошло с тех пор. Футболка полиняла
и выцвела, но памятный портрет
на той груди ничья рука не смяла.
И я опять, как проклятый стою,
гляжу на буфера ее, робею.
И жалуюсь, и горько слёзы лью,
но грязных лап протягивать не смею.

Владимир Ханан

Взгляд в прошлое

*«Поедем в Царское Село!»
О. Мандельштам*

Поехать, что ли, в Царское Село,
Пока туда пути не замело
Сухой листвой, серебряным туманом,
Набором поэтических цитат,
Не то чтоб искажающими взгляд,
Но, так сказать, чреватými обманом

Вполне невинным: например, легко
Июньской белой ночи молоко,
Грот, Эрмитаж, аллеи и куртины
Плюс выше обозначенный туман
Оформить как лирический роман
(Земную жизнь пройдя до половины),

В котором автор волен выбирать
Меж правдой и возможностью приврать,
Однако же, к читательской досаде,
Он, больше славы истину любя,
Не станет приукрашивать себя
Красивой позы или пользы ради.

Кривить душой не стану. Автор был
Застенчивым и скромным, но любил
Не без взаимности. Деталей груду,
Пусть даже неприличных, сохраню
И поцелуй в кустах не подменю
Катаньем в лодке по Большому Пруду.

Мы можем увеличить во сто крат
Сентябрьский дождь, октябрьский листопад,
Помножив их на долгую разлуку,
И всё же им не скрыть от взгляда то,
Как на моём расстеленном пальто
Мы познавали взрослую науку.
Без ЗАГСов и помолвок. Не беда,

Лишь только это было б навсегда,
Надёжней и верней, чем вклад в сберкассе,
Чем в лотерею призовой билет,
А было нам тогда семнадцать лет,
И были мы ещё в десятом классе.

Конечно – едем в Царское Село!
Уже в Иерусалиме рассвело,
Проснулись люди и уснули боги
Воспоминаний и тоски. Ну что ж –
Жизнь просит продолженья. Ты идёшь...
Идёшь – и вдруг застынешь на пороге.

И в памяти мгновенно оживут
Осенний парк, заросший ряской пруд
И поцелуев морок постепенный,
И юношеской страсти неуют -
Там было всё, о чём я вспомнил тут...

Но это было в той, другой вселенной,
Где нас забыли и уже не ждут.

Из пачки соль на стол просыпав,
Что, как известно, на беду...
Куда вы, Жеглин и Архипов,
Как сговорясь, в одном году?

Земля, песок, щебёнки малость,
Слепая даль из-под руки.
Она к вам тихо подбиралась,
Петля невидимой реки,

Что век за веком, не мелея,
Несёт неспешную волну.
Лицом трагически белея,
В свой срок я тоже утону.

Былого не возненавидя,
Не ссорясь с будущим в быту,
В дешёвом (секонд хенд) прикиде
С железной фиксою во рту.

Семье и миру став обузой,
Отмерю свой последний шаг
С беспечно-пьяноватой Музой
И книжной пылью на ушах.

Туда, где ждут за поворотом,
Реки перекрывая рёв,
Охапкин, Генделев – и кто там? –
Галибин, Иру, Шишмарёв¹.

Успеть бы только наглядеться,
Налюбоваться наяву...
Ау, нерадостное детство.
Шальная молодость, ау!

Александрю Кушнеру

...а нам не тень собой кормить,
Но эту мёрзлую землицу
В берёзах басенных, в татарских тополях,
В осенних пустошах, в расслабленных полях,
Где всё погост – куда ни ляг,
И бездорожный свет заглядывает в лица.

Здесь шеи и дома рубили топором,
И реки сонные краснели от Завета.
Каким такой земле заплатишь серебром?
Скрипит меж берегов несмазанный паром,
Нет никого, и не найдёшь ответа.

Спокойно спи! Здесь небо и земля
Давно ли вспаханы? – а поросли бурьяном...
Какого ни на есть варяга-короля!
Спит, бедная, соски и бельма оголя.
Так тихо... И звезда чуть плещет за туманом.

¹ Олег Охапкин и Михаил Генделев – известные поэты. Остальные фамилии, включая эстонскую фамилию Иру, принадлежат моим одноклассникам и друзьям юности.

Истомный август. Солнечно и жарко.
И мы вдвоём. Вокруг пространство парка:
Кусты, трава и на траве пиджак.
Поляна незаметна и укромна,
Вокруг деревья выстроились ровно
И даже солнце проявляло такт.

Обычными для юности стезями
Я был крючков и пуговиц хозяин,
А вот уже резинок круглых – нет.
И опыта, признаться, было мало,
Ты как бы ненароком помогала...
Он был не слишком слажен, наш дуэт.

Старо как мир, и как объятие, ново.
Несмело, суетливо, бестолково.
Со стороны, наверное, смешно.
Мы были точно первые на свете
Любовники, ещё, по сути, дети,
Вкусившие запретное вино.

Трава была уже чуть-чуть багряна.
Как далеки та жизнь и та поляна,
Нас чутко приютившая на час
В каре кустов и солнцем на атасе...
Пусть всё, что поместилось в этом часе,
Давно прошло, но вспомнилось сейчас.

Домский собор. Ночь. Рига.

... а музыка была темна,
Как ночь над крышами собора,
Как те, глухие, времена,
Которых много видел город,
Куда, отвержен и гоним,
Стекался люд со всех окраин
Страны.

Но был необитаем
Ночной собор. И вместе с ним,
Таким торжественно бессонным,
Томилась ночь. И как дурман,
Светился где-то над колонной

Свечой и музыкой орган.
И эта тройственная сила,
Что прямо в душу мне текла,
О чём-то важном говорила
И убеждала, и звала.
И понял я в минуты эти,
Сквозь ночь и музыку и свет,
Что нет отчаянья на свете,
Но и надежды тоже нет.

*«Дом сгори,
Мать умри,
Вместо отца
Немец приди».
Детская клятва*

Увидев его, я от страха бледнел,
А потом краснел от стыда.
Возле дома, как змей, овраг зеленел,
Зеленела на дне вода.
Приходил он с лотком в левой руке –
Правой не было у него –
Предлагал на ломаном языке
Щуку, карпа, плотву, леща.

Шёл седьмой послевоенный год,
Плыл Чапаев через Урал,
Новый шлюз работал, гудел завод,
С экрана Тарзан кричал.
Не кончалась только наша война,
Каждый был из нас партизан.
Перед нами от страха дрожал Берлин
И немец-рыбник с лотком.

В заводском клубе царил Покрасс,
Пели мы про Вождя и Москву
И твёрдо знали, что если война
Начнётся – нас позовут.
Мы играли в лунки, пристенок, лапту,
Покоряли сырой овраг,
Но о немце этом с его лотком
Я не мог позабыть никак.
И вот он идёт, уже без лотка,

Одетый в чистый мундир.
Мы вчера узнали, что завтра он
Уезжает домой в Берлин.
Тогда я камень тяжёлый взял,
Клятву страшную произнёс
И, отбросив разряженный ПэПэШа,
Гранату метнул в него.

Мощный взрыв разнёс его на куски,
Всё равно он меня поймал,
И левой рукой держа за плечо,
К маме привёл домой.
Моя мама вынесла ему хлеб,
Он, сказав ей «данке», ушёл.
Но теперь я твёрдо знал – никогда
Он уже не придёт в наш двор.

Элегия

какая-нибудь бедная сиротка
когда срывая мелочи с куста
к природе подступает простота
какая-нибудь жалкая находка
сплетающая пёстрый разнобой
для малости дневного перегона
сейчас была и канула а вона
мелькнула и уже над головой
а там пойдёт то бабочкой садовой
лесной бирюлькой птичкой в разворот
чтоб я как школьник задом наперёд
не зарывался в список бестолковый
увы фантаст что нам сыскал родню
видать проспал за близостью законов
разбой травы и промельк махаонов
и мотылька летящего к огню
твоя печаль душа моя простая
а то давай кого-нибудь найдём
и нежные объятья заведём
а то ещё тропиночка живая
угрюмый лес живые иглы в нём
так соответствий мировых взыскаю
на сей перефирии бытия

я вызнал жизнь что разум затая
следит и ждёт отсутствуя втихую
а сирота здесь я

*«Я не поеду в Царское Село»
Семён Гринберг
Ему же и посвящается*

Я помню воздух Царского Села,
Как там росла, выросла и выросла
Поэтов русских славная семья:
Давыдов, Пушкин, Кюхельбекер, я...
И пусть туда не ездит Сеня Гринберг,
Зато бывали Блок, Андреев, Грин, Берг.

Там в школе у Гостиного Двора
Задолго до меня училась Аня
Горенко. Светлой юности пора,
Их с Гумилёвым первые свиданья,
Парк, свет дневной в июне по ночам, -
Понятно, что завидно москвичам.

У них ещё пасли коров и коз
В Кремле и на Тверской – в ту пору в Царском
Блистал Чедаев в ментике гусарском,
Давал концерты Гектор Берлиоз
И Калиостро обаяньем барским
Немало пробуждал девичьих грёз.

С ДэКа, скромна, соседствовала школа,
Где был директором поэт Ник. Т-о.
Зимою в парках мрачно, пусто, голо,
Цвет неба, как брезент на шапито,
Из развлечений – разве что коньки,
Портвейн, игра в снежки.

Там дева на скале сидит всегда.
Стекает из кувшина, как из крана,
Вода... Уже немало утекло.
Меж нами лет туманная гряда.
Я здесь, недалеко от Иордана,
Смотрю, грустя, на Царское Село.

Какая твёрдая вода!
Какая мрачная погода!
Ты помнишь – в прежние года
Была приветливей природа.

На сине-белые снега
Ложится воздух безучастный.
Когда-то слишком дорога
Прощай, мой первенец напрасный!

Живи легко. А мне в пути
Меж той и этой немотою
Свою отверженность нести
Как одиночество простое.

И на площадке без перил
В знобящем мира без названья
Жечь смоляные фонари
Раскаянья и упованья.

По дороге в Углич

Алексею Суслову

Есть несколько запахов, что постоянно со мной:
Вербены, цветка, чьё названье забылось, перронов
Российской провинции, старых и душных вагонов,
Пропитанных временем шпал одуряющий зной.

Всё неотделимо от леса, просёлков, реки,
Глухих полустанков, оранжевым крашенных будок,
Колёсного стука, бездельем растянутых суток,
Соседних купе, где горланят и пьют мужики.

В вагонном окне деревушки немой чередой
И где-то внутри удивительным – зрительным – эхом
Милиционеры в фуражках с малиновым верхом,
Калязин, свеча колокольни над чёрной водой.

Времени пыльца

Над полем, над лесом, над плёсом
мерцанье бесчисленных звёзд –
здесь нету проезда колёсам,
жильё далеко и погост.

Песок осыпается с кручи,
где сел у воды нелюдим,
и в темень из трубки пахучей
пускает колечками дым.

Вот сон потихоньку находит,
погас в костерке уголёк –
он дремлет, но взгляда не сводит:
не дрогнет ли вдруг поплавок.

Лес замер – ни звука, ни стука,
не ухнут с надрывом сычи –
затишье, речная излука,
дозор рыболова в ночи.

Дежурит и видит сквозь дрёму,
чуть-чуть розовеет восток –
живыми Фому и Ерёму,
дом отчий, где жизни исток.

Улыбки, знакомые лица –
и так эта явь далека!..
Куда-то струится, струится,
как жизнь, утекает река.

Где вы, Майка и Юлка,
в небесах, в облаках?..
По погосту прогулка,
приютившему прах.

Небо цвета кармина –
новых ждут похорон,
в каплях крови калина,

в ярком золоте клён.
Гаснет солнце в аллее,
жук ползет по плющу...
О прошедшем жалею,
об ушедших грущу.

Уходящее племя,
вот и я не у дел,
видно, вынесло время
на последний предел.

Где конец у маршрута?
Воздух сумрачен, мглист...
Как прыгун с парашютом,
с ветки падает лист.

На фотографии отца,
она без подписи, без даты,
не пыль, а времени пыльца,
где дни событиями богаты.

След нонпарели по лицу,
что проступает с оборота –
не скажешь, сколько лет отцу,
в глазах печаль или забота?

Уже явился я на свет
иль нет меня ещё в помине,
о чём кричат столбцы газет,
какие новости в Берлине?

Скрывает столько между строк
печати шрифт подслеповатый –
когда листаешь, как урок,
полуистлевший каталог
забытой выставки в тридцатых...

Я разбужен был без причины
на рассвете, часу в шестом,
звукм чьей-то шальной машины,
просигналившей за окном.
Сонный, ноги спустил с кушетки,

ощутил под ступнями пол,
шарить стал порошки-таблетки
и откупорил валидол.
Звёзд огарки в потёмках тлели,
был спокойствием полон дом –
вдруг представилось, как с постели
поднимали в тридцать седьмом...

Я не учился на филфаке,
в иной фактуре мой портрет –
с тельняшкой из-под рубахи
на фотографиях тех лет.
Мне лазить не пришлось по вантам,
но поболтало в двух морях –
ходил студентом-практикантом
на траулерах, сейнерах.
А жизнь вела меня упрямо
от брызг морских куда-то вкось –
нет, я не написал романа,
но биться с рифмами пришлось.
Сидишь порою над строкою,
качает ритм, как на волне, –
а рифма рыбкой золотою
увенчивает строчку мне.
Но отдалялись, отдалялись
огни причальные, моря...
Вот жизнь прошла, куда девались
те мачты, сходни, якоря?
Швартовы где и ваер трала –
я позабыл о той поре,
и не баркасы у причала,
а в ряд машины во дворе.

Небо стало голубей,
потеплело...
Где ты, свет моих очей, –
улетела?
Не помогут ни Ютуб
здесь, ни кофе –
помню вырез твоих губ,
милый профиль.

Мысли грустные гоню
стопкой браги,
фотографию храню,
что из Праги.
В ежедневной кутерьме
неизбежной
вспоминаю о тебе
нежно, нежно.

Произвольно возникают
профиль, губы, цвет волос...
Снег на сквере выгорает
под кустами, меж берез.
Не нарушить карантина,
не сойтись руке с рукой –
как тогда Борис с Мариной,
в тех же пунктах мы с тобой.
Не про нас, видать, с тобою
запоздалая весна:
синева над головою,
под ногами белизна.

Ночью ломился в оконницу ветер,
будто бы кто-то играл на гобое
или, скорее, играл на кларнете,
стёкла секло ледяною крупью.

То холодильник включал обороты,
то я и сам ощущал, что не спится –
снилось под утро абстрактное что-то,
не возникали знакомые лица...

Утром ослеп после взгляда в окошко:
снег на траве, на ветвях, на ограде,
и умывалась проказница-кошка,
ночь промурлыкав в хозяйской кровати.

Кофе не стоило б пить спозаранку,
но выпиваю, не сладив с собою –
и выхожу, нахлобучив ушанку,
в утро туманное, в утро седое...

Здесь частных тысячи историй
под солнцем мартовского дня –
Донской семейный крематорий,
где прах оставила родня.

Пылают красные гвоздики –
четыре в стынущей руке,
я не Орфей, нет Эвридики,
но жизнь почти на волоске.

Здесь ни раскаянья, ни злобы,
обиды прошлые не в счёт –
надгробья, белые сугробы
и под ногами голый лёд...

Густой и влажный снегопад сегодня –
он заметает свежие следы,
проходит хмель от встречи новогодней
и резче ощущение беды.

Хоть ничего как будто не случилось
и не случится, кажется, уже,
но эта дня январского унылость
особенно сегодня по душе.

И пусть невольно привлечет вниманье
нить лампочек, светящихся в окне,
я, изучив науку расставанья,
доволен одиночеством вполне.

Как мыслям не прийти тревожным –
поближе к полночи, не днём,
на повороте внедорожник
и слева дама за рулём.

Колеса вывернуты круто,
в полночный час в чужом дворе
она звонит, звонит кому-то
в тревожно-вьюжном январе.

Кому? Наверное, мужчине.
Как отпустил такую он?
Сидит одна в большой машине
и в правой ручке телефон...

В печи с наступлением марта
трещат веселее дрова,
уж нет у мороза азарта,
лютует, спустя рукава.
Не сладко зиме, как бабушке:
хозяйственных уйма прорех,
развязно спустили сосульки,
прозрачные ноги со стрех.
Луч солнца сквознул по террасам,
знать, скоро наладится жисть –
грачи прилетели, Саврасов
с похмелья берётся за кисть.

Дрожат балконные перила,
как будто заповедь твердя –
сквозит недюжинная сила
в струях весеннего дождя.

А он, что юноша, украдкой
притронулся щекой к щеке –
и снег сгорает, как подкладка
на очень старом пиджаке.

Шальные капли залетают
в распахнутую настежь дверь,
и снег повсюду тает, тает –
всё переменится теперь...

Сойди на станции Раздоры
в обыкновенный серый день,
пусть электричка, словно скорый,
отбросит на откосы тень.
Окинь с пустынного перрона
пристанционный реквизит –
унылый вид. Вспорхнув, ворона
накаркать что-то норовит.
Под сумрачно-пастельным небом
острее грусть, черней печаль –
возврат зимы, и мокрым снегом
занесены поля и даль.

Капелью с крыш сочились здания,
как будто был зиме капут,
а ты совсем без опоздания
зашла за мною в институт.

Снег от дождя горел и плавился –
такое чудо в январе –
я до метро с тобой отправился,
машину бросив во дворе.

Не муж с женой, не как любовники
(я помню слева профиль твой) –
душой безгрешные, как школьники,
мы шли к метро по Поварской...

Мы шли по тротуарам тающим,
звук приходил издали
мажорный – лишь по белым клавишам
летала лёгкая рука.

И когда на последнем пределе,
захрипев, повалюсь на кровать,
и душа не удержится в теле,
станут в церкви меня отпевать.
Будет кто-то давиться слезами,
кто-то мучить в ладонях букет
и, как водится, ве-е-чную память
пропоеет мне священник вослед.
Дети, жёны, друзья и подруги
пусть припомнят – была не была! –
в этом тесном возлюбленном круге
все поступки мои и дела....
Пусть бурлит, как обычно, столица,
гул стоит, смотрят в воду мосты,
ну, а я, разглядев ваши лица,
улыбнусь с неземной высоты.

Яков Шехтер

комментарии и пояснения

Анны Файн

САМОУЧИТЕЛЬ

КАББАЛЫ

Когда речь заходит о каббале, в разговоре моментально всплывает управление ангелами, снятие заклятий, передача мыслей на расстоянии и всевозможные чудеса, для перечисления которых не хватит сотен страниц. Все это верно, но диковины и удивительные происшествия - не более чем оболочка, скрывающая таинственный мир духовности.

Самоучитель предлагает читателю освоить несколько главных понятий каббалы. Методика обучения такова: после объяснения разбираемого понятия, следует рассказ, который художественными средствами иллюстрирует, как это понятие проявляется в жизни. Затем следуют вопросы, отвечая на которые, читатель сможет проверить и закрепить полученные знания.

Заказ книги по адресу: articreda@gmail.com

НОН-ФИКШН

Давид Маркиш

Долгая дорога домой

Пламенные коллекционеры различают предметы своего вожделения там, где обычный глаз ничего интересного не увидит. Поиски приводят опытных коллекционеров к успеху и открытиям, поскольку их знания культуры глубоки и фундаментальны; в особенности это относится к собирателям произведений искусства, книг, документов.

Театр для таких исследований – настоящая сокровищница, драгоценный клад. Чего там только нет! Стационарный театр бережно хранит в своём колдовском чреве рисунки и картины, костюмы и фотографии, письма и документы. Всё это богатство хранится под строгим надзором, и недреманное око бдительности сверкает денно и ночью – но и оно иногда испытывает усталость и утрачивает орлиную зоркость...

Вся эта система сохраняет жизнеспособность, пока театр функционирует в полном объёме. В СССР, в условиях сталинской диктатуры, работа театров, полностью подчинённых идеологическому аппарату государства, пресекалась одной росписью державного пера. Именно это случилось с прославленным Государственным еврейским театром (ГОСЕТ), основанным в 1920 году и просуществовавшим до конца 1949-го, когда он был закрыт - на самом пике государственного антисемитизма, преследований и репрессий, направленных против советских евреев. Ликвидация живого театрального организма, как показывает печальная практика, ведёт к безответственному разбазариванию всего того, что театр

берёт годами, а то и десятилетиями; это, разумеется, относится и к архиву. Доступ за кулисы, в прежде закрытые для посторонних помещения, свободно открывается для чиновников от культуры, следователей и просто бедовых людей. Неудивительно, что многие уникальные предметы из этого закулисного богатства постигает плачевная судьба: порча, исчезновение. Показательным примером тому явился погром в московском Еврейском театре.

Художественный руководитель ГОСЕТа Соломон Михоэлс был убит по распоряжению Сталина 13 января 1948 года. После его гибели на ночной улице Минска, театр возглавил Вениамин Зускин – блистательный актёр, сценический партнёр Михоэлса. Театр в то время был уже приговорён – как и сам Зускин, арестованный менее чем через год вслед за убийством Михоэлса и расстрелянный 12 августа 1952. После ареста Зускина театр агонизировал ещё несколько месяцев и был закрыт властями по вполне вегетарианской причине – «низкая посещаемость».

Зускина арестовали в больнице. Он страдал нервным расстройством, проходил обследование в институте Вишневского, где его погрузили в лечебный многодневный сон, близкий к летаргическому. Оттуда, из больничной палаты, завернув в простыню, спящего, его и забрали, и увезли на Лубянку. Проснулся он в тюремной камере.

Четыре знаменитых художника были накрепко связаны с ГОСЕТом: Шагал, Фальк, Альтман, Тышлер.

Великий Борис Пастернак говорил: «Быть знаменитым некрасиво». Осмелюсь с этим не согласиться: иногда бывает очень даже красиво. Четыре названных выше художника «первого ряда» служат тому безусловным подтверждением... Тут, пожалуй, стоит поставить отточие: Пастернак, очевидно, прицельно адресовал свой укор коллегам по писательству, а не художникам или композиторам. Но беспристрастное время по-своему расставляет по местам фигуры на доске прошлого, и слова Пастернака шестидесятилетней давности, как мы видим, можно отнести сегодня далеко не только к писателям.

Но Шагал, Фальк, Альтман, Тышлер – эти четверо завоевали несомненное право называться знаменитыми, и никакие обстоятельства уже не в состоянии поколебать это сословное построение. За исключением Шагала, эмигрировавшего на Запад, оставшиеся трое прошли с ГОСЕТом весь его путь – до конца. Неудивительно, что они рисовали Зускина – портретно, в сценических костюмах, в гриме. Какие-то из этих рисунков они дарили Зускину, какие-то оседали в театральном архиве. После закрытия театра архив был конфискован и разрознен: часть оказалась в запаснике театрального музея Бахрушина, часть – в других недоступных хранилищах. В «Бахрушинке» по необъяснимой причине (впрочем, пристальные наблюдатели объясняли эту причину злым умыслом) вспыхнул пожар, уничтоживший часть еврейского театрального архива; и уже невозможно было установить достоверно, сколько там было до пожара картин художников, фотографий, писем... Вопреки расхожему мнению, рукописи горят – и не только они: огонь пожирает всё подряд, без разбора.

Чудо это или не чудо, вопрос спорный; но, так или иначе, в начале 70-х годов прошлого века три театральных рисунка – Фалька, Альтмана, Тышлера – добрались до берегов исторической родины вместе с дочерью убитого актёра Аллой Зускиной-Перельман.

- Арест моего отца был произведён необычно даже для тех тёмных времён, - рассказывает Алла, – и оставил ряд вопросов, на которые нет ответов. Ночью 24 декабря 1948 года в наш дом явились за Зускиным сотрудники министерства государственной безопасности и, узнав, что хозяин лежит в больнице, отправились в клинику Вишневого и оттуда его увезли. Как будто они не знали, где находится тот, кого они пришли арестовывать в ту ночь по своей разрядке!

Арестовав спящего Вениамина Зускина в больничной палате, офицеры госбезопасности вернулись к нему домой и учинили там обыск. Что они искали в доме еврейского актёра? Радиопередатчик? Атомную бомбу? Их

интересовали, прежде всего, бумажные свидетельства – письма, документы, книги; эти материалы они упаковывали в папки и конфисковали. Картинки никак не входили в круг их оперативных интересов. Поэтому рисунки Фалька, Альтмана, Тышлера уцелели и остались во владении семьи. В 1953 году, отправляясь на десять лет в ссылку как «члены семьи изменника родины», семья убитого Зускина взяла с собой эти три рисунка и сберегла их. Тюремный этап из Москвы в Кокчетав оставил на рисовальной бумаге свои несмыываемые горестные следы, и последующая реставрация исправила положение лишь отчасти... Вот они лежат передо мной, эти три рисунка.

Больше всего повезло Тышлеру – он почти не пострадал за месяц путешествия в «вагоне ЗАК» (вагон для заключённых) и двухлетней, вплоть до досрочного освобождения, кокчетавской ссылке. Прекрасный рисунок: костюм Эмилии – её должна была сыграть жена Зускина Эда Берковская - к спектаклю «Испанцы» по пьесе Лермонтова.

Натан Альтман тоже стойко перенёс гонения и сохранился неплохо. Реставрация вернула портрету Зускина, выполненному мастером в 1928 году в Париже, во время гастролей там ГОСЕТа, первозданную художественную мощь и творческое свечение. Заслуживает несомненного внимания и подарочная надпись, сделанная Альтманом на рисунке: «Нат. Альтман 28 Дорогому милому Зускину первый рисунок карандашом». Алла Зускина-Перельман, в чьём собрании хранится этот рисунок, объясняет, что портрет Зускина – первая карандашная работа Натана Альтмана, раньше он не пользовался этой техникой.

Роберту Фальку повезло куда меньше: написанный им портрет Зускина пострадал значительно и всеобъемлющему восстановлению не подлежит. Портрет сделан в 1927 году, Зускин запечатлён на нём в роли Сендерла в спектакле «Путешествие Вениамина Третьего» по пьесе Менделеевой-Сфорима. Фальк оформлял этот

спектакль, в постановке Михоэлса принесший театру триумфальный успех.

Три рисунка, авторы которых давно завершили свой земной путь, оставив по себе добрую память, не имеющую возраста. Золотые блёстки этой памяти составляют для нас картину прошлого, на которое мы оглядываемся хотя бы и ради того, чтобы понять происходящее нынче.

История искусств, взаимоотношения художника и власти, иногда слащавые, а чаще смертельно опасные, воссоздают вчерашний день человечества с куда большей отчётливостью, чем тронутые жучком труды казённых историков. Произведения искусства сохраняют живую кровь своего времени, а ангажированные исторические сочинения напитаны не кровью, а мутной водицей.

Рассматривая работы старых мастеров, мы погружаемся в атмосферу, в какой творили их создатели – и переживаем ощущения, доступные разве что при чтении хорошей литературы. Глядя сегодня на дивные картины, добравшиеся до нас по тряским дорогам судьбы, мы испытываем благодарность и почтение к людям, стараниями которых сохранились эти посланцы из прошлого.

Гусар, не дошедший до Иерусалима

"В следующем году – в Иерусалиме!" – таким восклицанием евреи по всему миру завершают каждый год традиционную пасхальную трапезу. На протяжении многих веков это пожелание носило символический характер неосуществимой мечты. Реально попасть в тогдашний Иерусалим, с незапамятных времен находившийся под властью мусульманских правителей, было очень сложно, а еще труднее для евреев было там остаться – разве что на кладбище... Немногочисленные идеалисты-сионисты, переселившись в Палестину, страдали от тяжелого климата, враждебности арабского населения и произвола турецких чиновников. О злоключениях таких отважных энтузиастов живописно повествует, между прочим, роман Бориса Акунина "Пелагия и красный петух".

Надежда на улучшение положения евреев на их исторической родине забрезжила в разгар Первой мировой войны, в которой союзники по Антанте – Великобритания, Франция и Россия – воевали, в том числе, и против владевшей Палестиной Оттоманской империи, а попросту Турции. Ближний Восток был одним из фронтов этой войны, хотя и не самым значительным в военном отношении, но чрезвычайно важным политически. Еврейские круги Великобритании возлагали большие надежды на то, что британские войска выгонят турок со Святой земли и откроют ее для массовой еврейской иммиграции из Европы и со всего мира. И когда в конце 1916 г. к руководству Великобританией пришло правительство Ллойд-Джорджа, сочувственно относившегося к этой идее, одним из первых его шагов был приказ находившемуся в Египте генералу Алленби начать наступление на турецкие позиции в Палестине – общим направлением на Иерусалим.

В составе войск Алленби служило немало евреев, в том числе выходцев из России. Наиболее заметными из них были весьма известный к тому времени русский писатель и активный деятель сионистского движения Владимир (Зеев) Жаботинский и герой русско-японской войны, полный георгиевский кавалер Иосиф Трумпельдор. Благодаря их усилиям и давлению английских евреев во главе с профессором Хаимом Вейцманом и лордом Уолтером Ротшильдом британское правительство согласилось на формирование Еврейского легиона в составе пяти пехотных батальонов. Тогда же началась подготовка знаменитой Декларации Бальфура, провозглашавшей возрождение еврейского национального очага в Палестине.

В пехотные батальоны Еврейского легиона записывались в основном еврейские добровольцы из лондонского Ист-Энда и ему подобных районов английских городов с небогатым еврейским населением. Но патриотические и национальные чувства испытывали и их зажиточные соплеменники – в том числе и очень богатые. Где же пристало служить молодому патриоту из весьма, весьма состоятельной семьи – разумеется, в гусарах! Тем более, что антисемитские предрассудки хотя и были в определенной степени свойственны английской аристократии, традиционно поставлявшей офицерские кадры в кавалерийские полки, но вполне уравнивались почтением к роскошным особнякам, охотничьим угожьям и чистопородным скакунам их еврейских однополчан.

Этот рассказ – о британском гусаре-еврее, сражавшемся в 1917 г. в Палестине и сложившем голову на земле далеких предков, совсем немного не дойдя до заветного Иерусалима.

Принц маргаринового царства

Капитан Собственного гусарского полка герцога Кембриджского ("Миддлсекских йоменов") Сеймур Джейкоб ван ден Берг сохранял невозмутимое выражение лица, слыша жалобы своих солдат на эскадронного повара за

надоевшие всем сэндвичи с маргарином. Он и сам их недолюбливал, предпочитая сливочное масло. Но где ж его взять в условиях Синайской пустыни – а еще необходимо было блюсти семейную честь. Ведь своими сшитыми у лучших лондонских портных мундирами, породистыми лошадьми и возможностью поить товарищей шампанским в каирских отелях – всеми этими радостями гусарской жизни Сеймур был обязан именно маргарину.

Семья голландских сефардов ван ден Бергов издавна занималась производством и сбытом сливочного масла. Всем хороша была их высококачественная продукция, кроме одного: ее широкому употреблению в еврейских домах препятствовали законы кашрута, категорически запрещающие смешивать мясную пищу с молочной. Для давно воспринявших европейский образ жизни, но не забывших библейские заветы еврейских семей это создавало массу ограничений.

И тут во второй половине XIX века появляется маргарин. Император Наполеон III потребовал от французских ученых создать некое подобие масла, похожее на него по вкусу и физическим свойствам, но гораздо более дешевое, которым можно было бы снабжать армию и которое могли бы покупать бедные слои населения. Новый продукт получил свое название от греческого "маргарос" – перламутр. Маргарин быстро завоевал популярность, но только не среди евреев: ведь он содержал животные жиры – да еще неизвестно, каких животных, а если свиной?! И поэтому на роль "немолочного масла" не годился – пока хитроумный масляный фабрикант Симон ван ден Берг из маленького германского города Клеве возле голландской границы не додумался заменить животный жир пальмовым маслом. Это сегодня многие воротят нос от этого растительного масла, а тогда никто и не подозревал о его (якобы) вредных свойствах. Наоборот, пальмы вызывали у людей только приятные ассоциации, а евреям они еще напоминали о заветной Земле Израиля. Поэтому свой первый в мире кошерный маргарин "парве" (т.е. ни мясной, ни молочный) Симон ван ден Берг так и назвал: "Томор",

что на иврите в его ашкеназском произношении означает "Пальма". Продукт после должного исследования был одобрен учеными раввинами и мгновенно завоевал популярность еврейского населения по всей Европе и даже в США: вкусно, кошерно и недорого. Между прочим, "Томор" и сегодня можно встретить на прилавках среди товаров для "веганов". А семейная фирма ван ден Бергов после многих слияний, поглощений и преобразований стала глобальной корпорацией "Юнилевер".

Маргариновый бизнес тем временем быстро разрастался, и в 1870-х годах Симон отправил двоих из своих семерых сыновей в Англию, чтобы те открыли отделение фирмы в Лондоне. Там дело пошло настолько успешно, что в 1887 г. один из сыновей, Генри, женившись на 19-летней красавице Генриэтте Спаньярд (фамилия явно указывает на далекие испанские корни сефардских евреев), приобрел семейное гнездышко прямо напротив Кенсингтонского дворца (сегодня на этом месте находится израильское посольство). Адрес неплохой, но все же это центр огромного города, а детям требуются воздух и простор. Поэтому семья вдобавок к городской приобрела загородную резиденцию Броудуотер-Корт в фешенебельном курортном городке Роял Танбридж-Уэллс в 50 километрах от столицы. Именно там и выросли будущий гусар Сеймур и его братья Дональд и Джеймс. Спортивные игры с раннего возраста, верховые прогулки по живописным окрестностям, пикники на лоне природы, общение со сверстниками из состоятельных семейств, обязательное посещение благотворительных мероприятий, не слишком обременительные занятия с частными учителями и специально приехавшим из Лондона раввином – и никаких бутербродов с маргарином, обычного перекуса английских школьников из небогатых семей того времени.

Родившегося в 1890 г. Сеймура в десятилетнем возрасте отвозят в Бристоль и определяют в передовую по тем временам частную школу – Клифтон-колледж, где имелся отдельный интернат для еврейских мальчиков. Получив

там прекрасное среднее образование, юноша перебирается в Оксфорд, в один из старейших и престижнейших из его многочисленных колледжей, Баллиол, где проходит курс наук, необходимых для подготовки к юридической карьере. Впрочем, не меньше времени, чем римскому праву, Сеймур уделяет своему любимому спорту – регби. И делает в нем такие успехи, что его дважды – в 1912 и в 1913 – избирают капитаном Rugby XV – главной оксфордской команды. Чтобы заслужить такую честь в атлетическом и бойцовом командном спорте, нужно было проявить себя не только крепким и быстрым парнем, но и надежным товарищем. Именно таким вспоминали впоследствии Сеймура ван ден Берга его соученики по университету.

Во время учебы студенты проходили подготовку в качестве офицеров запаса и по ее окончании приписывались к какой-либо воинской части, причем для этого требовалось согласие не только ее командира, но и всех офицеров действительной службы. Сеймур, который и в Оксфорде не прерывал занятия верховой ездой, выбрал Собственный гусарский полк герцога Кембриджского ("Миддлсекские йомены"). Это была заслуженная кавалерийская часть, созданная еще в 1797 г. для войны с республиканской Францией. Первоначально офицерами в ней служили провинциальные землевладельцы-дворяне, а солдатами – их арендаторы-крестьяне ("йомены"). К двадцатому веку эти сословные различия во многом стерлись, но все же для принятия в ряды офицеров требовалось быть "джентльменом", причем небедным: обмундирование стоило дорого, и для поддержания своего офицерского достоинства требовались немалые деньги. Штаб-квартира полка находилась в Челси, аристократическом районе Лондона, что также привлекало в него молодых людей из "высшего общества". За годы, проведенные в Танбридж-Уэллсе и в Оксфорде, Сеймур стал своим в этих кругах и безо всяких проблем был принят в полк. Как и другие офицеры запаса, он время от времени появлялся в полку – в основном, чтобы пропустить с друзьями по стаканчику хереса и обсудить последние

результаты великосветских скачек в Аскоте и Эпсоме. Ну, и чтобы его полковая лошадь не слишком отвыкла от седока. Остальное же время было посвящено неторопливой подготовке к экзамену на адвокатское звание. Вряд ли Сеймур собирался становиться профессиональным "барристером" или "солиситором", но в британском обществе юридическая квалификация считалась престижной, и наверняка оказалось бы полезной для семейного бизнеса.

В общем, жизнь складывалась прекрасно у молодого наследника маргариновой империи – до 4 августа 1914 г., когда Великобритания вступила в Первую мировую войну, и улицы Лондона разукрасились плакатами, с которых указующий перст фельдмаршала лорда Китченера звал к каждому настоящему мужчине: «Твоя страна нуждается в тебе!». И Сеймура ван ден Берга не пришлось упрашивать дважды: в тот же день он явился в полк, сменив элегантный штатский костюм на полевую форму цвета хаки. А расшитый золотыми шнурами гусарский мундир отправился в походный чемодан в ожидании победоносного окончания сражений с тевтонскими варварами и их австро-венгерскими и турецкими прихвостнями.

В том же августе 1914-го ушел на войну младший брат Сеймура, Джеймс, лейтенант 6-й Лондонской артиллерийской бригады. А в мае 1916-го семья – к тому времени у него уже были жена и ребенок – с ужасом узнала о гибели Джеймса под городом Аррас во Франции...

Через Салоники – на освобождение Эрец Исраэль

Вопреки ожиданиям миддлсекских йоменов, их не отправили на континент сражаться за свободу оккупированной немцами Бельгии, а оставили защищать побережье графства Норфолк от возможного германского вторжения. Но долго переживать по этому поводу Сеймуру не пришлось: вместе с множеством однополчан его свалил брюшной тиф. Болезнь оказалась не только совсем не романтической, но и весьма длительной. Только к осени

1915г. молодой здоровяк сумел полностью от нее оправиться и был признан годным к дальнейшей службе. К этому времени его полк успел принять участие в неудачной для англичан и французов галлиполийской операции с целью захвата Константинополя и, понеся большие потери, был кораблями эвакуирован в Египет. Там к нему и присоединился лейтенант ван ден Берг – как раз вовремя, чтобы снова погрузиться на корабль и вместе со всей 8-й кавалерийской бригадой пересечь Средиземное море в обратном направлении, на этот раз в греческий порт Салоники.

Там разворачивалась Македонская операция (в русской литературе именуемая Салоникской), направленная на спасение остатков сербской армии от полного ее разгрома соединенными силами австро-венгров, болгар, турок и германцев. Этим коалиционным войскам противостоял еще более разношерстный "интернационал" войск Антанты: британцы, австралийцы, новозеландцы, индийцы, французы (в том числе их колониальные части из Сенегала и Вьетнама), сербы и итальянцы. Чуть позже к ним присоединились и русские – 2-я и 4-я Особые пехотные бригады, насчитывавшие 18 тысяч тщательно отобранных и обученных солдат. Им еще в московских Хамовнических казармах внушалась необходимость первым делом выручить доблестных сербских "братушек-славян", а там, глядишь, и пройти парадным строем по улицам древнего Царьграда и снова водрузить православный крест над Святой Софией. О том, что братушек-сербов гнали аж до греческого побережья несколько не менее славянские братушки-болгары, предпочитали помалкивать. Так что многие русские солдаты оказались сильно озадачены, столкнувшись в бою с болгарами, которые – особенно обучавшиеся в русских военных училищах болгарские офицеры – осыпали их не только пулями и гранатами, но и не требующими перевода родными матюками.

На Салоникском фронте гусарский полк миддлсекских йоменов состоял при главном штабе союзных войск в качестве резерва для особых операций. В отличие от

многих спешенных кавалерийских частей, ведших окопную войну, Сеймур и его полк сражались в конном строю. Они выполняли разведывательные задания в тылу противника и устраивали засады для перехвата его транспортных колонн. Часто, обернув копыта лошадей тряпками, гусары ночью выезжали на нейтральную полосу для установки проволочных заграждений.

Все же большую часть времени британские гусарские офицеры проводили не на позициях, а в городе и в его окрестностях. Салоники тех времен был во всех отношениях живописным местом. Первой мировой войне предшествовали две локальные Балканские войны, в которых за обладание этим важным морским портом боролись и греки, и турки, и болгары, и сербы. Особенно активно орудовали там подпольные группы македонских националистов, считавших Салоники частью древней – а, следовательно, и современной Македонии. При этом почти 40% городского населения составляли евреи-сефарды, державшие в своих руках всю экономику и занимавшие видное место в среде городской интеллигенции. Их разговорным языком был ладино, все они владели и ивритом, а молодое поколение свободно изъяснялось по-французски. Легко себе представить, какой эффект произвело появление в салоницком обществе появление бравого британского офицера из почтенной сефардской семьи. Ладино и иврит Сеймур с детства слышал дома и в лондонской сефардской синагоге, почетными прихожанами которой была семья ван ден Бергов, а французским он вполне овладел за годы учебы в колледже.

Кто знает, не привез бы Сеймур себе жену из числа местных сефардских красавиц, удачно сочетавших восточный колорит с еврейским воспитанием и европейской культурой, если бы в июне 1917 г. его полк не был переправлен в Египет, а оттуда в Хан-Юнис на юге полосы Газы. Там его влили во вновь сформированную Йоменскую кавалерийскую дивизию, задачей которой, как и прочих английских, австралийских, новозеландских, индийских и других войск Египетского экспедиционного корпуса

являлось освобождение Палестины – в первую очередь Иерусалима – от турецких войск.

К этому времени Египетский экспедиционный корпус британских войск уже в течение длительного времени находился в бездействии на оборонительных позициях, после того как в апреле не смог преодолеть сопротивление турецких войск и вынужден был прекратить наступление на Палестину. И у турок тоже никак не получалось отбросить англичан обратно к Суэцкому каналу. Эта патовая ситуация не устраивала верховное командование ни с той, ни с другой стороны, и Лондон с Константинополем почти одновременно пошли по проверенному веками пути: сменили командующих.

Командование британскими войсками в июне 1917 принял генерал сэр Эдмунд Алленби, незадолго до того оставивший пост командующего 3-й британской армией во Франции. На его назначении настоял Ллойд-Джордж, напутствовавший генерала словами: "Сэр Эдмунд, я отправляю вас за подарком для народа Британии на Рождество. Подарите нам Иерусалим". Премьер-министр трезво смотрел на вещи, отводя Алленби целые полгода на овладение "подарком". И он оказался прав: старый кавалерист сэр Эдмунд, спешившись в знак уважения к историческим святыням, вошел во главе своих войск в Старый город Иерусалима 11 декабря 1917 г.

Алленби был решительным военачальником, требовавшим безусловного подчинения своим приказам. После одного из тяжелых боев во Франции он проезжал со своим штабом поле, усеянное телами убитых британских солдат. Лицо генерала сохраняло невозмутимое выражение, когда он приказал адъютанту: "Вечером напомните мне объявить выговор командиру этого полка. Я насчитал троих убитых, у которых - вопреки моему приказу - не было стальных касок". Никто из подчиненных не был свидетелем каких-либо его эмоций, кроме единственного случая: в июле 1917-го, уже на Палестинском фронте, ему прямо во время осмотра войск вручили телеграмму от жены, извещавшую о гибели во Франции их единственного сына.

Из глаз генерала хлынули слезы, но он тут же взял себя в руки и прочел окружившим его офицерам стихотворение английского поэта Руперта Брука "Солдат":

*Коль я умру, знай вот что обо мне:
Есть тихий уголок в чужой земле,
Который будет Англией всегда...
В земле богатой – побогаче прах,
Частица Англии, воспитанная ею,
В ее цветах любви, в ее аллеях...
Частица Англии из воздуха и света
Омыта реками и звездами согрета.*

(Перевод А. Рытова)

В июне 1917 г. появился новый командующий и у турок им стал немецкий генерал Эрих фон Фалькенхайн, бывший начальник германского генерального штаба, лишившийся должности из-за "Брусиловского прорыва" на Восточном фронте. Чтобы подчеркнуть свое доверие к Фалькенхайну, султан тут же произвел его в турецкие фельдмаршалы. В итоге Фалькенхайну не удалось удержать Палестину в руках Османской империи, а среди ее еврейского населения он оставил по себе добрую память – предотвратил задуманную турками депортацию евреев в азиатскую Турцию, при которой значительная часть из них неминуемо бы погибла. Стоит еще упомянуть, что зять Фалькенхайна, генерал-майор Хеннинг фон Тресков, стал в 1944 г. активным участником заговора против Гитлера.

Сеймур ван ден Берг был воодушевлен прибытием на Землю Израиля и предстоящим своим участием в ее освобождении от турецкого владычества. Однако мало кто из однополчан разделял его энтузиазм – уж очень негостеприимными представились им окрестности Газы и пустыня Негев. Испепеляющий летний зной, море проникающего в любую щель мелкого песка, дующий из глубины пустыни сухой горячий ветер "хамсин", масса ползающих и летающих насекомых, постоянная нехватка воды, и вдобавок главный и неистребимый враг солдат всех армий той поры – вши. Один из офицеров Йоменской дивизии писал домой в Англию: «Находясь в окрестностях

Салоник, мы говорили друг другу: противней этой жаркой каменистой дыры ничего быть не может. Куда теперь ни пошлют – хуже уже не будет. И только здесь, на юге этой вашей так называемой Святой Земли, мы поняли, как мы ошибались!»

Вдобавок ко всем этим неприятностям, приходилось ведь еще понемногу и воевать... Кавалеристов периодически посылали в рейды для разведки турецких позиций и нарушения их коммуникаций, особенно построенной ими с помощью немецких инженеров железной дороги. Турки тоже не сидели сложа руки и старались подтянуть свою весьма боеспособную артиллерию поближе к британским позициям, дабы чаще беспокоить неверных в их траншеях. Германские союзники прислали туркам в Палестину не только своего фельдмаршала, а еще и отряд летчиков, получивших боевой опыт на европейском театре военных действий. Их самолеты – "Альбатрос", "Таубе" и "Авиатик" – и по количеству, и по летным качествам превосходили немногочисленные британские и австралийские аэропланы. Безоблачная погода и плоский ландшафт позволяли немецким пилотам часто бомбить и обстреливать пехотные позиции и кавалерийские отряды англичан.

Генерал Алленби сразу по прибытии в Палестину начал готовить свои войска к наступлению. Позиционная траншейная война была совсем не в его кавалерийском характере, да и обещание, данное Ллойд-Джорджу, нужно было выполнять. Началась перегруппировка войсковых частей, накопление поступающих через Египет вооружений и боеприпасов, обучение войск – в первую очередь кавалерии – маневренным действиям. Особое внимание было уделено сооружению передовых форпостов в предполагаемом направлении главного удара – на Беэр-Шеву. Это небольшое бедуинское поселение в центре пустыни Негев турки и их германские союзники выбрали в качестве главной базы своих войск, преграждающей противнику путь на Иерусалим. Там были построены

казармы и склады, сооружены аэродром и железнодорожная станция.

Путь наступления от Газы на Беэр-Шеву преграждал невысокий горный хребет Эль-Буккар, неподалеку от сегодняшнего местоположения военного полигона Цезалим. Эта цепочка холмов важна была еще и тем, что позади нее британские войска сооружали полевую железную дорогу, которая должна была помочь готовившемуся наступлению. Время от времени появлявшиеся на холмах турецкие кавалеристы обстреливали строящуюся дорогу, и существовала угроза размещения там турецкой артиллерии. Поэтому Алленби разместил на холмах опорные пункты, гарнизоны которых составляли спешенные английские и австралийские кавалеристы. В одном из таких пунктов на т.н. высоте 720 засело подразделение миддлсекских йоменов под командой майора Александра Лафона и его друга и заместителя капитана Сеймура ван ден Берга.

Реакция турок – а вернее, генерала Фалькенхайна – не заставила себя ждать. Шесть пехотных батальонов и два эскадрона кавалерии при поддержке двенадцати орудий под командой бригадира Исмета Инёну (кстати, будущего президента Турции) на рассвете 27 октября 1917 г. обрушились на британские опорные пункты. Силы были слишком неравны, и после упорного шестичасового боя и двух безуспешных штурмов турки овладели высотой 720. Большая часть ее защитников сумела по приказу майора Лафона отступить перед последней атакой, а сам он вместе с ван ден Бергом и двумя десятками солдат остались прикрывать их отход. Никто из них не выжил, кроме трех раненых рядовых.

Лафона турки с воинскими почестями похоронили неподалеку, рядом с его солдатами. Тело же Сеймура, обнаружив, что он еврей, решили предать земле в Беэр-Шеве – ошибочно предположив, что там имеется еврейское кладбище. Для перевозки были отряжены со своей лошадкой трое мобилизованных турками еврейских возчиков из Реховота – Даниэли, Айзенберг и Гирш.

Привезли они его в Беэр-Шеву – а кладбища-то и нет... Не жили тогда в Беэр-Шеве евреи, а следовательно – и не умирали. Британский гусар оказался первым. С трудом отыскали реховотские возницы нескольких служивших у турок евреев (в том числе, по слухам, одного германского офицера-железнодорожника), собрали миньян и похоронили Сеймура ван ден Берга в земле его предков.

Высота 720 и весь хребет Эль-Буккар недолго оставались в турецких руках. И недели не прошло, как войска генерала Алленби сбросили оттуда турок и штурмом овладели Беэр-Шевой. И в тот же день правительство Великобритании опубликовало Декларацию Бальфура, признав тем самым право еврейского народа на свою историческую родину.

В 1921–1922 годах британская армия основала в Беэр-Шеве военное кладбище, существующее и поныне в окружении жилых новостроек. Строгими рядами выстроились на нем 1239 могильных камней британских и австралийских солдат, павших более ста лет назад в боях за освобождение Эрец Исраэль от турецкого владычества. На 1238-ми из них высечены кресты, а на одном, в первом ряду – шестиконечная Звезда Давида. Под ней английская надпись: *So far from home yet so near to those who love him – Так далеко от дома, но так близко к любящим его.* Это о нас с вами, израильтянах, за чье право жить на своей земле когда-то отдал свою жизнь лондонский плейбой, оксфордский регбист и миддлсекский гусар Сеймур ван ден Берг.

Руставели на иврите

*Я зарабатываю грош
От напечатанного знака,
Я жду вопроса: Как живешь?
Чтобы ответить: Как собака.
Когда бездомен верный пес
И хлеба кус во рту случаен,
Не задавай ему вопрос:
Какой же пес его хозяин...*

Б. Гапонов

Ровно 50 лет назад - в марте 1969 г. в Израиле вышел в свет перевод на иврит знаменитой поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Сенсацией стало то, что осуществил перевод гражданин тогдашнего Советского Союза Борис (Дов) Пантелеймонович Гапонов (1934-1972).

Он родился в г. Евпатория Крымской области, но в 1941-м в связи с началом Великой Отечественной войны (отец Бориса был призван в армию вскоре после начала войны и погиб на фронте) его семья эвакуировалась в грузинский город Кутаиси, где Борис поступил в среднюю школу, которую в 1953 г. окончил с золотой медалью.

С основами иврита и ТАНАХом юношу познакомил его дед - выпускник знаменитой Виленской ешивы раввин Хаим Шмуэль Мазе, брат известного московского раввина, публициста и общественного деятеля Якова Мазе (1859-1924). Дед занимался с внуком по книгам Торы, Мишне, «Книге Агады» Бялика и Равницкого и стихотворениям Х.-Н. Бялика. Основные знания по ивриту Борис Гапонов приобрел самостоятельно, слушая передачи радиостанции «Голос Израиля» на иврите (в Кутаиси их не глушили) и, занимаясь по старым, дореволюционного издания

еврейским книгам, которые он обнаружил в местной синагоге и у друзей. «Книгу пророков я изучил основательно... - вспоминал Гапонов. - Словарей у меня не было, поэтому я был вынужден составлять карточки со словами и выражениями и учить их, пока не постигал значения полностью, и они не проникали в мою кровь» (перевод с иврита из писем Гапонова, изданных в 1983 г. в Тель-Авиве). Иврит стал жизненным призванием молодого человека, его единственной страстью.

В 1956 г. Гапонов поступил в Институт восточных языков при МГУ им. М.В. Ломоносова, где изучал персидский язык. К сожалению, из-за материальных трудностей (умер дед, фактически содержавший семью материально) одаренному студенту удалось проучиться совсем недолго - он оставляет Москву и возвращается в Грузию.

После службы в армии Гапонов поступает на работу в многотиражную газету «Ленинец» Кутаисского автозавода, где десять лет (до 1969 г.) работает переводчиком с грузинского на русский, корректором и литсотрудником. Ради дополнительного заработка ему также приходилось переводить с грузинского на русский совершенно разные материалы, например, научные труды и диссертации. Так, Гапонов перевел на русский книгу тогдашнего секретаря Союза писателей Грузии Д. Квициридзе и некоторые другие издания.

Одновременно на рубеже 60-х годов Гапонов начал серьезно заниматься переводами с грузинского и русского языков на иврит. В 1962 г. он приступил к составлению русско-ивритского словаря, в те же годы перевел на иврит «Героя нашего времени» М. Ю. Лермонтова.

Подлинным взлетом таланта Бориса Гапонова, его творческим подвигом стал блестящий перевод поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» на иврит. Идею возможности перевода Гапонов обдумывал давно. Через своего родственника Моше Евзерова, жившего в Хайфе, Гапонов заочно познакомился с израильским журналистом Моше Невяски, с которым ряд лет переписывался на иврите. Так, в одном из писем (7.9.1960) переводчик

спрашивал: «Я бы хотел задать Вам вопрос из литературной сферы: переведено ли на иврит творение великого классика грузинской поэзии Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре»? Это значительное произведение переведено на многие европейские языки, но я сомневаюсь, что оно существует и на иврите...»

Уже через пять с половиной лет Гапонов писал (9.1.1966) тому же М. Невяски: «Я начал и с Б-жьей помощью скоро закончу большое дело: перевод на иврит обширной поэмы выдающегося грузинского поэта двенадцатого века Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре...» Произведение состоит из 1671 строфы, и я уже перевел около тысячи ста. Я хотел бы услышать Ваш совет и попросить помощи: куда мне обратиться, чтобы мой труд увидел свет?»

Так одна из глав этой работы попала в руки крупнейшего израильского поэта и переводчика Авраама Шленского (1900-1973), который был поражен мастерством перевода. Шленский взял заочное шефство над Гапоновым и приложил немало усилий, чтобы «Витязь...» на иврите был издан в кратчайшие сроки и в лучшем виде. Например, по настоянию Шленского, для этого издания была изготовлена особая бумага, напоминавшая по виду пергамент.

Гапонов сумел создать настоящее произведение поэтического искусства. Перевод был выполнен в великолепной поэтической форме с большой степенью соответствия духу и стилю оригинала. Ранее знаменитую поэму переводили на идиш (Д. Гофштейн, Е. Фининберг, М. Хашевацкий), а также фрагмент из 36 строф перевел на иврит известный израильский поэт Ш. Черниховский (1875-1943). Гапонов перевел поэму полностью.

В Израиле этот труд был опубликован в марте 1969 г. и сразу же вошел в классику поэтических переводов на иврит. Книга в прекрасном издании большого формата и с великолепными иллюстрациями из рукописи XVII века была издана одним из крупнейших израильских издательств «Ам овед», перевод редактировал сам А. Шленский. По общему мнению ряда специалистов, эта работа не уступает оригиналу по силе эмоционального воздействия, и поэтому

стала явлением в ивритоязычной культуре. Появились десятки восторженных рецензий, статей и обзоров.

Вместе с тем, следует учесть, что Гапонов находился фактически в языковой изоляции, поскольку литературный иврит в СССР в 50-60-е годы XX века был уделом единиц, как, например, профессора Б. М. Гранде (Москва) и К. Г. Церетели (Тбилиси), а также составителя известного иврит-русского словаря (Москва, 1963 г.) Ф. Л. Шапиро. Поэтому переводчику «Витязя...» приходилось создавать свой особый, танахический стиль иврита, что несколько усложнило восприятие поэмы основной массой читавших на иврите, владевших главным образом разговорным языком.

Шленский выдвинул кандидатуру Гапонова на присуждение премии им. Шауля Черниховского, которой награждаются литераторы за классические переводы художественной литературы. В письме членам комитета по присуждению премии знаменитый израильский поэт писал: «Мы надеемся, что присуждение премии Д. Гапонову позволит ему приехать в Израиль, чтобы мы лично здесь приветствовали его. Может быть, появится возможность, чтобы он остался здесь на постоянное проживание» (цит. по предисловию Ш. Эвен-Шошана к книге стихов Лермонтова, переведенных Д. Гапоновым). Так Гапонов первым из неграждан Израиля стал лауреатом премии им. Шауля Черниховского.

Для получения премии в Израиль были приглашены Б. Гапонов, автор фундаментального труда о Руставели (также переведенного Гапоновым на иврит) академик А. Барамидзе, и председатель Союза писателей Грузии И. Абашидзе. Однако руководство тогдашнего СССР отказало всем троим в разрешении посетить Израиль. Единственное, что мог сделать А. Шленский, так это переслать Гапонову около 30 статей из израильских газет и журналов, посвященных переводу «Витязя...» на иврит.

Неожиданное крушение годами лелеемой надежды побывать в Израиле повергло Гапонова в отчаяние и тяжело отразилось на уже ряд лет ухушавшемся

состоянии его здоровья. Однако, преодолев депрессию, литератор сосредоточился на переводе стихов Лермонтова, его поэмы «Измаил Бей» и романа «Герой нашего времени». Он перевел также несколько стихотворений современных русских поэтов и продолжал составлять русско-ивритский фразеологический словарь.

Весной 1970 года усилились недомогания, и Гапонов был вынужден периодически прекращать работу. Будучи уже не в состоянии писать правой рукой, он достал пишущую машинку с ивритскими литерами, и пальцами левой руки выстукивал перевод «Героя нашего времени». Тогда же Гапонов впервые обратился к властям за разрешением на выезд на постоянное жительство в Израиль, однако эта просьба была отвергнута.

Талантливый переводчик таял на глазах, не смогла помочь и операция по удалению опухоли мозга, сделанная Гапонову в марте 1971 г. в Ленинграде. Врачи определили, что дни Гапонова сочтены... Только теперь он и его мать Берта Самойловна получили разрешение на эмиграцию в Израиль.

28 мая 1971 г. уже тяжело больного, парализованного и лишённого дара речи Гапонова привезли в Израиль, и уже на следующее утро в больнице «Тель а-шомер» его навестил Шленский. Встреча с угасавшим Гапоновым, из глаз которого при виде знаменитого израильского поэта потекли слезы, произвела на последнего сильное впечатление. «Может быть, - писал вскоре Шленский в письме (31.5.1971 г.) к литератору и переводчику Аврааму Белову (Элинсону), - все же случится чудо, и медицинский уход здесь поможет ему».

Вскоре был издан перевод на иврит романа «Герой нашего времени» (издательство «Сифрият а-поалим»), также получивший высокую оценку. Академия языка иврит (Иерусалим) присвоила Гапонову звание почетного члена, ему также была присуждена премия президента Израиля для писателей-репатриантов. На церемонии вручения премии Гапонова представлял А. Шленский...

25 июля 1972 г. талантливый литератор скончался, ему было только 38 лет.

В 1983 г. в издательстве «Ам овед» вышел в свет сборник 300 писем Гапонова на иврите под названием «Письма из Закавказья, 1960-1970», который подготовил к изданию известный израильский поэт, очеркист и переводчик Шломо Эвен-Шошан. В 1989 г. израильское издательство «А-Кибуц а-меухад» опубликовало также подготовленный Ш. Эвен-Шошаном сборник стихов Лермонтова в переводах Гапонова. Эти переводы около 150 стихотворений последний переправил в Израиль еще в 60-е годы, но тогда лишь отдельные из них увидели свет в газетах и журналах.

В неизданном наследии Гапонова значительный интерес представляют большой фразеологический словарь иврита, над которым составитель работал 15 лет, заметки, связанные с переводом поэмы Руставели, а также авторские стихи Гапонова на русском языке, посвященные еврейской тематике.

В Иерусалиме в долине Креста именем великого грузинского поэта в 2005 году была названа улица, на которой стоит православный мужской монастырь Святого Креста. В нём некогда жил выдающийся грузинский поэт и государственный деятель Шота Руставели (ок. 1172-1216 гг.), который здесь же и был похоронен. Позднее на этой улице был установлен памятник Руставели.

В Кутаиси одна из улиц носит имя Гапонова, а на доме, где жила его семья, установлена мемориальная доска. В 1989 г. правительство Грузии посмертно удостоило литератора Государственной премии им. Шота Руставели. Память о Гапонове хранят и в Израиле: именем талантливого переводчика названа одна из небольших улиц в Рамат-Гане.

Японская железная дорога

Читаю книгу интереснейшего писателя-пешехода, где он внимательно исследует свои впечатления, чувства и мысли, и думаю, как точно он себя назвал. Ведь только при неторопливом пешем ходе, помогающем созерцанию, можно всё это отследить и обдумать.

А меня можно было бы назвать учительницей-приключеницей. Неловко, громоздко, но верно. При всём моём отвращении к жизненным и путевым передрягам (сыта по горло) приключения в анализе литературных текстов – любимое занятие. Да ещё и ученик подвернулся подходящий. Вернее, не подвернулся, а кропотливо выращен. Шестнадцатый год ращу его – и себя, благодаря ему.

«Бедный мальчик!» – сказала одна литературная дама, услышав, что сейчас мы читаем с ним «Воскресение» Толстого Льва Николаевича.

«Это читабельно?» – удивилась сверху вниз другая дама, математическая. Математики, как я заметила в процессе систематического общения, вообще на мир смотрят сверху вниз со своих абстрактных математических вершин. И пусть бы, но зачем сверху вниз – о литературе? Мир вообще не любит, когда на него – сверху вниз.

Другая, тоже математическая, дама из Калифорнии доступно объяснила мне, не отягчая речь аргументами, что математики – главные люди в нашем мире, и выстроила иерархию, по которой чистые математики, такие, как её муж, известный профессор, находятся на самом верху. Другие, не такие известные, как она сама, – немного ниже. Третьи, что не выдержали разрежённого воздуха чистой математики и ушли в другие науки: экономику, биологию и т.п. – она назвала, к моему изумлению, известные нам

обеим имена – ещё ниже, но всё-таки достаточно высоко. Она не продолжила, проверяя, усвоила ли я урок, и решила, что с меня хватит. И я осталась болтаться у подножия возведенной ею башни с вечными литературными текстами, неразрешимыми вопросами, бесконечно вылезаящими из них, и вольно пристроенными деепричастными оборотами. Но не одна, а как раз с тем самым учеником. А он именно чистый математик, правда, пока только докторант. Пока.

Вертикальная картина мира, уверенно заявленная калифорнийской дамой, была принята мною к сведению, но моей никак стать не смогла, ввиду её незатейливой примитивности, и после возвращения из далёкой поездки я как раз и предложила ученику прочесть нечитабельное «Воскресение».

– Зачем мы это читаем? Толстой что, больше ничего интересного не написал?

– Интересное читай, пожалуйста, без меня. Я здесь для чего? Чтобы интересным стало сложное, непонятное с первого раза.

Про Катюшу Маслову понятно и так. Нехорошо соблазнять беспомощных девушек и уходить не оглядываясь. А вот про «внутреннего» и «внешнего» человека, которые живут в каждом и борются между собой насмерть? И что случается, если побеждает «внешний» человек, носитель жизненных правил и установок жизненного окружения? А что – если побеждает «внутренний» человек, то есть, выработанные им самим установки и правила в соответствии с базовой религиозной моралью?

– Да, это интересно. Но зачем он всё время повторяет? Кружит и возвращается в то же место.

– Думаешь, в то же? Сравни и подумай, зачем повторяет? Как углубилась мысль? Расширилась? Пересохла и исчезла или наполнилась новым смыслом и превратилась в свою противоположность? Или окрепла и стала убеждением? Что-то может быть интереснее?

– Нет, не может. Но тогда скажи, что означают слова «Товарищ прокурора был от природы очень глуп»?

Ученик обращается ко мне на «ты». Родной язык его – иврит. Русский он пришёл ко мне учить в предпоследнем классе школы и не смирился с недемократичной вертикалью «ты – вы». Когда я попыталась сказать ему «вы», ученик возразил: «Я один. Я здесь один». И не то, чтобы он не знал этических норм русского – я ему сообщила о них своевременно – он понял, но не принял. И я легко согласилась – мы на «ты». Я тоже демократка, и горизонталь мне дороже вертикали.

– Как можно быть глупым от природы? – продолжает ученик. – Он ведь не болен. Да и больной вовсе не глуп, а болен.

– Нельзя, – соглашаюсь я. – Глупый/умный – это социальная норма. То, что в одном социуме ум, в другом – как раз глупость. Так бывает. Помнишь, Самуил Лурье – я рассказывала тебе о нём – сказал: «Человек сам выбирает, быть ему умным или глупым». Выбор не может быть от природы. У природы выбора нет. А в демократическом обществе человек может выбрать даже социальную страту. Но ты посмотри, как Толстой, живущий в патриархальном обществе, где возможности выбора существенно ограничены, дальше уточняет свою мысль. Почему золотая медаль – это несчастье, и награда за сочинение в университете – тоже несчастье? Почему успех у дам усугубляет это несчастье, по мнению Толстого?

- Товарищ прокурора стал самодоволен, – отвечает внимательный ученик, – и «вследствие этого был глуп чрезвычайно».

– То есть он стал «глуп чрезвычайно» вследствие свалившихся на него несчастий, которым не смог или не захотел – не считал их таковыми, поскольку в его среде они почитаются достижениями – противостоять. Глупость, по Толстому, – следствие самодовольства. Посмотри, сколько раз он в дальнейшем употребляет это слово. Будто забивает гвоздь, и ещё один – для верности, и ещё... Чтобы надолго, чтобы намертво.

– Но зачем тогда сначала писать, что он был глуп от природы? Чтобы потом это опровергнуть?

– Думаю, да. Чтобы разрушить стереотип, надо вначале его обозначить, назвать. Сейчас любят говорить «гены, во всем виноваты гены», а Толстого не читают, хотя думают как раз, что читали. Он для очень многих «нечитабылен».

– Неужели русские не читают Толстого? – удивляется потомок выходцев из Йемена и Марокко.

– Читают. Он входит в школьную программу. Но от огромного большинства такая литература отскакивает, как от стенки. Они предпочитают «читабыльное». Слово-то какое скользкое. Чтобы без усилий, чтобы как на санках – с горы. Их формирует, явно, не Толстой. Иначе разве могло бы произойти в России то, что произошло, и то, что происходит сейчас?

– А что там сейчас происходит?

– Нет, не сегодня. У меня на это нет душевных сил. На следующем уроке. Нет, не на следующем, потом когда-нибудь.

Параллели очевидны. Там, на нашей с Толстым родине, изменилось очень мало, если изменилось вообще. Но объяснять это здешнему ученику долго, и я не уверена, что нужно.

Приключение оказалось выматывающим. Мне нужно отдохнуть и подумать.

Ученик смотрит на меня внимательно и говорит: «Тебе больно. Тебе больно, что они не читали Толстого».

Да, мне больно, что не читали Толстого, Чехова, что так плохо читали Гоголя и Лескова, и всех тех, что многое поняли сто и двести лет назад и пытались предупредить, удержать, уберечь. Или не поняли и не пытались, но описали так точно, что читателю грех не понять. Вот уж, поистине, литература ничему не учит. Научить можно лишь того, кто хочет учиться. Мне ли не знать. Я ведь учительница.

– А ты читала и сразу поняла, да? – отрезвляет меня ученик.

– Нет, не сразу. Совсем не сразу.

Я пытаюсь вспомнить, когда же. И не могу. Мне кажется, что только сейчас, только здесь, когда у меня самой появились эти удивительные ученики-учителя, которые не представляют ситуации без выбора и без собственной ответственности за свой выбор. У этих подростков хорошо сформированы границы личности. А я раньше и слов таких не знала. Как без этого понять Толстого? – «Делай, что должно, и будь, что будет». – Как определить, что должно?

– Думаю, что сразу это понять невозможно, – говорю я докторанту. – Это ведь не математика. Если будешь перечитывать...

– Так мы ведь уже перечитываем.

Правда. «Бесы» Достоевского перечитали недавно. Он иногда говорит: «Давай перечитаем...» А я не всегда соглашаюсь. Мне кажется, мы не успеем прочесть хотя бы по разу то, что необходимо.

– Я ведь не знаю, как долго ты будешь ходить ко мне на уроки.

– Всегда, – отвечает ученик. – Всегда буду ходить.

У нас море времени. Вечность, можно сказать.

А я боялась, что ему эти мучительные проблемы и неразрешимые – и сейчас ещё неразрешимые – противоречия покажутся устаревшими, не актуальными для той жизни, которой живёт этот молодой человек. А для меня это всё оставалось живым и болело.

«Раки любят, чтобы их варили живыми, а народ любит быть суеверным».

Так свысока объясняет непонятливому Нехлюдову самодовольный чиновник: «С точки зрения частного человека, это может представляться так, — сказал он, — но с государственной точки зрения представляется несколько иное». Такое объяснение всего того, что происходило, казалось Нехлюдову очень просто и ясно, но именно эта простота и ясность и заставляли Нехлюдова колебаться в признании его. Не может же быть, чтобы такое сложное явление имело такое простое и ужасное объяснение, не могло же быть, чтобы все те слова о справедливости,

добре, законе, вере, Боге и т. п. были только слова и прикрывали самую грубую корысть и жестокость».

– Что же мешает Нехлюдову принять объяснение чиновника? Ты согласен, что не старание разрешить, а игнорирование противоречий, намеренное упрощение сложных ситуаций, именно это упрощение выворачивает всё наизнанку, доводит ситуацию до абсурда? Именно это мешает Нехлюдову.

– Не знаю, – говорит ученик. – Ты говоришь, что упрощение – это плохо. Но не в математике. В математике упрощение – это хорошо.

– В математике? Ну, может быть, в математике. Хотя нет, не думаю. Если бы это было так, всю сложную математику было бы легко объяснить неспециалисту, а математики утверждают, что даже они не в состоянии понять модели других математиков, исследующих смежные области. А уж в области гуманитарных знаний и человеческих отношений слишком агрессивное упрощение может исказить смысл до обратного.

– Да? Ты в этом уверена?

– Толстой уверен. А я с этим постоянно сталкиваюсь. Хотя и ему приходится упрощать. Вот заключённые, объединённые в тюрьме в две группы: уголовные и политические. Первые – представители простого народа, жертвы обстоятельств, общественного устройства и собственного невежества. Они, по Толстому, не ведают, что творят. Их жалко. Всё его сочувствие на их стороне.

Вторые – политические, люди в той или иной степени образованные, взявшие на себя сверхчеловеческую ответственность за изменение жизни первых путём изменения всего общественного устройства. В этой группе нет единства. Нехлюдов наблюдает и слушает молча. Его поражает редкое благородство, альтруизм, доведенный до полного отказа от собственных интересов, вернее, их поглощения интересами главного дела у одних – и высокомерие, желание власти, манипуляторство – у других.

«Массы всегда обожают только власть, – читает ученик слова Новодворова, – ... завтра мы будем во власти – они будут обожать нас... массы – объект нашей деятельности...»

– Обрати внимание на слово «объект», – говорю я. – Массы не могут состоять из субъектов.

– Вот оно – упрощение, – говорит он мне. – «Хлеб, авторитет и чудо» – тоже упрощение. Но Великий Инквизитор был точнее.

– Ты всё это помнишь? – удивляюсь я.

– Не всё. Я часто перечитываю. Знаешь, я ведь занимаюсь только математикой. И более всего мне интересна именно математика. Но эти книги, что мы с тобой читали... Они мне нужны. Они лежат у меня на столе, открытые, и я понемногу перечитываю.

«Это самый ужасный деспотизм», – читает математик реакцию Крыльцова на слова Новодворова о «массах» и выносит свой приговор: «Шигалёвщина».

– Ну, да. – соглашаюсь я, – вот мы с тобой и слепили писателя Толстоевского.

Но ученик не понимает этой шутки. Он не бывает в пространстве русского фейсбука.

– Ты заметила, что Толстой не ссылается на других мыслителей? Достоевский говорит, что все они вышли из «Шинели» Гоголя – у Толстого этого нет. Он пишет так, будто он один на свете. В науке такое невозможно. Математики обязательно ссылаются на тех, кто высказал мысль раньше. Это так красиво!

– Да, – соглашаюсь я, – наука организована иначе. В литературе полемизируют сами тексты.

Мы возвращаемся к Новодворову.

– Что, по мнению автора, привело этого героя к идейному деспотизму?

– Он тоже, я думаю, между умом и глупостью выбрал глупость. Он развил в себе «способность усваивать чужие мысли и точно передавать их». По мнению Толстого, «в среде учащихся и учащих эта способность особенно ценится». Видишь, он не любит научную среду.

– Речь здесь, по-моему, не о науке, а о системе обучения. Тогда повсеместно господствовала так называемая прусская система, которая требовала от ученика послушания, усвоения и воспроизведения. В науке и тогда, и всегда этого было мало, иначе никакой науки просто не было бы. «Узость и односторонность взгляда» – это не про науку, это про плохо образованных людей, полужнаек.

– А почему Толстой называет Новодворова «человеком женского склада»? – спрашиваю я.

– Потому что Толстой сексист.

– Тогда все были сексистами, и это даже было закреплено законодательно.

– И Толстой не противится этому, даже одобряет.

– А как же «Анна Каренина»?

– Так он и её осуждает, хоть и сочувствует. Он любит Анну Каренину, а хочет любить Долли – смиренную жертву общественного устройства.

– Согласна. Ведь в искусстве гораздо важнее не «что», а «как». Возможно, что Толстой, человек своего времени, и хотел написать, что «женщине не следует гулять ни с камер-юнкером, ни с флигель-адъютантом, когда она жена и мать» – а написал так, что современный читатель вычитывает совершенно другое. Иначе не оставался бы этот роман одним из самых популярных в мире и не вызывал бы потребность в бесконечных экранизациях.

– Новодворов руководствуется эмоцией в первую очередь, и только потом маскирует её рациональностью – отвечает на мой предыдущий вопрос ученик. – А Симонсон – наоборот, руководствуется разумом, что, по мнению автора, намного предпочтительнее. За это Толстой награждает его «мужским складом». (Этот израильтянин говорит по-русски так правильно, что если не слышать протяжной интонации и лёгкого грассирования, можно подумать, что это его родной язык.)

– Ты видишь, – обращается он ко мне, – «мужской склад» – это похвала. Толстой и сам не умеет относиться к женщинам как к равным, хотя и презирает Новодворова за

то, что «вопрос об отношениях полов, как и все вопросы, был для него прост и ясен». Упрощения не приемлет. А когда он сравнивает своего самодовольного героя со старым самцом обезьяны, который в молодых видит соперников, мне хочется сказать то же о Толстом.

– Не могу согласиться. Толстого никак нельзя назвать самодовольным. Это был бесконечно сомневающийся человек. Сомневающийся до страдания, несмотря на то, что соперников у него не было. Не было ему равных в мире.

– Почему ты говоришь «в мире»? Я думаю, что не в мире, а в России. Мне кажется, что Россия всегда была внутри себя, и русская литература – тоже внутри себя. Ей не надо выходить наружу. И поэтому появился и утвердился Шариков: «Зачем нам знать то, что происходит вне России?»

Так продираемся мы сквозь многозначный текст, и уже приближаемся к концу романа, а я далеко не всегда знаю, что ответить.

Вот, например, милый человек Крыльцов оказывается сторонником террора. «Надо уничтожать их, – говорит он о мучителях, облечённых государственной властью. – Нет, это не люди».

Но для Толстого и они люди. Их тоже должно любить. Ведь только любовью...

«Если тебя ударят по одной щеке...» – учит арестантов заезжий англичанин.

«А если по второй залепит, какую ещё подставлять?» – смеются над ним и над его Евангелием «холодные, голодные, праздные, заражённые болезнями, опозоренные, запертые люди».

Глазами Толстого Нехлюдов увидел здесь, что «все те пороки... и самое людоедство – не суть случайность или явление вырождения, преступного типа, уродства, как это на руку властям толкуют тупые учёные...

Людоедство начинается не в тайге, а в министерствах, комитетах и департаментах, которые создают для этого условия».

Террор, тюрьмы, заключённые – для моего ученика это совсем не абстрактные понятия. В армии он служил в военной полиции и успел выработать обоснованное отношение к этим явлениям на основе собственного опыта. Да и вообще в Израиле трудно найти человека, не имеющего такого опыта и не выработавшего собственного отношения к террору и условиям содержания в тюрьмах, которые, к слову сказать, советскому человеку показались бы санаториями: можно и подлечиться, и поучиться бесплатно. Вот только про «должно любить» здесь ничего не знают. «Любить» и «должно» вместе не живут. Чувствам не прикажешь.

И про «подставить вторую щёку» всерьёз не воспримут. Не надо развращать агрессора. Они знают, что мы сами отвечаем за границы, которые поставим злу.

По мере продвижения к концу романа я вижу, что автор вовсе не на нашей – моей и моего ученика – стороне. Мне кажется, что он всё больше сдвигается к тому, что любить может быть должно, и щёки подставлять, чтобы бить было удобнее, тоже прилично.

– Как же так? – думаю я. – Не он ли писал в дневнике, что все религии – выдумки, а христианство вообще выдумал великий выдумщик Павел, и если бы не его идея про воскресение, ничего бы вообще не было.

– Не стоит читать дневники, – говорю я себе и выношу том дневников Толстого из спальни, – они не для нас писаны. Анализировать можно только художественные тексты. Но как же тогда старик-резонёр на пароме, который говорит голосом автора, что все религии друг друга стоят – каждая сама себя хвалит. А верить нужно только самому себе.

Мне снится железная дорога. Не та, довольно просто устроенная, которую не любил Толстой, не та, что сгубила Анну Каренину, а современная, устроенная сверхсложно. Я такой даже не видела никогда. Это Япония, – догадываюсь я во сне. Нам рассказывал о ней знакомый профессор. Он читал там в университете курс лекций по физике, и в

последний день своей работы решил не брать такси до аэропорта, а добраться туда на поезде.

– Гайдзин никогда с этим не справится, – уверенно сказал его приятель и добровольный помощник, который никак не мог в тот день его проводить. – С этим разберётся только японец. Возьми такси, не то опоздаешь на самолёт.

Но наш упрямый профессор сумел разобраться в сверхсложной системе японской железной дороги и успел в аэропорт вовремя.

Когда через год он снова приехал в Японию для чтения лекций, то не смог не похвастаться своим прошлогодним железнодорожным успехом и был поражён реакцией своего приятеля. Этот японский японец не только не смог скрыть изумления, что в Японии почти неприлично. Он сказал первое, что пришло в голову: «Наверное, я плохо объяснил».

Почему мне это приснилось в контексте размышлений о Толстом? Толстой не признавал упрощений. Не допускал возможности простых решений сложных проблем. Японская железная дорога – это метафора сложности устройства человеческого общества, человеческих отношений. Но вдруг, если «плохо объяснить», решение найдётся?

Мы читаем окончание романа. Нехлюдов теперь знает, как следует жить. Всего пять принципов, пять пунктов. Крутой, поспешный поворот после всех сомнений. Пересказ своими словами Нагорной проповеди. Смещение запрета на действия и чувства в равной мере.

– Всё просто, – говорит Нехлюдов.– Всё так просто. Неужели так просто?

Простота решения не означает ли упрощения? Когда Нехлюдов осуждает чиновника за слишком простое решение сложнейшей проблемы, оправдываемое высшими государственными интересами, он уверен, что простого решения здесь быть не может, а государственные интересы – это отговорка, прикрывающая «самую грубую корысть и жестокость».

И вот сейчас он сам нашёл решение. Нашёл только для себя? Или для всех? И реально ли оно даже для себя? Или здесь тоже важнее мотив (поклон великому Кольбергу)?

У меня нет ответа и, боюсь, даже нет мнения. Я не могу согласиться с Нехлюдовым, который заговорил голосом автора. Или автор – не своим голосом, а тем, каким должно говорить автору такой книги. И я боюсь, что мой ученик сейчас скажет, как жалко, как невнятно заканчивается этот роман.

– Ты понимаешь, о чём он говорит? – спрашиваю я.

– Да, понимаю. Если все будут жить по этим правилам, жизнь будет другой, будет правильной.

– А такое возможно? – опять спрашиваю я. – Ты согласен с Толстым?

– Он гений, – отвечает мне мой удивительный ученик.

– Кто гений? Толстой? – переспросила я.

– Ну да, Толстой. Мне интересно, как идёт его мысль, мне интересен её путь, и какая разница, согласен я с ним или нет.

Понятно. Я плохо объяснила. Иногда это лучшее, что может сделать учительница.

Друз - значит друг

Из книги воспоминаний

Во время операции «Облачный столб»¹ мне выпал один день спокойствия и расслабухи. Маша Элькин, ставшая сотрудником правительственной пресс-службы, отвечающей за работу с русскоязычной прессой, уже давно планировала поездку в друзские деревни. Поэтому отменять поездку не стали, хотя пришлось она на самый разгар «Облачного столба». Многие журналисты, записавшиеся в поездку, отменили свое участие. И проиграли. Те двадцать человек, которые все же отправились на Север вместе с Марией, выиграли яркий солнечный день, пасторальные пейзажи, тишину сонных улочек Далият Эль-Кармель, не разрываемую воем сирен. Но, главное, они получили массу интересной информации о друзской общине Израиля.

Начал излагать ее нам глава поселкового совета Далият эль-Кармель Насраллдин, прямо у ворот монастыря кармелитов. Смотровая площадка монастыря открыта на все четыре стороны света и вид с нее такой, что просто дух захватывает. Расположена она на высоте более 300 метров и с нее просматриваются и Йокнеам, и Тивон, и военная база Давид, и знаменитый поселок Наалаль – родина многих израильских политиков и военных.

Солнце светило ярко, но не жарило, ветерок, наполненный запахами цветущих трав и растений, был свеж и приятен, от пейзажа, распростершегося у наших ног, веяло спокойствием. И тут Насраллдин вернул нас к действительности.

¹ ноябрь 2012 года

- Большая часть земель, которые вы видите внизу, принадлежит друзской общине, - сказал он, - и именно по этим землям в 1990 и в 2006 годах «Хизбалла» и Саддам вели усиленный обстрел. Конечно, их вовсе не интересовали наши поселки, они целили в военную базу «Давид» и ее взлетно-посадочные полосы. Сегодня у нас тихо, ракеты из Газы сюда не долетают. Но мы совершенно четко знаем, что во время будущего витка эскалации с «Хизбаллой» мы вновь окажемся в эпицентре обстрелов.

Друзская община в Израиле насчитывает около 100 тысяч человек, которые проживают в 16 поселках: 14 на горном хребте Кармель и 2 в Галилее. Из всех национальных меньшинств, живущих в Израиле, друзы – не просто наиболее дружественная по отношению к евреям общины, они в самом прямом смысле являются нашими братьями по оружию. Друзы полностью интегрировались в израильское общество, став его неотъемлемой и важной частью .

Друзы приветствовали первых еврейских халуцим, появившихся в Эрец Исраэль в конце XIX века и оказывали им всестороннюю помощь. А когда началась Война за Независимость, друзы приняли сторону евреев. В 1956 году закон о воинской повинности был распространен и на друзов, и с тех пор все юноши, достигшие призывного возраста, проходят срочную службу, а девушки - национальную службу. Как с гордостью рассказал нам Насраллдин, год назад Далият Эль-Кармель посетил министр обороны Эхуд Барак, который привел следующую статистику: среди друзской общины в ЦАХАЛ призываются 83% молодых людей, а среди евреев - 72% .

До 1973 года у друзов был отдельный батальон, а затем полк. Меня, репатрианта из СССР, после прохождения в 1990 году курса молодого бойца, приписали именно к этому полку, в котором я десять лет каждый год проходил резервистскую службу. Поэтому могу лично засвидетельствовать, что друзы - прекрасные солдаты и верные друзья. Моим самым отчаянным командиром был друг Мустафа, у которого просто руки чесались врезать,

где только можно, арабам. Мустафа преподавал мне и самый важный урок по пониманию арабской ментальности.

В декабре 1991 года я, вместе с еще пятью солдатами, просидел целый месяц на крыше одного из домов в деревне Анабта (сегодня - в автономии). Нашей задачей была демонстрация присутствия и предотвращение тем самым швыряния камней в проезжавшие через Анабту еврейские машины. Каждый день мы патрулировали шоссе и несколько прилегающих улиц. Все было тихо, пока в качестве командира не прислали Мустафу. В первый же день он повел патруль в касбу - старинный центр деревни, где начал останавливать прохожих, обыскивать их, заставляя выворачивать карманы, раскрывать рот для доказательства того, что в нем ничего не запрято. Минут через 20 вдалеке показалась группа парней в масках, размахивавших топорами. Мустафа и я немедленно открыли по ним огонь. К счастью, мы ни в кого не попали (иначе затаскали бы нас по военным судам), но группа немедленно рассеялась.

Когда мы вернулись в палатку, я спросил Мустафу - зачем он унижает людей? Мы провели здесь три недели, и у нас не было ни одного подобного случая .

- Зачем ты издеваешься над отцом семейства в присутствии его жены и детей? - спросил я, - Ты ведь тем самым превращаешь его в нашего врага.

- Ты глупый русский, - ответил мне Мустафа, - и ничего не понимаешь в арабской ментальности. Для арабов существует только два положения - либо они хозяева, либо они слуги. Третьего у них нет. И этими унижениями я демонстрирую им, что здесь хозяин - я. А твои проявления дружелюбия они воспринимают как слабость.

Чем дольше я живу в Израиле, тем больше понимаю правоту Мустафы. Провал «ословского» процесса произошел потому, что желание Рабина-Переса достичь мира даже ценой территориальных уступок, арабы однозначно восприняли, как проявление слабости. И устроили вторую интифаду с попыткой бунта внутри Израиля .

Именно из-за понимания арабской ментальности, друзов с охотой берут в пограничные войска «Мишмар ха-гвуль», всегда находящиеся в самой гуще столкновений с арабскими демонстрантами. Впрочем, сегодня друзы служат практически во всех родах войск и делают успешную карьеру в армии. Совсем недавно демобилизовался бригадный генерал, командовавший войсками МАГАВ. А всего в истории общины было уже шесть бригадных генералов. Об этом нам с гордостью сообщили в мемориальном комплексе, посвященном воинам-друзам, павшим в рядах ЦАХАЛа. Таких, оказывается, было 389 человек .

Кстати, этот комплекс находится в доме, когда-то принадлежавшем лорду Лоренсу Олифанту. Лорд – писатель и путешественник, христианин и религиозный мистик, был активным сторонником возвращения евреев в Эрец Исраэль. Он написал книгу «Земля Гилад», в которой призывал к скорейшему воссозданию еврейского государства. В 80-е годы XIX века Олифант приехал в Израиль и поселился в Далият Эль-Кармель .

В отличие от нынешнего поселка, с населением в 16 тысяч человек, тогда это была маленькая, пасторальная деревушка, уютно расположившаяся в складках горы Кармель. Видимо, тишина, и близость к природе привлекли лорда, уставшего от городской жизни и великосветского общества. Он построил в Далият эль-Кармель большой дом, в котором прожил последние годы жизни.

Секретарем у лорда служил молодой человек, который потихоньку писал стихи на иврите. Звали его Нафтали Герц Инбер, и однажды именно в этом доме он написал стихотворение, которому дал название «Наша надежда». Сегодня его знает наизусть большая часть евреев земного шара, поскольку это стихотворение стало гимном сперва сионистского движения, а затем государства Израиль.

Нам показали библиотеку лорда и комнатку, в которой жил Инбер и где, скорее всего, он написал «Ха-Тикву». В ней стоит старинный стол, который, как утверждал наш гид, всегда размещался в комнате Инбера. Я не отказал себе в

удовольствию уселся за этот стол. Раскрыл блокнот, взял ручку... Увы, муза, посетившая здесь Инбера, не одарила меня благословенным вниманием .

Мусбах Халаби, журналист и писатель, выпустивший 14 книг на иврите, сопровождавший нас по дому Олифанта, сказал: «Этот дом - символ особых отношений, сложившихся между друзьями и евреями». И, действительно, чего только нет в этом внушительном по размерам сооружении - в том числе залы имени Рабина и Бегина, зал Моше Даяна. А сегодня часть помещений занята курсом преармейской подготовки для призывников-друзов.

А затем настал самый захватывающий момент нашей поездки. Журналистов привели на встречу с руководителем... сионистского друзского движения (!) Йосефом Насраллдином, дальним родственником главы поселкового совета. Не разобравшись сперва, кого к нему привезли, он решил, что имеет дело с российской прессой и начал свой разговор с предложения в два счета обучить нас сионизму. Но мы разъяснили - нас не надо агитировать, мы израильтяне и хотим послушать, каким образом сионистом может быть не еврей, а друз.

- Все очень просто, - разъяснил Йосеф, - Связь между нашими народами началась не вчера, не позавчера, а более трех тысяч лет назад, когда Моисей женился на Ципоре, дочери нашего пророка Итро. Мы стали, можно сказать, родственниками. И отношения были соответствующими. В средние века знаменитый путешественник Биньямин из Туделы писал, что в Эрец Исраэль евреи и друзы живут в мире и согласии. Когда евреи начали возвращаться, их лучшими партнерами стали друзы. Мы многие века страдали от своих соседей. Поэтому все друзские деревни находятся на высотах - чтобы легче было защищаться от арабов .

Мы очень быстро нашли общий язык с евреями, которые также страдали от нападений арабов. Еще до возникновения Израиля друзы воевали в составе «Хаганы» и ЭЦЕЛ. А после создания государства мы стали

пользоваться всеми правами. В отличие от Сирии или Ливана, где друзу зачастую приходится скрывать свои веру и национальность, в Израиле мы полноправные граждане, которые свободно живут на своей земле в соответствии со своими традициями и культурой. Никто нас в Израиле не притесняет и не дискриминирует. Израиль дал нам то, что дороже всего на свете – мы ощущаем себя полностью свободными людьми, являющимися интегральной общества. Поэтому 95% друзов голосуют за сионистские партии, в основном за «Ликуд» и «Аводу».

В 1975 году ООН приняла решение, в котором сионизм приравнивается к расизму. Но мы ведь прекрасно понимаем, что это не соответствует действительности. Поэтому сразу же после этой резолюции ООН мы создали свое движение, ставшее плечом к плечу с еврейским сионистским движением. И мы решили определять себя как гордые друзы-сионисты! Для нас нет никакого противоречия в том, что мы - друзы, сохраняющие свою культуру, и одновременно, мы - патриоты Израиля. Израиль - самое лучшее в мире государство для друзов, и мы чувствуем себя самым близким к евреям народом.

Мне довелось много поехать по Израилю и пообщаться с представителями разных национальных меньшинств - арабами, черкесами, бедуинами. Но такого заявления, признаю, я не ожидал. Услышать подобные слова из уст нееврея в тот момент, когда арабские террористы вели массированный обстрел Израиля - только ради этого стоило приехать в Далият Эль-Кармель!

Был еще один смешной момент во время наших прогулок по деревне. Не успели мы пройти несколько десятков метров по ее улицам, как мне сразу же бросилось в глаза обилие многоцветных «флагов гордости». Сразу возникло ощущение, что израильские ЛГБТ прочно обосновались в друзской деревне. Чем дальше мы шли, тем я все больше диву давался - флаги эти висели уже практически на каждом доме.

- Что происходит, - спросил я у Маши, - куда ты нас, милая, привезла? К друзьям или в центр нетрадиционной сексуальной ориентации?

- Чего? - поперхнулась Маша.

- Да вот, сама полюбуйся, на всех домах флаги ЛГБТ.

Маша зашлась в смехе.

- Это флаг не геев, а дружской общины.

Я пригляделся - хотя флаг был тоже многоцветным, но он все же отличался от тех, которыми гордо размахивают члены ЛГБТ на своих парадах....

ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ В ИЗРАИЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Роман Кацман

Перекрестье русско-израильской литературы: размышления на полях одного эссе Александра Любинского

Александр Любинский – один из наиболее интересных и наименее известных авторов в русско-израильской литературе. Он родился в 1949 году в Москве, репатриировался в Израиль в 1989. В середине 90-х он начинает активно публиковать романы, повести, новеллы, стихи, литературоведческие и культуроведческие эссе. В сборнике «Фабула» (1997, одноименная повесть датирована 1986 годом), отчетливо проявились особенности его стиля, в котором соединяются лирическое поэтическое высказывание (иногда определяемое как «стихопроза»), интеллектуализм, нотки галлюцинаторного смещенного видения, напряженный нарративный ритм, временная многоуровневость, постмодернистская ирония и обилие явных и неявных цитаций. Любинский — автор романов «Заповедная зона» (2005), «Виноградники ночи» (2011).

Принцип литературного и исторического мышления Любинского сформулирован в названии его сборника «На перекрестье» (2007; а также в его эссе «На перекрестье времен» и «На перекрестье истории и драмы»), на обложке которого изображена карта Генриха Бёнтинга (1581),

представляющая мир в виде трилистника клевера с Иерусалимом в его перекрестье. Первая часть книги называется «В гостях у Леванта», и аннотация характеризует ее как «прозу, рожденную неумирающей культурой Леванта».¹ Возможно, кто-нибудь увидит в этом попытку реализации идеи А. Гольдштейна и А. Бараша о русско-израильской литературе как «средиземноморской ноте», однако это спорно (художественные методы Любинского близки к методам Гольдштейна, однако, как известно, последний и сам не реализовал предложенную им программу). Тексты Любинского в данном сборнике написаны в самых разных стилях и жанрах, как, например, стихопрозаические новеллы, исторические фантазии, притчи, эссе-наблюдения и эссе-размышления, диалоги. Здесь на улицах Иерусалима можно встретить героев Джойса, в Яффо — героев древних мифов; на скамейке в Тель-Авиве можно поговорить с Филоном Александрийским о природе вещей и с Жаком Деррида — о природе слов.

Сборник «Тени вечерние» (2015) включает повести «Термидор», «Луна и крест», «Пальмы под ветром», «Холмы Ханаана». В повести «Холмы Ханаана» литератор из Вены Артур Шмуцлер (прототипом которому служит, очевидно, Артур Шницлер, 1862-1931) оказывается в Иерусалиме 1912 года, очень узнаваемом и живом, и в то же время отстраненном, по-барочному погруженном в игру света и тьмы, так что в стиле повести на венский модернизм наслаивается поэтика петербургских повестей Гоголя. Страдающий от одиночества и творческого кризиса литератор, скучающий фланер и истеричный любовник, ввязывается в шпионскую историю, и на историко-приключенческий сюжет наслаивается писательская рефлексия о поисках новой эстетики. «Пальмы под ветром» — повесть о любви, литературе, войне и о Тель-Авиве, где «нет ни прошлого, ни будущего — есть лишь вечный

¹Любинский А. На перекрестье. СПб.: Алетейя, 2007.

полдень над древним побережьем».¹ Герои этих и других повестей Любинского — бродяги и литераторы, шаг за шагом обживающие символические пространства израильских городов в поисках новой жизни.

За роман «Виноградники ночи» (2011) Любинский был удостоен «Русской премии» 2010 года. Члены жюри, говоря об этом романе, отмечали, что «русскоязычные писатели мира не только отражают зарубежную топонимику, но и с помощью русской души изучают восприятие топографии, географии. Не только изучают быт тех стран, в которых живут, но и свое участие в этом быте, многое привносят в развитие русского языка», и что роман «написан столь мастерски, что чувствуешь запахи, звуки, атмосферу Иерусалима».² Рассказчик пишет шпионский роман о борьбе за влияние, развернувшейся между различными политическими силами в Земле Израиля в послевоенные годы. Различные пространственно-временные пласты, страницы пишущегося им романа, а также его комментарии о процессе письма накладываются друг на друга так, «словно нет времени, или – все времена одно»,³ и словно рассказчик — это Вечный Жид, рождающийся заново и скитающийся по странам и эпохам. Причудливая вязь хронотопов, создаваемая одним лирическим, поэтически насыщенным голосом, встраивается в мифологему отмененного времени, нацеленную на усилие вспоминания и исторического познания реальности в неомодернистском духе. Перемежающиеся ритмы этого усилия, перипетии становления рассказа – вот что составляет основной сюжет романа. Фрагменты сюжетов и воспоминаний сцепляются

¹Любинский А. Пальмы под ветром. <http://marie-olshansky.ru/hl/allub-palmy.shtml>

²Состоялась VI церемония награждения лауреатов конкурса «Русская Премия» 27.04.2011 г. // Русская премия. Вебсайт. <http://www.russpremia.ru/news/000000072/>

³Любинский А. Виноградники ночи. <https://libking.ru/books/prose-/prose-contemporary/356438-26-aleksandr-lyubinskiy-vinogradniki-nochi.html#book>

друг с другом при помощи ассоциаций и иллюзий, любопытных и точных наблюдений и деталей, мысленных ходов и движений эмоций, так что текст иногда приближается к форме потока сознания, выполненного виртуозно и увлекательно. Перепады душевных состояний героев, прописанные ярко и живо, сценография выразительных до театральности жестов, мелькание живописных зарисовок городских ландшафтов — все это соединяется в быстрый гипнотический нарративный ритм. Помимо исторических тем, автор часто возвращается к вопросу о русско-израильской литературе и ведет диалог с собратьями по перу, живыми и мертвыми: «Я продолжаю наш диалог со страниц своей книги, как он ведет его — со страниц своей. И я продолжаю — наше — общее дело. (...) Так из сплетений судеб, отраженных в слове, складывается настоящая, ненадуманная литература, корнями жестоковойной смоковницы вцепившаяся в эту выжженную, сухую, израненную землю».¹

Это рассуждение о русско-израильской литературе отсылает к одному из лирических эссе Любинского «Из одного апокрифа», входящему в сборник «На перекрестье». В нем автор пытается осмыслить двойственность своего русско-израильского существования в родной-чужой земле через возвращение на генеративную сцену жертвоприношения Авраама и ее интерпретацию, а также в сравнении ее с христианской идеей. В другом эссе «Дорогами снов» Любинский развивает свое рассуждение, обращаясь к образу Иакова и к мысли Филона Александрийского об истоках знания и смысла в их связи с дихотомией «я-иной». Оставив второе эссе для отдельного разбора, я рассмотрю здесь первое эссе с целью прояснить как содержание предлагаемых в нем идей, так и сам метод мышления и саморефлексии Любинского. Забегая вперед, скажу, что этот метод демонстрирует свою эффективность,

¹Там же. <https://libking.ru/books/prose-/prose-contemporary/356438-55-aleksandr-lyubinskiy-vinogradniki-nochi.html#book>

будучи интерпретирован как генеративный анализ культуропорождения, предложенный такими философами-антропологами, как Рене Жирар и Эрик Ганс. Интерпретация в этом ключе позволяет раскрыть антропологическое содержание той экзистенциальной и культурно-политической заботы, той «ностальгии по чужбине», говоря словами Михаила Юдсона, в которой пребывает автор и многие его соотечественники.

Эссе «Из одного апокрифа» начинается с усеченной цитаты из «Страха и трепета» С. Кьеркегора, которую я приведу полностью: «Через веру свою Авраам вышел из земли праотцев и стал чужаком на земле обетованной. Он оставил позади одно и взял с собою другое; он оставил позади свой земной рассудок и взял с собою свою веру; в противном случае он вообще не отправился бы в путь, решив, что это бессмысленно. Через веру свою он оказался чужаком на земле обетованной; там ничего не напоминало ему о самом дорогом, но все там своей новизной побуждало душу к печальному томлению».¹ Любинский напоминает, что слова эти, в свою очередь, отсылают к «Посланию к евреям» апостола Павла: «Верую обитал он на земле обетованной, как на чужой» (Посл. к Евреям, 11.9). Рассказчик восклицает в недоумении: «Что за странная мысль! Ежели земля обетованна, то можно ли быть странником на этой земле? И возможно ли, чтобы земля обетования твоего оставалась чужой», чтобы была, «несмотря на кажущуюся близость, по-прежнему недоступна»?²

Недоумение автора вызывает также тот факт, что Павел обращается к евреям, «уже более тысячелетия жившим в Палестине, на своей земле; испытавшим горечь и сладость жизни в своем государстве».³ Надо признать, что недоумение здесь не более, чем риторический прием, и

¹ Кьеркегор С. Страх и трепет. М.: Республика, 1993. С. 23.

² Любинский. На перекрестье. С. 171.

³ Там же.

приписывается оно рассказчику, вымышленному автору этого эссе-«апокрифа», поскольку Любинского не могла удивить цель Павла, тем более, что она высказана в следующих строках «Послания»: «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле; ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечества. И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться; но они стремились к лучшему, то есть, к небесному; посему и Бог не стыдится их, называя Себя их Богом: ибо Он приготовил им город» (Посл. к Евреям, 11.13-16). То есть, Павел заменяет земное отечество небесным, после чего любая земля становится чужбиной, любой человек — пришельцем, любое обетование — откладыванием присвоения. И это отчуждение или откладывание представляется им и вслед за ним Кьеркегором как результат веры.

На вызов апостола автор отвечает притчей о смоковнице, возвращающей странника к его земле: «Стоит у дороги смоковница, и согнутый усталый ствол ее овеивает ветер пустыни. Плоды ее могут быть сладки — но могут быть и горьки. Живет она долгие годы, корнями вращая в эту каменистую почву. И сказать ей: зачем живешь ты на свете, если горечь переполняет тебя, столь же безжалостно, как отобрать единственного сына у отца. Разве горькая смоковница — не такое же творение Божье, и разве жизнь ее — лишь в услужении?»¹ Другими словами, он хочет спросить: разве жизнь ее лишь в принесении ее в жертву, в том, чтобы служить инструментом? Дерево символически связывается с дровами для жертвоприношения Ицхака, с самой парой Авраам-Ицхак, а также с крестом, и тем самым автор выводит жертву из зоны молчания, пассивного страдания. Вместе с деревом слово получает и тот исток, который дает жизнь дереву — земля, архетип безмолвной материи, вечной женственности

¹ Там же. С. 172.

(далее в эссе он развивается в притчу о матери, брошенной сыном во имя веры). В этом мифе дерево превращается из инструмента в личность, а то, что виделось воображаемым — смысл существования дерева на земле — становится реальным. Под реальным же в данном случае следует понимать воспроизведение сцены генеративного конфликта, признаками чего являются откладывание насилия и взаимная этическая симметрия, уравнивающая всех участников конфликта, наиболее емко выраженная в словах о том, что смоковница — «такое же творение Божье», и что «и горькая смоковница угодна Господу».¹

Автор ставит евреям (и христианам) свой диагноз: «Вы, возлюбившие вечное более временного, странники на дорогах земли! (...) Как праотцу вашему Аврааму вам дана эта земля в обетование, и как обетование вы ежесекундно обретаете — и теряете ее. (...) Если не вы, никто бы не догадался, что за привычным окоемом простирается иной мир. (...) Вы существуете на грани двух миров, в вас они еще не разделены, еще борются друг с другом. (...) Есть жесткая закономерность в истории европейского духа: на каждом ее крутом повороте находились люди, обращавшиеся к первоначалу, где еще ничто не стало, но лишь все становилось».² То, что здесь описывается (и приписывается особой касте странников, составляющих тем не менее, по словам автора, соль земли), есть не что иное, как лежащий в основе генеративного анализа срыв жеста присвоения объекта желания, приводящий к порождению репрезентации (знака), и воспроизведение первоначальной сцены культуры, на которой роли жертв и палачей еще не распределены, где все морально равны в борьбе и всё еще возможно. Это точка бифуркации, сингулярность, смыслопорождающий взрыв, прыжок веры. Точнее, как следует из всего хода мысли в эссе, именно в этой мифологической реализации сцены и состоит вера. Она не может быть только небом или только землей,

¹ Там же.

² Там же. С. 172-173.

присвоением или отчуждением, временем и вечностью — она борьба между ними, вечно возвращающаяся и возвращающаяся к началу. Поэтому в финале эссе вновь появляется образ смоковницы как символ этой борьбы: «Я здесь. Я снова вернулся. Вечер Судного дня опускается на Иерусалим, в желтом мареве холмы, и тонет, плывет, уносимый расплавленными потоками света, город. Огромная властная сила прижимает все живое к земле, и страх Божий застилает глаза... Но прислушайся, шелестит в ветвях древней смоковницы едва слышный ветер, и ребенок плачет за стеной. Тоска по будущему переполняет его».¹

Одной фразой — «тоска по будущему» — автор предотвращает неверное понимание этого его возвращения как романтического. Едва слышный шелест ветра в ветвях древней смоковницы метафорически выражает то самосознание, которое можно назвать неонативным или, другими словами, самозарождающимся. В нем начало, исток, рождение (то, что выше образно отождествлялось с землей) реализуется в здесь-бытии как генеративная сцена порождения культуры, смысловой вектор которой направлен в будущее, а не в прошлое. То, что можно назвать, вслед за Любинским, конфликтом Авраама или парадоксом пришельца на своей земле, не гармонируется, а, напротив, инсценируется заново именно для того, чтобы он стал источником познания и образования нового знака, знания и этики. Неонативность пришельца, его культурная идентичность выводится из этой сцены, а не задается априори как социально-политическая данность; другими словами, она не источник конфликта, а его следствие, точнее, следствие срыва в нем жеста насилия, воплощенного в насилии над смоковницей, сыном, Ицхаком, жертвой. В ответ на готовность услышать их голоса (шелест в ветвях и плач за стеной), в мир приходит время. Эммануэль Левинас был близок к пониманию природы этого процесса (например, в работе «Время и

¹ Там же. С. 174.

другой»), однако его представление характера ответа на зов как необходимого, во-первых, и представление отношения я-другой как несимметричного, во-вторых, увели его в сторону и более того, в конце концов привели к концептуальному разрушению сцены культуропорождения.

Прочтение эссе Любинского сквозь призму генеративной антропологии Эрика Ганса позволяет понять, помимо прочего, как в точности устанавливается им бытийная основа русско-израильской литературы. Она представляется как перекрестье или крест без жертвы, как сцена конфликта, где остановленный жест присвоения объекта желания (земли, например) превращается в репрезентацию смысла. Эмигрантским или «дефисным» литературам, таким, например, как русско-израильская, часто приписывается сознание двух корней или оторванности от них, двойной принадлежности или непринадлежности, детерриториальности, ложной или присвоенной идентичности и памяти, лиминальности, маргинальности, минорности, транснациональности, транскультурности и т.п. Необходимо признать наконец, что все эти теории упускают главное: в том, что касается сознания, такие концепты, как «двойственность», «граница», «территория», «переход», есть только метафоры, ничего этого в действительности не существует. Сознание ежесекундно порождает само себя в абсолютном единстве с собой. Так, человек, пишущий литературу по-русски — это русский писатель, и принадлежит он русской культуре, вернее, это она принадлежит ему. В то же время, если он живет в Израиле, то он израильтянин и часть израильской культуры. Первое и второе не могут соотноситься друг с другом как части некоего третьего целого и быть поэтому ущербны; напротив, каждое из них цельно само по себе. Они никак не соприкасаются, относясь к различным таксономиям, между ними нет границы и нет перехода, их не связывает никакой «транс» или отношения я-другой и свое-чужое, они словно существуют в разных измерениях, и никакой жест присвоения не может этого преодолеть (разве что

фантастический, как в «Интерстелларе»). Их одновременное осознание возможно только в напряженном до предела, драматичном сценарии порождения культуры, причем это напряжение связано не столько с конфликтом между русским и израильским началами (это только лишь тема, не суть), сколько с Авраамовым конфликтом, подмеченным Любинским вслед за Павлом и Кьеркегором — конфликтом между присвоением (или, на языке эпистемологии, схватыванием) данного-обещанного и его отменой.

По контурам этого конфликта строится также и сценарий порождения самого сознания, что неокантианец Герман Коген называл *Ursprung*, исток, и что происходит всегда в сейчас, не имея ничего общего с романтическим началом. Это самозарождение нового сознания в истоке и есть неонативность. Невозможно обещать или обрести новое отечество ни на земле, ни на небесах, это просто противоречие в терминах или абсурд (отечество не может быть новым), вызывающий к жизни веру. Однако в этом обретении или присвоении отечества и нет необходимости: по генеративному сценарию, срыв жеста присвоения и будет новым знаком, дающим начало новому сознанию и новому языку, а, следовательно, и новой — русско-израильской — литературе.



Программа русско-еврейской
литературы
Бар-Иланского университета
представляет

Курс писательского мастерства

Мастер-классы проводят
знаменитые писатели и поэты

ДИНА РУБИНА

ДЕНИС СОБОЛЕВ

ЯКОВ ШЕХТЕР

НАУМ ВАЙМАН

**ЕЛИЗАВЕТА МИХАЙЛИЧЕНКО И
ЮРИЙ НЕСИС**

СЕМЕН КРАЙТМАН



20 октября 2020 - 29 июня 2021
Вторник 16.00-17.30



המנחה
לספרות
יהודית-רוסית

ПРОГРАММА
РУССКО-ЕВРЕЙСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Количество мест ограничено. Контакты для записи:
Тел. 03-5318235 | roman.katsman@biu.ac.il



*9392



| biu.ac.il

Мастерство становится доступнее

Что такое писательское мастерство и поддается ли оно измерению? На его вершинах – понятно: это умение построить сюжет и составить фразы так, что большинство читателей будет увлечено всем произведением. В глубинах - тоже понятно: дислексия до полного косноязычия. Это, блин, того этого самого... Но посередине? У обычных людей? Которые ещё не считают себя писателями, но вполне способны ими стать. Которым не приходится на работе и за мизерное жалованье думать о том, чем заполнить газетные страницы или новостной раздел служебного сайта. Которые пишут не то, что требуется, а то, что хочется. Как измерить мастерство на тех уровнях, где за него не платят, и где в нём не возникает страстной нужды?

Ну, спросите меня: почему я вдруг заговорил о писательском мастерстве? И я охотно отвечу: потому что в литературной жизни Израиля происходит событие, имеющее непосредственное отношение к этому самому волшебному искусству. Вот как бы вы отреагировали, если бы в Израиле открылся Литературный институт? Наподобие московского, например. Причём не на иврите, а на понятном нам с вами русском языке. Кому бы позавидовали многие израильские русскоязычные литераторы – студентам или преподавателям?

Так вот, такой институт уже открылся и работает. Те, кто приехал в Израиль с Большой алиёй 90-х и интересуются литературой, наверняка помнят различные скорые и дорогостоящие словесные курсы, от журналистских до копирайтерских. На одной из таких «обучалок» в качестве преподавателя подвизался ныне покойный Антон Носик, светлая ему память. Покойный ныне Аркан Карив, светлая память и ему, незадолго до своей роковой поездки в Москву

объявил о желании открыть подобные курсы, - не успел. Даже при газете «Вести» проводились краткосрочные курсы журналистов по весьма высокой цене, - так теперь и газета эта исчезла из киосков. Некоторые курсы, организованные по частной инициативе, прошли столь незаметно, что о них помнят только их участники, да и то не все. Два действующих в нашей стране писательских союза – Союз русскоязычных писателей Израиля и Всемирный союз писателей Иерусалима – неоднократно грозились создать какие-либо обучающие структуры, но так до сих пор ничего и не сделали.

Действующий «Курс писательского мастерства», - таково его официальное название, - организован профессором Романом Кацманом при кафедре еврейской литературы Бар-Иланского университета. Подробнее об этом можно прочитать на официальном университетском сайте в Интернете по адресу: https://hebrew-literature.biu.ac.il/en/creative_writing_in_russian. Там же приведено и расписание занятий. Что и говорить, профессор Кацман «утёр нос» и местным писательским союзам, и самодеятельным преподавателям. Курсы плодотворно действуют, слушатели их – разного возраста, не только студенты, но и люди профессионально состоявшиеся, для которых литературная работа – приятное и полезное для души увлечение. И даже если им приходится платить за годичные курсы столько же, сколько бы они заплатили за восемь лет взносов в союз писателей, - получают они на курсах многократно больше. В первую очередь – возможность творческого общения, возможность взглянуть на литературу с самых разных сторон, от писательской кухни до систем восприятия написанного и концепций его изготовления.

Курсы построены по принципу мастер-классов и анонсированы так: «Мастер-классы проводят знаменитые писатели и поэты»; далее следует список из шести позиций. Если бы профессор Кацман предварительно посоветовался с руководством писательского союза, ему,

несомненно, назвали бы другие кандидатуры мастеров. Но он не посоветовался – и правильно сделал.

Мне кажется, разгадка этой полезной пристрастности кроется в существовании двух условных по разделению, но очевидных на практике израильских русскоязычных литературных школ, тусовок, сообществ или, если угодно, компаний: иерусалимской и тель-авивской. Они сложились ещё в те времена, когда Большая алия только обустроивалась, писатели-репатрианты получали помощь как «деятели искусства», русская партия превращалась в реальную политическую силу, русскоязычные газеты ещё платили гонорары, а Еврейское агентство пересылало местные журналы в Россию. Названия сообществ условны, но интерес был безусловен: в момент раздачи благ оказаться поближе к рогу изобилия. От того, где поселился и с кем общается писатель, во многом зависело отношение к нему коллег: примут его дружелюбно или знать не захотят. Теперь рог изобилия, и ранее бывший скудным, окончательно захлопнулся, но сквозь редкие щёлочки ещё капает – и обе тусовки сохранились, несколько видоизменившись со временем. Насколько могу судить со стороны по статьям и спискам профессора Кацмана, он сторонник иерусалимского сообщества. Но это никак не должно означать, что он сколько-нибудь интересант; в данном случае он выступает как щедрый и бескорыстный благодетель – ведь не сам же ректорат Бар-Илана принял решение развивать русскую литературу при кафедре еврейской.

Со своими недоуменными, и возможно, несколько предвзятыми вопросами я обратился к одному из курсовых мастеров, автору более чем тридцати книжек, главному редактору литературного журнала «Артикль», писателю Якову Шехтеру. К его чести, Яков Шехтер не выказал ни малейших признаков раздражения и терпеливо попытался рассеять мои заблуждения.

- *Сколько длится курс? За какое время вы намереваетесь превратить неподготовленных студентов в писателей?*

- Курс длится один учебный год. Но второй ваш вопрос поставлен некорректно: вы же не станете спрашивать у преподавателей физики - за какой срок они намерены превратить неподготовленных студентов в учёных? Работа со словом – такая же область знания, как математика или физика. В ней есть свои правила, законы, есть порядок, иерархия. Всё это, разумеется, только основа, база, оттолкнувшись от которой, студент может перейти к созданию художественных произведений или остаться на уровне графомана. Всё зависит его таланта, а им наделяют с Небес, а не на писательском курсе.

- *Университет – израильский, все изучаемые предметы излагаются на иврите. Вы же преподаёте студентам Бар-Илана на русском языке и учите писать по-русски. Владели ли ваши слушатели обоими языками в достаточной мере?*

- В этом-то и состоит уникальная особенность данного курса: хотя он ведётся в израильском университете, но проходит полностью на русском языке и учит писать тоже на русском. Несколько десятков лет тому назад такое сочетание было бы невозможным. Но в нашем мультикультурном и мультиязычном пространстве, в мире, превратившемся в глобальную деревню, где все со всеми пребывают в постоянной виртуальной связи, а расстояния между континентами сократились до промежутков между клавишами компьютерной клавиатуры, в этом нет ничего странного.

- *Русскоязычный писатель в израильском обществе – плохо оплачиваемая профессия. По-видимому, даже профессиональные нищие зарабатывают больше. Не кажется ли вам, что вы готовите социальных неудачников, и чем лучше студент у вас учится, тем труднее ему будет реализовать полученные навыки?*

- Писатель в любом обществе - плохо оплачиваемая профессия. За исключением советского, где власть прикармливала творческих работников, выдающих «на

гора» нужную продукцию. Мне трудно провести сравнение оплаты писательского труда в современном мире с заработками профессиональных нищих, я не владею в должной мере такой информацией. Ясно одно: писателем становятся не ради заработка. И это, на мой взгляд, очень правильно. Задачей курса не является превращение студента в писателя, это невозможная задача. Ярким тому подтверждением может служить долгая история московского Литинститута, заведения весьма солидного, большинство выпускников которого не стали ни настоящими поэтами, ни серьезными писателями.

Цель курса писательского мастерства состоит в том, чтобы ознакомить студентов с основами писательского мастерства, а не превратить их в Толстых или Пушкиных. Когда студент поступает на физический факультет, никому в голову не придет мысль, будто после завершения учёбы он станет Эйнштейном.

Давным-давно, когда печатное слово представляло собой единственную доступную масс-медиа, работа писателя была куда проще, чем сегодня. В длинные зимние вечера с книгой в руках у камина, или в бесконечные летние дни на скамейке под деревом, читатель с головой погружался в текст, собственной фантазией дополняя не прорисованные автором подробности. Сегодня, когда читателя окружает кино, телевидение, YouTube с его бесчисленными клипами, - слову пришлось потесниться, а задача писателя усложнилась. Мир, который он строит на бумаге, должен быть убедительным и цельным, иначе читатель на третьей странице захлопнет книгу и переведёт взгляд на чёрное зеркало экрана. Для создания такого мира, помимо вдохновения, нужно владеть и кое-какими техническими приемами, с которыми мы знакомим за время курса.

- Зависит ли, по вашему мнению, писательская техника от жанра, в котором приходится автору работать? Следует ли учить драматургии иначе, чем мастерству романиста, и иначе, чем технике копирайтера или журналиста? Или литературная

техника служит базовой составляющей мастерства, в каком бы жанре ни работал писатель?

- Основа, то есть работа со словом, одна и та же в любом жанре. Литература - это не только «что». Не только и не столько сюжет, действие, фабула, но и во многом, если не во всём - «как». Как это сделано?

Выделка фраз, точность сцепления слов, незримая, но беспощадная балансировка гласных и согласных, ритма, звенящего в каждом предложении, делают текст литературой, вне зависимости от жанра.

Нельзя относиться к словам, как к мелким булыжникам: какой на дороге нашелся, тот и запихнётся в кладку. Слова нужно любить, выслушивать, прозванивать каждое из них, точно скрипичный мастер доску, перед тем как приступить к изготовлению скрипки. Каждое предложение должно играть и переливаться от света слов, которые писатель вырывает из свободной стихии языка и силой составляет вместе, упрятавая в рамку фразы. Если им там плохо, если соседи случайны и скучны – то рамка превращается в темницу, и читателю от такой фразы становится мрачно и глухо.

В первую очередь мы пытаемся научить студентов работе со словом.

- Уверены ли вы в своём праве учить молодёжь литературному искусству? Вы сами считаете себя состоявшимся мастером? На курсе есть и другие лекторы: слушаете ли вы сами их лекции? Если да, то находите ли эти лекции полезными для себя?

- Первые два вопроса напоминают мне то, чем Карлсон понимал фрёкен Бок: «Ты уже перестала пить коньяк по утрам?» Как ни ответить, окажешься в дураках.

Курс ведет группа известных писателей, каждый прошел свой путь в мире литературы, каждый чего-то добился, и у каждого свой почерк и своя поступь. Слушать, как мои коллеги работают со студентами, мне представляется бессмысленными: ученого учить - только портить.

За исключением Дины Рубиной. Дина – гений общения, любой разговор с ней превращается в праздник. Она сама по себе произведение искусства, и всё, что она говорит –

тоже. Поэтому её можно слушать часами вне зависимости от темы выступления.

- В Литературном институте изучают множество предметов. Какие курсы, кроме вашего, следует прослушать и освоить студенту, чтобы подготовиться к писательскому труду?

- Бар-Иланский университет - не литературный институт, он не готовит писателей. Писательство – не ремесло и не занятие. Писательство – призвание. Душа знает, что через нее должно быть что-то вброшено в этот мир. И это не дает человеку покоя, заставляя постоянно браться за перо.

Можно научить одаренного человека, как писать. Невозможно научить его - о чём. Поэтому Горький посылал талантливых писателей в люди. То есть набраться опыта, составить своё мировоззрение.

Берясь за перо, писатель должен понимать, что заявляет претензию на часть жизни десятков, сотен или тысяч читателей. Он должен быть предельно честным перед самим собой и предельно уверенным, что то, чем он сейчас занимается – не обман, не подделка, не надувательство. Я говорю не о страхе перед наказанием социума, а о суде собственной совести, перед которым каждому из нас предстоит когда-нибудь предстать.

Писателем может быть только тот, у кого есть, что сказать людям нового, значительного и интересного, тот человек, который видит многое, чего остальные не замечают. Этому не учат в университетах, это дается свыше. Но обо всём этом мы говорим на курсе.

- Как отбирались слушатели курса? Проходили ли они творческий конкурс, или достаточно было заплатить за обучение? Принимают ли на этот курс желающих, не являющихся студентами Бар-Илана?

- Записаться на курс может любой желающий, для этого не нужно быть студентом Бар-Иланского университета и не нужно проходить творческий конкурс. Разумеется, курс не бесплатный, но охота пуще неволи. Каждый преподаватель проводит четыре занятия. Мои занятия состоят из лекции и разбора домашних заданий – рассказов, которые пишут студенты.

Текст, как партитура, слова – ноты, а читатель музыкант. Но играть без всяких маленьких закорючек: бемолей, диезов и прочих скрипичных ключей – невозможно. Маленькие закорючки, превращающие набор слов в музыку текста – это знаки препинания. И главные среди них – Королева точка и Его величество абзац.

Лучше всего об этом сказал Исаак Эммануилович Бабель: никакое железо не входит так леденяще в сердце человека, как точка, поставленная вовремя.

Так же, как ноты не должны мешать музыке, слова в тексте не должны мешать чтению. А для этого надо их точно выбирать. При разборе домашних заданий я пытаюсь научить этому студентов.

- Есть ли хотя бы малейшая надежда, что ваши ученики превзойдут своего учителя? Или хотя бы окажутся достойными его?

- «Вы уже прекратили пить коньяк по утрам, фрёкен Бок?»

- Оказываете ли вы своим слушателям какую-либо литературную поддержку вне курса, помощь в публикациях, например?

- В рамках проведения курса – нет. Но после его завершения, если студенты будут присылать по уже знакомому им адресу достойные для публикации произведения, – помогу с превеликим удовольствием.

Ассортимент растёт, спрос падает

(Русскоязычная литература Израиля в кризисе. Есть ли выход?)

Подавляющее большинство известных мне израильских авторов, пишущих по-русски, – хорошие люди. Приличные, добрые, порядочные. Это предуведомление я делаю для того, чтобы они не рассердились. Критические опусы, как правило, читают люди, интересующиеся литературой вообще и её особенностями в частности. Особенно внимательно такие опусы читают авторы, опубликовавшие в периодике или в отдельной книге свои произведения, и интересующиеся литературой вообще и своим местом в ней – в особенности. Важнейшим словом в рецензии или обзоре для них оказывается собственная фамилия; найдя её, они сразу считают текст заслуживающим внимания, даже если злобный критик не всегда их хвалит. Пусть за обложкой журнала литература на глазах дряхлеет и рассыпается, писатели помирают, не успев высказаться, а те, что успели, такую ерунду иногда городят... Этим – родную фамилию подавай! Поэтому-то и не будет в моём тексте никаких израильских фамилий. Потому что русскоязычная литература в Израиле переживает тяжкий затяжной кризис, проявления которого можно увидеть только внимательным, пристальным взглядом. Ещё вернее – этот кризис видит только тот, кто захочет его увидеть. Остальные совершенно не беспокоятся – бодра эта литература или при последнем издыхании, доходит она до читателя или плесневеет у авторов под диванами.

Причины кризиса можно условно разделить на внутренние и внешние. Внутренние – например, снижение требовательности авторов к самим себе. Внешние – например, не востребованность. Иногда эти причины связаны друг с другом, как в данном примере. «Моё произведение будут читать только мои знакомые, -

обоснованно полагает в сердце своём автор. – Критическому разбору оно не подвергнется, если я не стану платить за такой разбор; а я не стану. Зачем же мне накапливать черновики? Зачем стараться улучшить и уточнить текст, который уже написан – и как получилось, так и слава Богу?». Автор может не произносить этого вслух, и даже зачастую не отдаёт себе отчёта в таких мыслях, но о них наглядно свидетельствуют и произведения, и действия его. Из этого не следует, будто я нынешними писателями не доволен. Нет, писатели все замечательные, а недоволен я лишь только отсутствием недовольства собой у большинства из них. Это выразил один из израильских авторов, так описывая красоты водопада: «Зрелище было грандиозное, но я ожидал большего». И ведь всерьёз написал, без улыбки. Сколь бы грандиозное зрелище ни предоставляла книга, найдутся те, чьих ожиданий она не оправдала.

Показателем кризиса служит и то, что ассортимент книг, выпущенных на русском языке в Израиле, довольно быстро растёт, а читательский интерес к таким книгам ещё быстрее сокращается. Выпуск книги становится не фактом литературы, а приятным сюрпризом, подарком ко дню рождения или осуществлением давней персональной мечты. Причём некоторые авторы охотно признают, что «никакого отношения к литературе их книга не имеет». И речь идёт не о поваренной книге, не о технических инструкциях, а о книгах беллетристики или даже стихотворений. Казалось бы – нонсенс; элемент множества не имеет отношения ко всему множеству, как так? Но помянутые авторы имеют в виду другое: они говорят об исключении их произведения из воображаемой иерархии литературы.

Литературу во всей её условной совокупности можно воспринимать как предмет структурированный, как некую иерархию, у которой есть «верх» и «низ», есть градация, есть социальная значимость и мерилла успеха. Такой подход памятен ещё со школы, советской или постсоветской, когда уроки литературы были посвящены не

тому, какой литература может быть, а тому, какой она была. Причём утверждалось, что она была именно такой, какой и должна быть. Произведения, противоречащие изучаемым, или те, которые не поддерживают позиции авторов учебника, попросту игнорировались, и школьники о них ничего не узнавали. Единственными литературными задачами для школьников оказывались изложения и сочинения, причём и то, и другое должно быть написано «правильно», по лекалам преподавателя. Сообщалось, что в литературе правильное – описано в учебнике, а неправильное – не упоминается вовсе. Такое восприятие вполне успешно прививалось учащимся, которые не беспокоились ни о судьбах литературы, ни о методах ее преподавания, ни о литературном процессе. С таким восприятием школьники уходили в дальнейшую повседневную жизнь, и те, кому не приходилось в жизни непосредственно сталкиваться с литературными задачами, сохранили его незыблемым до самой смерти. А вот те, перед кем жизнь поставила литературные задачи, кто изъявил желание или ощутил необходимость участвовать в литературном процессе, вдруг обнаруживают, что им требуется иной подход к предмету литературы. Оказывается, литература – это громадное поле деятельности, неоформленное хранилище мировой совокупности идей, сфера рынка, на котором отыщется место для любого проявления, для любой книги или статьи. И иерархия может помочь в публикации, но не помогает при написании. Оказывается, писательское мастерство состоит, в частности, в умении вызвать читательский интерес в том жанре и тем способом, которые предусматривает публикатор; а стало быть – оно состоит и в удачном выборе публикатора. Выясняется, что книга, в которую вложен труд многих людей – редакторов, корректоров, художников, верстальщиков, кладовщиков, продавцов и грузчиков, – как правило, социально востребованнее и экономически выгоднее, чем книга, для которой автор – сам себе публикатор. А чтобы побудить издателей-публикаторов вложить свои средства в авторский товар, приходится быть

взыскательным к самому себе и изготавливать этот товар по потаённым запросам заказчика.

Угадывать чужие потаённые запросы и удовлетворять их – довольно сложно, тогда как собственные потаённые запросы – вот они, бунтуют в подсознании, требуя реализации. Хочется быть писателем, ощущать себя писателем, причастным к той действующей иерархии, о которой краем уха слышали на школьной скамье. Недостаточно просто написать произведение, выплеснув в нём всё, что наболело в душе, нужно успешно донести его до читателей. Хочется добиться мощного или хотя бы - заметного эффекта, о котором один из изданных в Израиле стихотворцев написал так:

«Поэт Евгений Евтушенко,
Он пробивал стихами стенки...»

Рифма неточна? Неважно. Главное – запрос донесен.

А если автор видит, что произведение не востребовано; что круг вынужденных читателей ограничивается членами одной семьи? Тогда он в частной беседе может попросить критика не причислять его книгу к литературе. Прекрасно при этом ощущая, что к литературе не причисляются только неизданные и неизвестные никому рукописи, а книга-то – вот она!

Немногие наиболее успешные, высоко стоящие в иерархической градации израильские русскоязычные писатели давно проторили себе путь в издательства языковой метрополии. А некоторые из них сначала стали публикуемыми писателями, и лишь после этого – израильтянами. Что же делать тем многим, кто ощутил себя писателем только на Земле Обетованной, где читают на русском, - и то далеко не всегда, - только те, кто понимает по-русски?

Что делать? – бороться с кризисом литературы собственным примером! Да, «Артикль» помогает в этом, стараясь высоко держать планку художественности. Да, нужно печататься, по мере сил, и в «Артикле», и в других местных периодических изданиях, и в Интернете. Но «Артикль» - не панацея. К преодолению кризиса

русскоязычной израильской литературе придётся пробиваться с двух сторон. Со стороны авторов – совершенствуя стиль, не боясь труда для черновых вариантов, уточняя и разрабатывая формы произведений, постоянно стараясь писать о том, что важно и интересно для целевой аудитории. И с читательской стороны – организуя продвижение книг и рукописей израильских авторов в Россию, страны СНГ и другие места, где понимают по-русски. Конечно, такое сколько-нибудь массовое продвижение не под силу одному писателю. В нашей стране существуют государственные и общественные организации, среди задач которых можно найти аналогичные. Многочисленные еврейские центры, субсидируемые Еврейским агентством и государством, активно работают в СНГ, но, к сожалению, не имеют никакой связи с писательскими сообществами в Израиле. А ведь налаживание связей, как и индивидуальная литературная деятельность, специального бюджета не требует.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Анна Файн – прозаик, сотрудник Бар-Иланского университета, живет в Бней-Браке.

Михаил Гельфанд – прозаик, живет в Тель-Авиве.

Карина Муляр – прозаик, преподаватель изобразительного искусства, живёт в Кармиэле.

Урмас Соос – прозаик, начальник станции измерения космических лучей университета Оулу, Финляндия.

Рита Грузман – предприниматель, живёт в Иерусалиме.

Алексей Сурин – журналист, живёт в Иерусалиме.

Дмитрий Раскин – прозаик, поэт, драматург, кандидат культурологии, живёт в Нижнем Новгороде.

Елена Ожиганова – сценарист, прозаик, живет в деревне Новое Девяткино Ленинградской области.

Александр Вин – прозаик, штурман дальнего плавания, живет в Калининграде.

Михаил Юдсон – литератор, жил в Тель-Авиве.

Афанасий Мамедов – прозаик, редактор, живёт в Москве.

Яков Шехтер – писатель, живёт в Холоне.

Ехудит Хендель – одна из крупнейших представительниц «женской прозы» в новой ивритской литературе, жила в Тель-Авиве.

Ирина Маулер – поэт, прозаик, художник, композитор, живёт в Беэр-Яков.

Рут Фейгель – поэт, переводчик, живет в Иерусалиме.

Наталья Никишина – поэт, прозаик, сценарист, живёт в Киеве.

Сергей Николаев – поэт, живёт в г. Гатчина Ленинградской области.

Андрей Сутоцкий – поэт, живет в Великом Новгороде.

Виталий Мамай – журналист, переводчик, живет в Тель-Авиве.

Александр Францев – поэт, живет в Архангельске.

Владимир Ханан – поэт, прозаик, художник, живёт в Иерусалиме.

Виктор Есипов – поэт, литературовед, живёт в Москве.

Давид Маркиш – писатель, поэт, переводчик, живёт в Ор-Иегуда.

Михаил Черейский – научный работник, переводчик, эксперт Всемирной организации здравоохранения, живет в Реховоте.

Александр Крюков – дипломат, переводчик, профессор МГУ, живёт в Москве.

Анна Степанская – писатель, педагог, живёт в Реховоте.

Давид Шехтер – публицист, пресс-атташе Еврейского Агентства, живет в Ришон ле-Ционе.

Роман Кацман – профессор кафедры литературы Бар-Иланского университета, живёт в Гиват-Шмуэле.

Андрей Доброволин – псевдоним литератора, живущего в Тель-Авиве.

Андрей Зоилов – псевдоним литератора, живущего в Тель-Авиве.

ГЛАВНЫЕ РЕДАКТОРЫ

Яков Шехтер, Михаил Юдсон **ל"ט**

Ответственный секретарь Михаил Сидоров

Редколлегия: Катя Капович, Анна Мисюк, Ирина Маулер, Ирина Морозовская, Давид Маркиш, Михаэль Барам, Денис Соболев, Роман Кацман, Давид Шехтер

Корректор: Кармит Кособурд

Сайт журнала: <http://www.sunround.com/article/>

Фейсбук: <https://www.facebook.com/TelAvivskijSetevojZurnalArtikl>

Электронный адрес редакции: articreda@gmail.com

Почтовую корреспонденцию в «Артикль» можно отправлять по адресу: **Irina Mauler, Journal "Article", Beer Yaakov, Arava 76, 703000.**

Телефон: 050-9080348 (в Израиле)
(972)-50-9080348 (для заграницы).

